АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1970

СОДЕРЖАНИЕ

Академик Виктор Владимирович Виноградов 3

А. С. Мельничук (Киев). Понятия системы и структуры языка в свете диалектического материализма 19

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. А. Аврорин (Ленинград). Опыт изучения функционального взаимодействия языков у народов Сибири 33

Б. А. Серебренников (Москва). Почему трудно разрешить проблему происхождения верхних слоев севернорусской гидронимии? 44

Г. Ф. Благова (Москва). Тенденции к усложнению тюркского падежного склонения 60

Г. А. Меновщиков (Ленинград). Способы выражения единичности и множественности в языках различного типа 82

В. Г. Адмони (Ленинград). Еще раз об изучении количественной стороны грамматических явлений 89

В. Я. Мыркин (Архангельск). Некоторые вопросы понятия речи в корреляции: язык — речь 102

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Г. А. Климов (Москва). К чтению двух памятников агванской (кавказско-албанской) эпиграфики 109

А. А. Дарбеева (Москва). О личных местоимениях третьего лица в монгольских языках 113

Н. И. Хренова (Москва). Совместимость флексий склонения имен мужского рода в русском языке XVII—XVIII вв. 118

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Н. Ю. Шведова (Москва). Исследования по общей теории грамматики . . . 125

В. И. Кодухов (Ленинград). *V. Z. Panfilov.* Grammar and logic 131

А. Б. Пеньковский (Владимир). *Л. Л. Касаткин.* Прогрессивное ассимилятивное смягчение задненёбных согласных в русских говорах 135

В. В. Колесов (Ленинград). *К. В. Горшкова.* Очерки исторической диалектологии Северной Руси 143

С. М. Толстая. *H. J. Aronson.* Bulgarian inflectional morphophonology . . . 149

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 156

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, *В. В. Виноградов* (главный редактор),

В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), *Э. А. Макаев*, *М. В. Панов*, *В. З. Панфилов*, *И. И. Ревзин*, *Ю. В. Рождественский*, *Б. А. Серебренников*, *И. И. Толстой* (отв. секретарь редакции), *О. П. Трубачев*

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. 228-75-55

Академик ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ВИНОГРАДОВ

Окончилась сложная и многотрудная жизнь академика Виктора Владимировича Виноградова, жизнь ученого редкого дарования, большой научной принципиальности и исключительного трудолюбия, жизнь, проникнутая любовью к русскому языку, культуре и литературе, жизнь, превращенная в служение родному русскому слову. С именем В. В. связан целый этап в развитии русской филологической науки, целое направление, для которого была характерна, с одной стороны, преемственность и связь с традициями, установленными лучшими представителями отечественной лингвистики — И. И. Срезневским, Ф. И. Буслаевым, А. А. Потебней, С. И. Соболевским, А. А. Шахматовым,— с другой стороны, поиски новых путей и методов, создание новых научных дисциплин и курсов в нашем языкознании и филологии. В. В. взял на себя и во многом успешно выполнил трудную задачу подведения итогов русской языковедческой мысли более чем за полтора века, тщательно подбирая материал, пытливо его анализируя и бережно сохраняя и восстанавливая все, что уже забывалось, было под спудом или давно предалось забвению.

Эти итоги не были и не стали простым собранием фактов и примеров, каталогизацией архивных ценностей и находок — они послужили фундаментом для нового здания современной науки о русском языке, возводимого трудами и вдохновением многих зодчих, среди которых первым еще многие и многие годы будет называться Виктор Владимирович.

В. В. Виноградов родился 31-го декабря (по старому стилю) 1894 г. в Зарайске (Рязанской губернии) в интеллигентной семье священника, где духовной жизни и нравственному воспитанию уделялось особое внимание. Среднее образование он получил в Рязани, а студенческие годы его прошли в Петрограде, где в 1917 г. он окончил одновременно два высших учебных заведения — Историко-филологический институт и Археологический институт. С 1918 г. по 1920 г. В. В. находился в Петроградском университете, где по представлению акад. А. А. Шахматова был оставлен для подготовки к профессорскому званию по русскому языку и словесности. После сдачи магистерского экзамена и представления магистерской диссертации «Исследования в области фонетики севернорусского наречия. Очерки из истории звука *ѣ* в севернорусском наречии» В. В. получил звание доцента и в 1920—1921 гг. начал читать курс по истории русского языка на историко-филологическом факультете Петроградского университета. С тех пор до самой кончины не прекращалась педагогическая деятельность В. В. С 1930 г. начинается его профессорская деятельность в Москве (с перерывом на 1934—1937 гг. в Вятке и 1941—1944 гг. в Тобольске), где он до последних дней руководил кафедрой русского языка филологического факультета МГУ.

С 1924 г. по 1930 г. В. В. работал в Государственном институте истории искусств в качестве его действительного члена и председателя Секции художественной речи Отдела словесных искусств. В этот период его товарищами по Институту были Б. М. Эйхенбаум, В. М. Жирмунский, Ю. Н. Тынянов и др., чьи работы по формальной поэтике и истории литературы открыли блестящую страницу в истории нашей филологической науки. В плане занятий секции художественной речи в то время было изучение вопросов звучащей речи, стилистики (поэтической семантики, синтаксиса, лексикологии), теории русского литературного языка и проблемы языка как социальной деятельности.

С 1938 г. научные устремления В. В. связаны также с Академией наук. Первоначально он работает старшим научным сотрудником Института языка и мышления им. Н. Я. Марра, а затем в 1946 г. избирается действительным членом Академии. После лингвистической дискуссии 1950 г. В. В. Виноградов становится академиком-секретарем Отделения литературы и языка (до 1963 г.) и директором Института языкознания, а затем Института русского языка (с 1958 г. по 1968 г.). В последний год своей жизни В. В. заведовал сектором поэтики и стилистики в Институте русской литературы (Пушкинский дом).

В. В. Виноградов был бессменным председателем Советского комитета славистов со дня его основания (в 1956 г.), председателем Международного комитета славистов в период подготовки и проведения Московского IV Международного славистического съезда (1956—1958 гг.), а затем вице-президентом этой всемирной славистической организации. В последнее время В. В. был также президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Имя В. В. широко известно за пределами нашей страны. Его книги и труды переведены на ряд иностранных языков, несколько зарубежных университетов избрало его почетным доктором и многие академии — почти все славянские, французская, немецкая, датская — сочли честью принять его в свои члены.

В. В. с достоинством и тактом представлял русскую культуру и науку о русском языке у себя на родине и за рубежом. К его авторитетному, взыскательному, а иногда и острому слову прислушивались многие. Он умел везде — в книгах, статьях, лекциях и дискуссиях — выделить главное, подчеркнуть спорное, ввести новую аргументацию и не известный ранее материал, предложить, даже в тех случаях, когда дело касалось изложения фактов истории науки, свое не навязчивое, но всегда оригинальное и во многом неповторимое виноградовское решение вопроса.

В творчестве В. В. нельзя выделить периода ученичества. Он сразу выступил с трудами, поражающими зрелостью мысли, четкостью методологического подхода к решаемым проблемам, мастерским владением материалом. Но этому блестящему дебюту предшествовала вдумчивая и настойчивая учеба, накопление больших знаний по русской, славянской и классической филологии, палеографии, археографии, текстологии. «Больше всего я занимался,— писал В. В. в 1946 г. в своей автобиографии,— под руководством профессоров С. К. Булича, Н. М. Каринского, Д. К. Петрова, Ф. Ф. Зелинского, А. В. Никитского, А. К. Бороздина, М. И. Ростовцева, Н. П. Лихачева, С. Ф. Платонова и И. А. Шляпкина». Но только к двум лицам адресовал В. В. слово *учитель* по всей его емкости и полноте — к академику А. А. Шахматову и к академику Л. В. Щербе. Их фотографии висели всегда у его рабочего стола, их труды и методология служили отправным пунктом для многих научных исследований и начинаний В. В. Им обоим В. В. посвятил ряд специальных статей.

В сохранении и развитии шахматовских и щербовских традиций В. В. видел гарантию плодотворного поступательного движения нашего языкознания. В статье «Общелингвистические и грамматические взгляды акад. Л. В. Щербы» В. В. выдвинул на первый план предостережение своего учителя от соблазна «терминологией заменить исследование» [1]. И далее, как бы раскрывая внутренний смысл щербовского завета, В. В. привел слова Л. В. Щербы: «...голая схематизация кроет в себе

[1] В. В. Виноградов, Общелингвистические и грамматические взгляды акад. Л. В. Щербы, сб. «Памяти академика Льва Владимировича Щербы (1880—1944)», [Л.], 1951, стр. 33.

опасности для дальнейшего развития науки: люди приучаются смотреть на факты сквозь клеточки таблички, вместо того чтобы их попросту и по возможности беспристрастно описывать; все новое и хоть сколько-нибудь непредвиденное безвозвратно для них погибает. Между тем опыт показывает, что всякие таблицы и схемы расползаются по всем швам, как только попробовать вставить в них факты живой действительности» [2].

Однако отрицание схематизма ни у Л. В. Щербы, ни у В. В. Виноградова не означали отказа от системного подхода к языку, от изучения его структуры, ведущего в конечном итоге к признанию взаимообусловленности различных звеньев языка. Во всех работах В. В. собственно грамматический материал теснейшим образом сплетается с изучением лексики, фразеологии, художественной речи, стилистики.

В. В. Виноградова как грамматиста отличал энциклопедизм знаний, непревзойденное владение языковым материалом, тонкость и глубина анализа. Его грамматические труды отражают подход к изучаемому объекту как к такому явлению, которое должно быть познано во всей его многогранности. Творческая интуиция была постоянной характеристикой его исследовательского метода. Колоссальная масса сведений о самых различных явлениях языка, литературы и культуры, невиданное «богатство ассоциаций»,— все то, что всегда сопровождало В. В. при анализе и оценке любого факта языка, позволяло ему тонко и точно суммировать и систематизировать лингвистический материал, который на первый взгляд может показаться практически необозримым. В. В. предлагает такую группировку фактов, которая обнаруживала бы всю сложность внутренней организации языковых явлений во всем многообразии их связей и опосредствований. Его лингвистический дар оживлял и заставлял сверкать разнообразными гранями ту, по образному выражению Л. В. Щербы, «серую массу фактов», которая «безмолвствует» перед другими.

Научным методом В. В. Виноградова был метод объективного синтезирующего исследования внешних и внутренних сторон языка. В его работах нет строгого разделения формального и функционального аспектов: он полагал, что «...каждый из основных объектов грамматики должен изучаться одновременно со стороны форм и функций» («Русский язык», стр. 8).

Трудам В. В. чужда какая-либо схематизация языкового материала: его научным кредо было описание языковой действительности во всей ее сложности, иногда и противоречивости, такой, какова она есть. Верный своему лингвистическому мировоззрению, унаследованному им от его великих учителей, В. В. отвергал всяческие упрощения и схемы.

Своеобразие научной позиции В. В. как грамматиста заключалось в том, что исследование любого языкового явления для него было неотделимо, во-первых, от исторических корней этого явления, во-вторых, от всей окружающей языковой обстановки, от связей этого явления с другими, на него влияющими. Отсюда — стремление не просто точно о п и с а т ь, но обязательно всесторонне о б ъ я с н и т ь, рассмотреть грамматический факт под самыми различными углами зрения.

Органической чертой трудов В. В. Виноградова является историзм, пронизывающий все «поры» его грамматических разысканий. Блестящий историк языка, филолог, глубоко знавший историю русской литературы, культуры, быта, общественного сознания, В. В. Виноградов не мыслил описания грамматического строя современного русского языка без исторических данных. «Как название, как указание на предмет,— писал он,— слово является вещью культурно-исторической» («Русский язык», стр. 13).

[2] Л. [В.] Щерба, К вопросу о транскрипции, ИОРЯС, XVI, 4, 1912, стр. 162.

Поэтому часто под его пером изложение вопросов теории прерывается — порой неожиданно для читателя — яркими вставками, иллюстрирующими историю формы, слова, его лексического значения. Историкам науки еще предстоит рассмотреть и оценить тот колоссальный вклад, который внес В. В. в изучение «живого настоящего» на основе метода диалектического синхронизма, т. е. с последовательным различием в этом настоящем черт прошлого и зародышей будущего.

Перу В. В. Виноградова принадлежат многочисленные работы по русской грамматике — морфологии, словообразованию, синтаксису,— вошедшие в золотой фонд русской и мировой лингвистики. Среди этих работ в первую очередь нужно назвать такие труды, как «Современный русский язык» (1938), «О формах слова» (1944), «Русский язык. Грамматическое учение о слове» (1947), «О грамматической омонимии в современном русском языке» (1940), «О категории модальности и модальных словах в русском языке» (1950), «Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка» (1950), вводные главы к 1 и 2 томам «Грамматики русского языка» (1952—1954) и в этой же книге — главы по словообразованию, «Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии» (1952), «Вопросы изучения словосочетаний» (1954), «Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова)» (1958). Много важных положений и новых идей рассыпано также в историографических трудах В. В. Виноградова.

Среди всех этих работ книга «Русский язык. Грамматическое учение о слове» представляет собой совершенно особое и уникальное явление: это единственный полный курс русской морфологии, в котором читатель находит изложение новых идей, целостных оригинальных концепций по всем центральным проблемам грамматики. В этой книге, так же, как и в других работах В. В., поражает обилие свежего, живого материала, точность, тонкость и полнота характеристик слова со стороны его грамматической семантики.

Для работ В. В. по грамматике характерна своеобразная цикличность исследования. Изучая те или иные вопросы и публикуя результаты своих разысканий, он как бы вступал лишь в первую стадию проникновения в соответствующую проблематику,— с тем, чтобы позднее снова возвратиться к ней, углубив и расширив и сам материал и его теоретическое истолкование. В 1927 г. в Ленинградском лингвистическом обществе В. В. сделал доклад с изложением своей концепции частей речи. Это было началом его грамматических исследований. Через десять лет в двухтомном «Современном русском языке» его общая грамматическая концепция оказывается представленной в значительно углубленном и конкретизированном виде. Впоследствии В. В. разрабатывает теорию форм слова, грамматической омонимии, работает над вопросами организации синтаксической системы. В 1947 г. вышло «Грамматическое учение о слове», воплотившее в себе все лучшие черты исследовательского метода В. В. За этой книгой последовала целая серия новых работ, где углубленно исследуются центральные вопросы грамматической теории. Вводные главы к «Грамматике русского языка» обобщили, систематизировали и обогатили то, что было сделано ранее, открыв новые широкие перспективы научных поисков.

В трудах В. В. получили освещение и новое решение все центральные вопросы грамматической теории: объект грамматики, слово как грамматическая единица, проблема частей речи, взаимоотношения морфологии и синтаксиса, морфологии и словообразования, словообразования и лексикологии, строение слова, основные категории синтаксиса и их взаимодействие, общая иерархия грамматической системы и взаимосвязанность

ее звеньев. По всем этим вопросам В. В. предложил свои, оригинальные и конструктивные решения, с которыми можно соглашаться или не соглашаться, но которые обладают тем драгоценным для науки свойством и той непроходящей ценностью, что они составляют необходимую ступень в поступательном движении познания.

Центральными понятиями и центральными единицами грамматики В. В. считал слово и предложение. Наиболее рациональным делением грамматики он полагал следующее: 1) грамматическое учение о слове; 2) учение о словосочетании; 3) учение о предложении; 4) учение о сложном синтаксическом целом и о синтагмах как его составных частях.

Слово как система форм и значений является, по определению В. В., «конструктивным единством лексических и грамматических значений» и одновременно «фокусом соединения и взаимодействия грамматических категорий языка» («Русский язык», стр. 15). На основе такого понимания В. В. Виноградов выделил «основные структурно-семантические типы слов»: 1) слова — названия (части речи), 2) связочные или служебные слова (частицы речи), 3) модальные слова и частицы и 4) междометия. Это было развитием системы, в общих чертах намеченной Щербой.

Предложенная В. В. система частей речи, разграничиваемых на основе степени номинативной самостоятельности принадлежащих слову грамматических форм и характера синтаксического употребления, заняла прочное место в современной грамматической науке. Выделение в самостоятельные классы «категории состояния» и «модальных слов» стимулировало научные дискуссии об общих принципах выделения частей речи в разных языках.

Грамматическое учение о слове, созданное В. В., было полемически направлено против внешних, сугубо формальных построений, сводивших морфологию к науке о «чистых формах». «...изучение грамматического строя языка без учета лексической его стороны, без учета взаимодействия лексических и грамматических значений — невозможно»,— писал В. В. Виноградов («Русский язык», стр. 7).

Его учение о слове, обращенное к содержательной стороне грамматики, к сложным вопросам грамматической семантики в их отношении, с одной стороны, к форме слова и, с другой стороны, к его лексическому значению, было огромным шагом вперед в развитии грамматической теории: оно открывало новые перспективы и новые пути исследования.

Велик вклад В. В. в изучение строения русского слова. Он впервые дал полный перечень и характеристику аффиксальных типов русского именного словообразования. Краеугольным камнем его концепции явился тезис о тесной связи словообразовательных типов с морфологическими: типы аффиксального именного словообразования были систематизированы в соответствии с морфологическими классами образуемых слов. В. В. показал тесную связь словообразования, с одной стороны,— с грамматикой, с другой — с лексикологией и выдвинул конструктивный тезис об особом месте словообразования в кругу лингвистических дисциплин. Его учение о способах русского словообразования — морфологическом, морфолого-синтаксическом, лексико-синтаксическом и лексико-семантическом — оказало большое влияние на все последующее изучение словообразовательных систем как русского, так и других языков.

В грамматических трудах В. В. большое место занимает вопрос о продуктивности морфологических форм и словообразовательных типов, а также вопросы грамматической омонимии и синонимии.

В центре синтаксического учения В. В. Виноградова стоит теория предложения и словосочетания, предикативности и модальности, а также теория синтагмы. Во вводных частях к синтаксическим томам «Грамма-

тики русского языка» (1954) им была изложена стройная синтаксическая концепция, которая оказала большое влияние на последующее развитие науки. Еще в 1948 г. В. В. опубликовал аннотацию своего «Введения в синтаксис русского языка» («Докл. и сообщ. [Ин-та русского языка АН СССР]», 1). «Рациональным делением синтаксиса» здесь было признано деление на три раздела: 1) учение о словосочетании и его типах; 2) учение о предложении и его типах; 3) учение о сложных синтаксических единствах и теория синтагм. В последующих трудах были подробно разработаны основания для построения двух первых разделов.

Главные положения синтаксической концепции В. В. могут быть сформулированы следующим образом: 1) словосочетание как единица номинативного уровня языка (номинативная) противостоит предложению как единице коммуникативного уровня; эти единицы различаются формально и функционально; 2) грамматическими признаками предложения являются интонация сообщения и предикативность как сложное единство значений модальности, времени и лица; предикативность и модальность являются центральными категориями синтаксиса предложения; 3) традиционное учение о второстепенных членах предложения строится на неграмматических основаниях и должно уступить место собственно грамматическому рассмотрению возникающих в предложении связей и отношений.

В. В. Виноградов выдвинул важнейшую проблему соотношения лексики и грамматики в сфере синтаксиса, уделив много внимания явлениям лексической несвободности синтаксических конструкций. Не случайно в его «Грамматическое учение о слове» внесен раздел о несвободных сочетаниях слов, стоящих на разных ступенях фразеологизации. После его работ вопрос о правилах лексического наполнения синтаксических конструкций встал в один ряд с вопросами об их формальной организации и грамматическом значении.

Грамматические труды В. В. насыщены материалами, освещающими иные взгляды, иные концепции,— старые и современные. Это не случайно. Ученый ставил перед собой благородную задачу «не только изложить свою систему грамматического учения, но и показать те пути, по которым двигалась лингвистическая мысль в поисках решения основных вопросов русской грамматики» («Русский язык», стр. 2). Тревожимый мыслью о том, что «многие светлые идеи, открытые прежней грамматикой или вновь выдвигаемые общим языкознанием, не находят применения в современных грамматических учениях» («Русский язык», стр. 3), В. В. щедро вводил в свои исследования обширные историко-лингвистические экскурсы, посвящал многие страницы детальному рассмотрению взглядов других ученых. Его историографические труды могут служить образцом научной тщательности, скрупулезной точности в изложении разных концепций, в освещении сложных путей развития лингвистической мысли.

Труды В. В. по грамматике оказали большое и плодотворное влияние на построение учебных пособий и программ. На его грамматическую систему в значительной степени ориентируются не только вузовские курсы по современному русскому языку, но и учебники, предназначенные для средних учебных заведений.

Грамматическая система, построенная В. В., имела огромное значение не только для русистики. Выдвижение слова как центрального объекта грамматики, внимание к его форме, понимаемой как неразделимое единство внешней организации и грамматического значения, оказало плодотворное воздействие на труды ряда советских ученых, работающих в области языкознания германского, романского, тюркского и других. Это воздействие отмечается у нас и в сфере новейших структурных опи-

саний, в которых слово и предложение фактически продолжают оставаться центральными единицами анализа: «Специфика лучших структурных работ в нашей стране заключается в том, что в них не произошел абсолютный отход от основных единиц описания и понятий традиционной грамматики, а была сделана попытка дать этим единицам и понятиям новые, формальные, определения» [3].

Система частей речи, предложенная В. В. Виноградовым, и, шире, его общие принципы вычленения лексико-грамматических разрядов слов оказали большое влияние на работы специалистов по разным индоевропейским языкам. Многое здесь было пересмотрено, классификации были углублены и дифференцированы на основе применения целого комплекса новых критериев. Появились интересные работы, выделяющие разряды слов «категория состояния» и модальных в языках уже хорошо изученных, имеющих описания, освященные научной традицией. Весьма ощутимо также в работах по германистике и др. влияние учения В. В. о предикативности и модальности предложения, о категории залога, о глагольных видах и временах.

Конкретно-грамматические исследования В. В. дополнялись и расширялись исследованиями по истории литературного языка. Наука о формах слова и частях речи не ограничивалась сферой собственно грамматической абстракции; функционирование формальных средств языка и в грамматическом и в стилистическом плане, с учетом конкретно-исторических условий — иными словами, бытование, жизнь языковых категорий и всего языка в целом интересовали В. В. не в меньшей мере, чем сама языковая система, отдельно взятая и имманентно развивающаяся. История языка на общем фоне истории культуры, жизнь языка в связи с характером и развитием литературы и общества — таков был подход В. В. к предмету лингвистики в целом, таково было понимание науки, которой он посвятил свою жизнь.

В одной из своих поздних работ В. В. писал о том, что, согласно определившейся в самом начале XX в. основной традиции русской интеллигенции, увлеченной морально-общественной идеей самопознания, А. А. Шахматов интересовался «судьбами родного народа, его ролью в мировой истории», раскрывая их путем глубокого изучения «русского исторического процесса, истории русской жизни, русской культуры, истории русского языка и русской литературы» [4]. В связи с этим В. В. приводил слова А. А. Шахматова о том, что «самопознание возможно лишь при известной широте кругозора: расширение же нашего русского кругозора достигается прежде всего приобщением к нему всего греко-славянского мира, с которым мы так тесно связаны исторически и политически» [5].

Изучение Виктором Владимировичем проблем истории — происхождения, становления и бытования древнерусского литературного языка, и его взаимодействия с древнеславянским (церковнославянским) языком — велось в широком плане, с большим выходом в смежные проблемы истории древнерусской и древнеславянских литератур, книжности, культуры, религии и быта, палеографии и текстологии. Эти проблемы волновали В. В. и в молодости, и в последние годы его жизни. До-

---

[3] Сб. «Теоретические проблемы советского языкознания», М., 1968, стр. 160.

[4] В. В. Виноградов, История русского литературного языка в изображении акад. А. А. Шахматова, «Филолошки преглед», Београд, 1964, 3—4, стр. 65.

[5] «Записка об ученых трудах заслуженного профессора имп. С.-Петербургского университета В. И. Ламанского, составленная акад. А. А. Шахматовым», сб. ОРЯС, LXIX, 1901, стр. XL.

статочно сопоставить яркую статью «О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протоп. Аввакума» (сб. «Русская речь», I, 1923) и одну из самых последних работ В. В. «Основные вопросы и задачи изучения русского языка до XVIII в.» (ВЯ, 1969, 6). В работе о языке Аввакума В. В. интересовала прежде всего проблема «сплетения в пределах одной семантической плоскости символов двух категорий — церковнокнижных и разговорно-народных, которые оживают в новых сцеплениях» («О задачах стилистики...», стр. 241), вопрос двуначалия, двух истоков русского литературного языка — истоков книжного, старославянского и народного, диалектного. Эта двуединость древнерусского письменного языка в XVII в., в эпоху Аввакума и ранее, определяла стилистическую систему литературных произведений. Она же привела, по мнению В. В., к возникновению и практическому применению ломоносовской теории трех стилей и к структуре стилистических средств русского литературного языка пушкинской поры и затем современной эпохи.

В 1934 г. В. В. выпустил свои «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» (2-е изд.— 1938). Это был первый в славистике систематический курс исторического развития и становления литературного языка, первое и неопровержимое подтверждение самостоятельности и необходимости существования отдельной дисциплины — истории литературного языка в отличие от обычной истории языка, которая теперь известна под именем исторической грамматики. Работа В.В. в этой области отличается поразительной целеустремленностью. Уже в статье «К истории лексики русского литературного языка», напечатанной в 1927 г. в сборнике «Русская речь» (Новая серия, I), традиционная, казалось бы, проблема славянизмов в русском языке раскрылась в неожиданной глубине и многогранности, обнаружились разные ее аспекты, причем не только лексикологический и морфологический, но и семантический, интерпретированный удивительно свежо и оригинально.

«Очерки» начинались со следующих слов: «Русским литературным языком средневековья был язык церковно-славянский. Во второй половине XVII в. резко проявился внутренний распад системы церковно-славянского языка, обозначившийся еще в XVI в. Изменения в структуре церковно-книжной речи были связаны с ростом литературного значения „светских“ — деловых, публицистических, повествовательных — стилей русского письменного языка и с расширением литературных прав бытовой речи» («Очерки», 1938, стр. 5). Этим утверждением в принципе как будто продолжалась известная концепция А. А. Шахматова и крупнейших русских ученых XIX в., согласно которой «по своему происхождению русский литературный язык — это перенесенный на русскую почву церковнославянский язык, в течение веков сближавшийся с живым народным языком и постепенно утративший и утрачивающий свое иноземное обличие» (А. А. Шахматов). Однако здесь оставался не выясненным вопрос времени, интенсивности, степени и условий адаптации церковнославянского литературного языка живым народным русским языком. Этот вопрос, как известно пытался вовсе снять акад. С. П. Обнорский, выдвигая «положение о происхождении русского литературного языка на русской базе» [6]. Часть лингвистов без должной критической оценки и разбора фактов (исключением был А. М. Селищев) априорно приняла гипотезу Обнорского.

---

[6] С. П. Обнорский, Очерки по истории русского литературного языка старшего периода, М.— Л., 1946, стр. 8.

«...В области изучения древнерусского литературного языка,— как писал Виктор Владимирович в докладе на IV славистическом съезде,— создалось парадоксальное положение. Руководящая роль здесь — особенно в кругу вопросов, относящихся к выяснению основных тенденций развития восточнославянского литературного языка, дифференциации его стилей, к определению его взаимодействий с разными видами народной разговорной восточнославянской речи, а также со стилистикой устной народной поэзии,— перешла от историков русского языка к историкам древнерусской литературы, а отчасти к историкам культуры древней Руси» («Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка», 1958, стр. 3). В. В. предлагает свою, уже широко известную в науке концепцию, согласно которой с периода зарождения древнерусской письменности, т. е. с X—XI вв., и вплоть до конца XVI — середины XVII вв. существовали два основных типа русского литературного языка: книжнославянский, источником которого был старославянский язык, и народнолитературный (или «народнокультурный»), источником которого служила живая народная речь и язык фольклора. Две культурные стихии, определявшие развитие двух «типов» древнерусского литературного языка, находились в постоянном, хотя и достаточно сложном взаимодействии и были связаны в разные эпохи с различными литературными жанрами. Изменяясь с течением времени, типы языка и жанры древнерусской литературы создали систему, которая послужила основой для возникновения иерархии трех стилей в русском литературном языке XVIII в. На основе этой концепции В. В. предложил периодизацию каждого из двух «типов», в целом образующую общую периодизацию древнерусского письменного языка.

Не все в концепции В. В. нашло свое окончательное объяснение. Остался нерешенным вопрос о периодизации и сущности характера церковнославянского языка, об отношении древнерусского языка к другим древним славянским литературным языкам греко-славянского ареала и многое другое. Однако постановка вопроса о двух типах языка, о некоем древнем гомогенном двуязычии у православных славян позволяет выявлять книжный тип и в сербском, и в македонском, и в болгарском, и в великорусском и т. п. ареале, а затем сравнивать эти стандарты между собой и устанавливать для определенных эпох определенные нормы общего церковнославянского (древнеславянского) языка. В связи с этим уместно вспомнить, что призвание истинного и большого ученого, каким безусловно был В. В., совсем не в том, чтобы выбирать задачи и проблемы, где можно добавить завершающий штрих, поставить точку и закрыть дискуссию,— его призвание в том, чтобы находить ту область научных вопросов, где могут найти применение своих сил многие и многие исследователи, где нужно сказать не последнее слово, а развернуть программу изысканий и оттенить спорность выдвинутых положений.

В. В. любил полемику и сам часто выступал как страстный полемист. Полемическое горение и молодой задор не покидали его до последних дней жизни. Можно вспомнить, к примеру, его выступление на Пражском VI Международном съезде славистов по докладу проф. Б. Г. Унбегауна, в котором он видел своего достойного научного соперника и коллегу, труды которого он всегда высоко ценил. В. В. приветствовал работы, которые «пробуждают много мыслей и побуждают к более глубокому и многостороннему изучению процессов развития русского литературного языка и роли церковнославянизмов в его истории» [7].

[7] В. В. Виноградов, О новых исследованиях по истории русского литературного языка, ВЯ, 1969, 2, стр. 18.

Сам В. В. последнее время был склонен считать, что «процесс формирования, складывания древнерусского литературного языка определялся взаимодействием и синтезированием четырех (правда, неравноправных) элементов: 1) старославянского (или церковнославянского) языка; 2) деловой, государственно-правовой и дипломатической речи, развивавшейся еще в дописьменную эпоху; 3) языка фольклора и 4) народно-диалектных элементов. Роль конденсатора и грамматико-семантического регулятора сначала принадлежала церковнославянскому языку. Реальный состав сплава или смешения всех этих элементов зависел от жанра письменности и литературы. Изучение дальнейшего развития русского литературного языка должно быть направлено в сторону открытия закономерностей и правил взаимодействия, совмещения, скрещения, противопоставления и омонимического отталкивания русизмов и церковнославянизмов со все более и более усиливающимся влиянием народных русских элементов»[8].

В. В. обладал большим и хорошо обработанным материалом, позволявшим ему сделать такой вывод. Еще в начале 30-х годов одновременно с работой над книгой «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков» он готовил книгу по исторической лексикологии русского языка. Превратности судьбы и занятость другими проблемами — в первую очередь языком Пушкина и исследованием грамматического строя русского языка — помешали ему своевременно осуществить свой замысел. Он хотел выполнить его в последние годы своей жизни, но смерть оказалась неумолимой. Однако оставшееся наследие по истории отдельных слов (большей частью опубликованное) и ряд проблемных статей по исторической и теоретической лексикологии позволяют нам почти полностью реконструировать задуманную им монографию.

Истоки словарного состава современного русского литературного языка и пути его становления, стилистическая валентность отдельных слов, их жизнь и развитие — вот что волновало В. В. в первую очередь. На примере отдельных слов В. В. раскрывал суть и направление разных активных процессов, действовавших в истории русской лексики. Так, например, современное слово *быт* вошло в литературный язык из живой народной речи, где оно первоначально означало «имущество, хозяйство, средства к жизни» (ср. смоленск. *небыт* «бедность») и лишь в литературном языке приобрело более абстрактный смысл. Слово же *бытность*, потерявшее в современном русском языке способность самостоятельного употребления (*в бытность*), проникло в литературную речь в эпоху интенсивного польского влияния в конце XVII—начале XVIII в. (ср. польск. *bytność*), при поддержке старославянской (церковнославянской) традиции (ср. «хлѣбъ нашь бытныи даи же намъ» Псковск. еванг. XIV в. и т. п.)[9]. Таким образом, близкие и родственные, восходящие к одному праславянскому и индоевропейскому корню (**byti* «быть») слова, имеющие на первый взгляд непосредственную связь (ср. ст.-слав. *бытие*, *бытный*, *самобытный*), оказываются словами с различными судьбами и различными диалектными и социально-языковыми (или книжными) источниками. Не менее любопытна и своеобразна судьба таких слов, как *ахинея*, *роздых*, *голословный*, *советчик*, *дешевка*, *витать*, *мерцать*, *животрепещущий*, *злободневный*, *небосклон*, *вдохновить*, *лич-*

[8] Там же, стр. 9—10.

[9] В. В. Виноградов, Из истории лексических взаимоотношений русских говоров и литературного языка. 5. Быт, «Бюллетень диалектологического сектора Института русского языка [АН СССР]», 5, М.— Л., 1949; В. В. Виноградов, История возникновения и употребления слова *бытность* в русском языке, «Slavia orientalis», XVII, 3, 1968.

ность, *нудный*, *свистопляска*, *отсебятина*, *на мази*, *стрелять*, *пошлый*, *завиральный*, *неудачник*, *крепостник*, *гвоздь*, *творчество*, *шумиха*, *неразбериха*, *щуплый*, *однокашник*, *двурушник*, *двурушничество*, *отчитать*, *завсегдатай*, *себялюбие*, *мракобесие*, *мракобес*, *распад*, *разложение*, *обобществить*, *подписчик*, *наклевываться*, *веяние*, *поветрие*, *злопыхательство*, *новшество*, *пароход*, *простофиля*, *кругозор*, *полномочный*, *правомочный*, *самоуправление*, *прямолинейный*, *односторонний*, *самочувствие*, *непосредственный*, *письменность*, *очерк*, *суть*, *воззрение*, *завалящий*, *письмоносец*, *светоч*, *почва*, *плюгавый*, *поединок*, *предвзятый*, *предумышленный*, *представитель*, *царедворец*, *незабудка*, *начитанный*, *переживание*, *интеллигенция*, *пресловутый*, *истошный*, *дотошный*, *подковырка*, *приговоздить*, *фортель*, *вертопрах*, *щелкопер*, *изящный*, *закал*, *закалить*, *набожный*, *набожность*, *перелистывать*, *сосредоточенный*, *стрюцкий*, *кутить*, *транжирить*, *зависеть*, *сословие*, *солдафон* и др.; фразеологизмов — *втереть очки*, *квасной патриотизм*, *с пальцем девять*, *с огурцом пятнадцать*, *танцевать от печки*, *точить балы*, *в сорочке родился*, *лить пули*, *кисейная барышня*, *перемывать косточки*, *на ять* и др. Уже этот неполный перечень слов и фразеологизмов, подробно рассмотренных В. В. не только с этимологической, но и со стилистической, социальной и литературной точек зрения, говорит о том, сколь широки и подробны были его познания в области истории русской словесности, фольклора, культуры, быта и нравов Руси и России, особенно России XIX в. с ее сословным многообразием и стилистическим «многоязычием».

Каждая такая статья представляет собой маленькую лингвистическую новеллу, способную по силе своего эмоционального воздействия, не говоря уже о строго научной стороне, оказаться в ряду лучших произведений русской художественной и публицистической литературы. Но каждая такая статья одновременно выступает как часть, как фрагмент строящегося здания диахронической лексикологии русского языка. Совершенно независимо от Н. Я. Марра и в некоторых случаях явно вопреки ему В. В. подчеркивал важность исследования содержательной стороны языка, изучения значения не в абстрактном или «трудмагическом» ракурсе, а в конкретных исторических условиях. «Историческая семантика русского языка,— писал он в 1941 г.,— должна быть основой и опорой истории русского языка. Между тем, пока еще нет устойчивых подготовительных работ для построения исторической семантики русского языка, еще не собран и не исследован необходимый материал для решения частных вопросов в этой области...» «В процессе накопления исторических фактов выяснятся основные пути международных путешествий, связей и скрещений русской лексики и фразеологии, обнаружатся социально-исторические причины таких семантических отношений. Вместе с тем наблюдения над семантическими изменениями, связанными с переходом слов и фраз как из одного языка в другой, так и из одного диалекта или стиля в другой, помогают тоньше и яснее понять историю стилей русского литературного языка — на фоне сравнительной истории других языков (например, западноевропейских) и на фоне исторической диалектологии и исторической лексикологии самого русского языка» [10].

В. В. был одним из создателей и ведущих авторов «Толкового словаря русского языка» под редакцией проф. Д. Н. Ушакова (о чем несправедливо умалчивается в первом томе этого словаря), где ему принадлежало

---

[10] В. В. Виноградов, Лексикологические заметки. 1. Вопрос об историческом словаре русского литературного языка XVIII—XX вв., «Уч. зап. Моск. гос. пед.-дефектолог. ин-та», I, 1941, стр. 3, 14.

значительное число статей, в том числе и наиболее трудных — по служебно-грамматическим словам. Ему принадлежит целая серия исследований и статей по лексикологии и лексикографии, перечисление которых невозможно, но среди которых были такие основополагающие и программные, вызвавшие к жизни множество статей и исследований разных авторов, как «Основные типы лексических значений слов» (ВЯ, 1953, 5), «О некоторых вопросах русской исторической лексикологии» (ИАН ОЛЯ, 1953, 3), «Об основных типах фразеологических единиц в русском языке» (сб. «А. А. Шахматов. 1864—1920», М.— Л., 1947).

Виктора Владимировича без всякого преувеличения можно назвать открывателем и создателем современной отечественной науки о фразеологии. В 1944 г. с полным основанием он говорил, что «неопределенность границ, целей и основных категорий фразеологии мешает этой дисциплине свободно и самостоятельно развиваться» [11]. Как и во многих других случаях, В. В. не ограничился лишь констатацией имеющегося положения в науке, а наметил ясную программу действий, предложив достаточно четкий, ныне уже почти всеми принятый критерий — классификацию типов фразеологизмов: 1) фразеологическое сращение, 2) фразеологическое единство, 3) связанное фразеологическое сочетание. «Разработка проблем лексикологии и фразеологии,— настаивал В. В.,— должна вестись параллельно с дальнейшим развитием синтаксической науки» [12]. Здесь опять, как и во многих других случаях, достаточно последовательно подчеркивается идея зависимости современного синхронного состояния от процесса исторического развития и идея взаимообусловленности и иерархической связанности отдельных ярусов — срезов языка.

Тем не менее В. В. призывал различать диахронический подход к явлениям языка и подход синхронный, указывая и на разные результаты (выводы) в итоге таких подходов. Эту мысль он проводил и в серии исследований по омонимии. В недавнем докладе на Пражском славистическом съезде он писал: «С исторической точки зрения вся совокупность омонимов, развившихся из одной смысловой единицы, может быть рассматриваема как разветвления одного слова, как его исторические вариации, если есть возможность установить непосредственную генетическую связь между разными значениями и показать непрерывность их развития. Таким образом, содержание понятий — омонимы и „разные значения одного и того же слова" в области историко-лексикологического исследования иное, более широкое, чем при живом восприятии слов в современном языке» [13].

Исследованный В. В. лексический и фразеологический материал, так же как и материал грамматический, не воспринимается статически, он часто обращен в прошлое, но не менее отчетливо его обращение и в будущее. Именно так и построен уже упоминавшийся капитальный труд «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.», где рассмотрен и ранний период и период становления русского национального литературного языка, наконец, предопределены пути дальнейшего развития языка в XIX—XX вв. И все же для В. В. любимой эпохой развития нашего литературного языка была эпоха Пушкина, которую он

---

[11] В. В. Виноградов, Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины, «Труды юбилейной научной сессии [ЛГУ]», Секция филологических наук, Л., 1946, стр. 45.

[12] В. В. Виноградов, Об основных типах фразеологических единиц в русском языке, стр. 364.

[13] В. В. Виноградов, Проблемы морфематической структуры слова и явления омонимии в славянских языках, сб. «Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1968, стр. 119.

так ярко и поэтически раскрыл в своих капитальных трудах «Язык Пушкина» (1935) и «Стиль Пушкина» (1941), представивших выразительную картину борьбы и взаимодействия разных стихий русского литературного языка — народно-разговорной речи, церковнославянского языка и западноевропейского элемента.

Дальнейшую работу в этой области В. В. ведет широким фронтом — от эпохи русского романтизма и реализма до живых языковых процессов современной поры. Исключительное место в предложенной В. В. концепции истории литературного языка занимает вопрос о качественном своеобразии развития литературного языка в донациональный и национальный периоды. Позже В. В., еще более расширяя круг своих исследований, изучает общие закономерности развития славянских литературных языков. Этим вопросам был посвящен его доклад на V съезде славистов в Софии в 1963 г. и доклад на Международном симпозиуме в Белграде о Вуке Караджиче в 1964 г.

В. В. углубляет наши представления об общей системе современного русского литературного языка, вскрывает ее структурно-стилистическую сложность, обнаруживает исторически изменчивое и противоречивое взаимоотношение входящих в нее подсистем в их звуковом, грамматическом и лексико-фразеологическом единстве, оригинально ставит проблемы взаимодействия стилей литературного языка, языка города и народных говоров, разговорного и книжного языка, общелитературного языка и языка художественной литературы на разных этапах их развития.

В органической связи с исследованием истории литературного языка В. В. Виноградов занимался изучением языка и стиля русских писателей. Как бы пристально ни вглядывался ученый в индивидуальный стиль писателя, мастерски вскрывая неповторимое своеобразие структуры его художественной речи, главное для него — «связь процессов развития литературного языка и стилей художественной литературы» (так названа заключительная глава его книги «О языке художественной литературы». Наиболее полно это единство общего и индивидуального проявилось в творчестве Пушкина. Вот почему язык Пушкина, стиль Пушкина стали одной из центральных тем, над которыми В. В. Виноградов работал до последнего дня.

Примером органического соединения проблем истории литературного языка, литературных стилей и индивидуального стиля писателя является блистательный анализ присоединительных конструкций разного типа в стиле Пушкина. Исключительное значение для понимания стиля Пушкина в его связях с традицией представляет идея В. В. о «мышлении литературными стилями» как одной из наиболее ярких особенностей пушкинского художественного мышления вообще.

В. В., так же как и его единомышленникам (а в некоторых случаях и оппонентам) по «формальной» поэтической школе, пришлось заново разработать методологию и методику стилистического анализа. Это было необходимо и для того, чтобы преодолеть крайний субъективизм критиков и литературоведов при оценке языка и стиля литературного произведения, дать точные, научно обоснованные критерии, решить целый ряд текстологических проблем. Так родилась наука о языке художественной литературы, родилась не в 1959 г., когда В. В. прямо об этом заявил в книге «О языке художественной литературы», но значительно раньше, в 20-е годы, когда появилась статья «О задачах стилистики» (сб. «Русская речь», I), в которой уже тогда совершенно четко были выделены два аспекта — стилистика разговорной и письменной речи и стилистика поэтической речи, которая организует литературно-художественные произведения.

На материале творчества таких разных индивидуальностей, как Аввакум и Ахматова, В. В. выдвинул и обосновал подход к стилю писателя с точки зрения поэтической символики и «синтактики», понимаемой как законы смены и чередования речевых типов в художественном произведении.

В книге «О художественной прозе» (1930), подводя итог своим изысканиям 20-х годов, В. В. пишет: «Изучение языка литературного сочинения должно быть одновременно и социально-лингвистическим и литературно-стилистическим» (стр. 29). Он показывает, что художественное произведение должно изучаться в двух взаимосвязанных контекстах: в контексте литературно-художественных форм речи и в контексте социально-языковых систем. В этой связи В. В. разрабатывает учение о композиционно-речевых категориях литературы. Сущность его заключается в выделении и систематизации однородных форм словесной композиции, разграничении разных типов монолога и диалога, организующих художественное целое и конструирующих «художественно-языковое сознание». Типология основных композиционно-речевых систем не ограничивается только художественной литературой. В. В. на широкой исторической основе решает проблему соотношения поэтики и риторики.

Художественное произведение понимается В. В. Виноградовым как целостная структура. Поэтому рассмотрение отдельных особенностей в отрыве от целого чуждо В. В. В его концепции «части... определяются как о р г а н и ч е с к и е ч л е н ы с т р у к т у р ы, конструирующие ее смысловую замкнутость. Таким образом, единство усматривается в структурных формах, в „частях", а „части" — в единстве» («О художественной прозе», стр. 67).

Естественно возникает вопрос: чем же организуется словесно-художественное единство, что же является композиционно-стилистическим центром, стержнем литературного произведения? Одни искали его в идеях, другие — в образах, характерах, третьи — в сюжете. Но ни одно, ни другое, ни третье не давало ответа, появлялись новые трудности, эти предположения быстро обнаруживали свою несостоятельность. В. В. выдвигает идею «образа автора».

В книге «О языке художественной литературы» В. В. так формулирует свою мысль: «... в композиции художественного произведения динамически развертывающееся содержание раскрывается в смене и чередовании разных форм и типов речи, разных стилей, синтезируемых в «образе автора» и его создающих как сложную, но целостную систему экспрессивно-речевых средств. Именно в своеобразии этой речевой структуры образа автора глубже и ярче всего выражается стилистическое единство композиционного целого» (стр. 154).

«Автор» не только выбирает предметы и явления действительности, но и форму повествования о них. При этом существенным становятся уже не прямые или косвенные суждения автора, а то, что изображается и как изображается, различные соотношения и связи между предметами изображения внутри художественного целого, между структурными формами диалога и монолога.

Уже такая постановка проблемы разрушает наивное представление об образных средствах как только об эпитетах, метафорах, сравнениях и т. п., по-новому решается вопрос об образе.

От раскрытия связей литературного языка и стилей литературы в творчестве того или иного писателя В. В. шел к теоретическим обобщениям. Широкий охват материала, глубокое понимание специфики языка художественной литературы, закономерностей смены художественных стилей и законов развития литературного языка позволили

В. В. Виноградову сделать замечательное открытие: «... реализм как словесно-художественная система в литературе того или иного народа не может сложиться до образования соответствующего национального литературного языка...» («О языке художественной литературы», стр. 466).

Мысль о связи процессов формирования реализма с созданием нормы национального литературного языка полемически направлена против узкого и одностороннего понимания реализма в аспекте социально-идеологическом или в плане народно-разговорной речи.

Установив единство коммуникативной и эстетической функций языка в художественной литературе, В. В. Виноградов на многочисленных примерах показал, как происходит превращение элементов бытовой речи в факт искусства. Он вскрывает приемы и средства индивидуального пользования речевых фактов, принципы употребления разных лексических слоев и связи между лексико-фразеологическим составом и синтаксическим строем художественного произведения, обнаруживает особенности национально-речевой характерологии, приемы и принципы создания образной системы. В. В. анализирует литературное произведение в единстве его формы и содержания, тем самым преодолевая разрыв между историей и теорией литературы, с одной стороны, и языкознанием, с другой. В. В. не декларативно, а на практике доказал необходимость и возможность взаимодействия литературоведческих и лингвистических методов анализа. Глубокому и изощренному филологическому разбору были подвергнуты произведения таких разных писателей, как Аввакум, Карамзин, Дмитриев, Пушкин, Загоскин, Гоголь, Достоевский, Крылов, Лермонтов, Толстой, Салтыков-Щедрин, Лесков, Ахматова, Зощенко, Федин, Станиславский и др.

Тонкая интуиция ученого сочеталась с необыкновенным умением дать точную и строгую систематизацию и классификацию материала. В. В. всегда был очень точен в своих наблюдениях и обобщениях. Он не прибегал к формулам и не занимался подсчетами, создающими зачастую видимость точности, но строго описывал объект и находил его определенное место в системе. Теоретические построения В.В. нашли блистательное подтверждение в его атрибуциях. В. В. вернул читателю десятки и сотни страниц Карамзина, Пушкина, Достоевского, решил ряд сложнейших текстологических вопросов. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы говорить о выдающихся заслугах В. В. перед русской культурой.

Работа В. В. Виноградова в области языка художественной литературы привела его к важным обобщениям — разграничению основных понятий и категорий стилистики и поэтики и выявлению их взаимных связей и отношений в серии крупных исследований последних лет: «О языке художественной литературы» (1959), «Проблема авторства и теория стилей» (1961), «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика» (1963), «Сюжет и стиль» (1963).

В стилистике В. В. выделяет стилистику языка как системы систем: «она изучает в функциональном плане соотносительные стили языка в их синонимических связях и противопоставлениях — с парадигматической, синтагматической и лексико-фразеологической — точек зрения» («Стилистика. Теория...», стр. 201); к стилистике языка непосредственно примыкает стилистика речи, «изучающая массовую и социально, а также персонально ограниченную коммуникацию, а также социальные стили речи, т. е. способы употребления языка и его стилей в разных видах монологической и диалогической речи и в разных вызванных или кодифицированных общественным бытом композиционно-речевых системах...» (там же, стр. 201—202). Особо выделяется стилистика художественной литературы. И, наконец, определяются содержание и методология теории поэтической

речи как особой лингвистической дисциплины, задачи которой состоят «в изучении и раскрытии всех функционально-творческих условий, которые сообщают языковому явлению качества поэтического» (там же, стр. 139),—и поэтики, которая, «отправляясь от лингвистической стилистики и теории поэтической речи, ... в своем собственном становлении насыщается понятиями и обобщениями теории литературы и искусствознания» (стр. 206).

Весьма значителен вклад В. В. в наше литературоведение. Достаточно вспомнить его ранние работы «Гоголь и натуральная школа» (1925), «Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский» (1929), работы о Пушкине и Достоевском; не случайно, что в последних, еще не изданных, работах В. В. вернулся к проблеме творчества Пушкина и Гоголя, обратился к сопоставлению «Евгения Онегина» и «Мертвых душ», углубленно изучал поэтику, творческий метод и тексты Ф. М. Достоевского.

Весьма значителен труд В. В. по истории отечественного языкознания. С молодых лет — с 20-х годов, со статьи о Шахматове, он начал историографию русского языкознания, привлекая внимание лингвистов не только к корифеям отечественной науки, но и к именам недостаточно известным или несправедливо забытым. Он любовно и тщательно воссоздал лингвистические системы целой плеяды русских ученых-языковедов, и многие из тех старых трудов, которые сейчас хорошо знает каждый русист, стали известны благодаря работам В. В., им были разысканы, оценены и возрождены для науки. Кажется, все основные звенья исторического развития русской науки о русском языке были им детально рассмотрены: от Ломоносова до Шахматова и Щербы, не минуя Востокова, Добиаша, Потебню, Бодуэна де Куртенэ, Фортунатова, Крушевского, Богородицкого. Много внимания уделял В. В. и трудам своих современников — А. М. Пешковского, В. И. Чернышева, Л. П. Якубинского, Ю. Н. Тынянова и др.

Нет сомнения, о жизни и творчестве Виктора Владимировича будет написано еще много статей, исследований и книг, будут детально изучены и рассмотрены его концепции, будет установлено последовательное развитие его взглядов на основные проблемы славянской филологии, славянского и русского языкознания, теории грамматики, лексикологии, стилистики, текстологии и истории русского литературного языка. Будет оценена его общественная и научно-административная деятельность. Наконец, будут изданы его многочисленные труды, оставшиеся в рукописях (три книги и ряд статей и набросков). Этим будет принесена дань благодарности ученому, посвятившему все свои устремления служению науке о русском языке, ученому, до последнего дня своей жизни не выпускавшему пера из своей руки, неутомимо и настойчиво трудившемуся и не представлявшему своей жизни без взыскательного и строгого отношения к своему научному призванию.

Для друзей, учеников и сотрудников Виктора Владимировича, на долю которых выпало редкое счастье вести вместе с ним и под его руководством журнал «Вопросы языкознания», навсегда останется живым облик учителя и старшего коллеги, внимательного и доброжелательного, вдумчивого, наблюдательного, критического и остроумного, верящего в непреходящую силу и справедливость науки и всем сердцем преданного ей и своему родному русскому языку.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1970

К 100-летию
со дня рождения В. И. Ленина

А. С. МЕЛЬНИЧУК

ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ И СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА В СВЕТЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА*

Одной из наиболее заметных особенностей развития многих отраслей мировой науки на протяжении последних десятилетий было значительное усиление внимания к системно-структурному аспекту исследуемых объектов. Проблемы соотношения целого, части и структуры, взаимодействия элементов и системы выдвинулись на передний план в ряде естественных и общественных наук. Методологические вопросы, связанные с философским освещением категорий целого и части, системы, связи и элементов, структуры и отношения, приобрели большую актуальность как в философии диалектического материализма, так и в части немарксистских философских направлений. Коренные расхождения в конкретном понимании структуры и роли определяющих ее отношений в общей природе объекта вызвали оживленные дискуссии среди представителей различных областей знания во многих странах мира.

Системно-структурный подход к изучению явлений природы, общества и сознания, предполагающий наличие закономерных устойчивых связей между всеми частями изучаемого явления, в той или иной степени определяющих саму природу явления, возник как неизбежный результат предшествующего развития научных исследований. Значительный вклад в разработку научного понятия структуры в XIX в. внесли в области химии А. М. Бутлеров и Д. И. Менделеев, в области социологии — К. Маркс и Ф. Энгельс, а также Г. Спенсер, Э. Дюркгейм [1]. Большую роль в дальнейшей научной разработке понятия структуры сыграли исследования Н. Бора, Э. Резерфорда и др., посвященные строению атома и элементарных частиц, работы И. А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. де Соссюра, касающиеся структуры языка, и т. д.

С философской точки зрения системно-структурный подход к изучаемым явлениям представляет собой лишь частный случай общего принципа марксистского диалектического метода, требующего от исследователя учета всеобщей связи явлений действительности, а следовательно, и закономер-

---

* Статья печатается в сокращении. Полный текст статьи будет опубликован в юбилейном сборнике «Ленин и языкознание», который подготовлен к печати Институтом языкознания АН СССР.— *Ред.*

[1] О роли К. Маркса в разработке понятия структуры в социологической науке говорил, в частности, Р. Бастид в своем вступительном слове при открытии международного коллоквиума, посвященного употреблению термина «структура» в гуманитарных науках, в 1959 г. (R. Bastide, Introduction à l'étude du mot «structure», сб. «Sens et usages du terme *structure* dans les sciences humaines et sociales», s'Gravenhage, 1962, стр. 15). См. также: М. М. Гухман, Исторические и методологические основы структурализма, сб. «Основные направления структурализма», М., 1964, стр. 30; Ю. П. Сенокосов, Дискуссия о структурализме во Франции, ВФ, 1968, 6, стр. 172, и др.

ных связей между частями отдельно рассматриваемого явления. Положение о всеобщей объективной связи и взаимозависимости предметов и явлений неоднократно подчеркивалось классиками марксизма-ленинизма в качестве одного из основных положений материалистической диалектики. «Уразумение того, что вся совокупность процессов природы находится в систематической связи,— писал Ф. Энгельс в книге „Анти-Дюринг",— побуждает науку выявлять эту систематическую связь повсюду, как в частностях, так и в целом» [2]. К этому положению Ф. Энгельс неоднократно возвращался в работах, вошедших в сборник «Диалектика природы». «Теперь вся природа,— отмечает Ф. Энгельс,— простирается перед нами как некоторая система связей и процессов, объясненная и понятая по крайней мере в основных чертах» [3]. Эта же мысль более обстоятельно формулируется Ф. Энгельсом в другом месте: «Вся доступная нам природа образует некую систему, некую совокупную связь тел, причем мы понимаем здесь под словом тело все материальные реальности, начиная от звезды и кончая атомом и даже частицей эфира, поскольку признается реальность последнего. В том обстоятельстве, что эти тела находятся во взаимной связи, уже заключено то, что они воздействуют друг на друга, и это их взаимное воздействие друг на друга и есть именно движение» [4]. Отсюда вытекает и определенная Ф. Энгельсом основная задача общей характеристики материалистической диалектики: «Развить общий характер диалектики как науки о связях в противоположность метафизике» [5].

Требование учета всеобщей связи явлений и, в частности, связи всех элементов отдельно взятой области явлений В. И. Ленин выдвигал на передний план среди основных принципов материалистической диалектики.

«В старой логике,— писал В. И. Ленин, конспектируя „Науку логики" Гегеля,— перехода нет, развития (понятий и мышления) нет „*внутренней, необходимой связи*" (43) [35] всех частей и „Übergang'а" одних в другие.

И Гегель ставит два основных требования:

1) „Необходимость связи"

и

2) „имманентное происхождение различий"» [6].

Придавая этим формулировкам Гегеля материалистическое содержание, В. И. Ленин продолжает:

«Очень важно!! Это вот что значит, по-моему:

1) *Необходимая* связь, объективная связь всех сторон, сил, тенденций etc. данной области явлений;

2) „имманентное *происхождение* различий" — внутренняя объективная логика эволюции и борьбы различий, полярности» [7].

В своем перечислении элементов диалектики, состоящем из 16 пунктов, В. И. Ленин говорит о всеобщности категории отношения под двумя разными пунктами — 2 и 8-м: «2) вся совокупность многоразличных *отношений* этой вещи к другим» и «8) отношения каждой вещи (явления etc.) не только многоразличны, но всеобщи, универсальны. Каждая вещь (явление, процесс etc.) связаны с *каждой*» [8].

---

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 20, стр. 35—36.
[3] Там же, стр. 513.
[4] Там же, стр. 392.
[5] Там же, стр. 384.
[6] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 88—89.
[7] Там же, стр. 89.
[8] Там же, стр. 202, 203.

Наряду с утверждением о всеобщей связи вещей и явлений действительности и с диалектико-материалистической разработкой категории отношения в трудах классиков марксизма-ленинизма определен материалистический подход к категориям вещи, качества и свойства, обеспечивающий и более четкое понимание неразрывно связанной с ними категории отношения. Ф. Энгельс подчеркивал, что «существуют не качества, а только вещи, *обладающие* качествами, и притом бесконечно многими качествами» [9]. С другой стороны, В. И. Ленин выделил то место из «Науки логики» Гегеля, в котором говорится: «Многие различные вещи состоят в существенном взаимодействии через свои свойства; свойство есть самое это взаимоотношение, и вещь вне его есть ничто» [10].

Увеличение интереса в современной науке к понятиям системы и структуры, включающим в себя понятия связи, отношения, соотносящегося элемента (вещи), привело к дальнейшей разработке этих категорий в диалектико-материалистической философии. Основываясь на близости категории структуры к философской категории формы, получившей в трудах классиков марксизма-ленинизма общее диалектико-материалистическое освещение, особенно с точки зрения ее отношения к содержанию, а также учитывая марксистско-ленинское понимание категорий вещи, качества, свойства и отношения, части и целого, советские и зарубежные философы-марксисты в ряде своих работ определили с позиций марксизма-ленинизма место категорий системы и структуры среди других философских категорий и осветили роль структуры по отношению к сущности и развитию обладающего структурой объекта [11]. В этих работах освещена важная роль структурной организации объекта, наряду с качеством образующих объект элементов, в определении природы объекта, в том числе решающая роль различий организации при тождественном составе элементов, раскрыта относительная устойчивость структуры как системы отношений между элементами объекта по сравнению с изменениями в составе и качестве элементов, показан производный характер определенной организации отношений от количества и качества соотносящихся элементов и отмечено обратное воздействие отношений в структуре на характер охватываемых структурными отношениями элементов как частей целого.

Было бы, однако, слишком упрощенно объяснять все то оживление, которое наблюдалось в теоретической литературе последних десятилетий вокруг понятий структуры и системы, одними лишь успехами в применении этих понятий к объектам исследования различных частных наук. Едва ли не в большей степени это оживление объясняется тем, что отдельные различия в теоретическом и методологическом осмыслении понятия структуры приобрели крайне общий характер, выдвинувшись на переднюю линию борьбы между диалектическим материализмом и некоторыми не-

---

[9] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 20, стр. 547.

[10] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 135.

[11] См.: А. Г. Спиркин, Курс марксистской философии, М., 1964, стр. 195—201; И. И. Новинский, Понятие связи в марксистской философии, М., 1961; В. И. Свидерский, О диалектике элементов и структуры в объективном мире и в познании, М., 1962; А. И. Уемов, Вещи, свойства и отношения, М., 1963; Т. А. Югай, Диалектика части и целого, Алма-Ата, 1965; В. Г. Афанасьев, Проблема целостности в философии и биологии, М., 1964; Г. П. Короткова, Принципы целостности, Л., 1968; Л. О. Вальт, Соотношение структуры и элементов, ВФ, 1963, 5; Ф. З. Меерсон, Диалектическое единство функции и структуры, ВФ, 1964, 11; Н. Ф. Овчинников, Категория структуры в науках о природе, сб. «Структура и формы материи», М., 1967; В. В. Агудов, Количество, качество, структура, ВФ, 1967, 1; С. Е. Зак, Качественные изменения и структура, там же; С. Петров, Субстрат, структура, свойства, ВФ, 1968, 10; С. Б. Крымский, О понятиях «система» и «структура», сб. «Целостность и биология», Киев, 1968; H. Laitko, Struktur und Dialektik, «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 1968, 6, и др.

марксистскими направлениями современной философии. Следует добавить, что такое превращение частнонаучной проблемы структуры в объект общеметодологического спора, связанного с решением основного вопроса философии, произошло в значительной степени на почве языкознания. Это ставит перед марксистским языкознанием ответственную задачу внимательного анализа проблемы структуры языка с точки зрения диалектического материализма с тем, чтобы результаты этого анализа могли быть использованы и в борьбе с немарксистским пониманием структуры в общефилософском плане и в применении к другим частным наукам. В настоящей статье вкратце рассматриваются лишь некоторые основные моменты, связанные с коренными методологическими расхождениями в понимании структуры вообще и структуры языка в частности. Но сначала необходимо остановиться на некоторых более элементарных вопросах технического характера, касающихся лексического содержания терминов «система» и «структура».

Хотя начало современному широкому употреблению терминов «система» и «структура» в языкознании было положено еще в 1929 г. «Тезисами Пражского лингвистического кружка», предложенными на I Международном конгрессе славистов и явившимися первой систематизированной формулировкой принципов структурного подхода к изучению языка [12], единства в понимании этих терминов и их взаимоотношения не достигнуто до сих пор ни в языкознании, ни в философии. Различные способы употребления терминов «система» и «структура», как в языкознании, так и в философии, по наиболее общему признаку могут быть сведены к двум основным, противоположным друг другу направлениям в их понимании. Одна часть исследователей фактически не усматривает в данном случае двух различных понятий и либо употребляет оба термина как абсолютные синонимы, заявляя об этом прямо [13] или обнаруживая это в определениях обоих терминов, даваемых в разных местах [14], либо же употребляет только один из обоих терминов, но с таким значением, которое оказывается более обычным для другого термина [15]. Иногда признается допустимым употребление одного и того же термина (в частности, «система») в двух разных значениях, соответствующих тем, которые у других авторов чаще

---

[12] «Thèses présentées au Premier Congrès des philologues slaves», TCLP, I, 1929 (перепеч. в кн.: «A Prague School reader in linguistics», compiled by Josef Vachek, Bloomington, 1964; русск. перевод в кн.: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. II, М., 1960).

[13] См. например: É. Buyssens, сб. «Zeichen und System der Sprache», I, Berlin, 1961, стр. 270; С. К. Шаумян, О сущности структурной лингвистики, ВЯ, 1956, 5, стр. 38.

[14] Ср.: L. Hjelmslev, La notion de rection, AL, I, 1, Copenhague, стр. 10; его же, Метод структурного анализа в лингвистике, там же, VI, 2—3, 1950—1951, стр. 57.

[15] Так, например, ряд языковедов употребляет термин «система» с тем значением (сеть отношений, взаимозависимость элементов и т. п.), которое исследователи, различающие два термина, связывают обычно с термином «структура»; см. W. Appel, сб. «Zeichen und System der Sprache», I, стр. 28; V. Skalička, там же, стр. 140; T. Milewski, там же, II, Berlin, 1962, стр. 164; ср. также: K. Togeby, там же, I, стр. 142; B. Trnka, там же, стр. 144. Несколько реже встречается употребление одного только термина «структура», но со значением (сочетание взаимообусловленных элементов), близким к тому, которое, наоборот, более обычно для термина «система»; ср.: Б. Рассел, Человеческое познание. Его сфера и границы, М., 1957, стр. 284; подобным образом определяется термин «structure» и во французском философском словаре «Vocabulaire technique et critique de la philosophie», III, Paris, 1932 (под ред. А. Лаланда; имеются и более поздние издания); частично к этому определению приближается определение структуры, данное в кн.: Ю. С. Степанов, Основы языкознания, М., 1966, стр. 8. На употребление термина «структура» в смысле «система» обращено внимание уже в кн.: А. С. Чикобава, Проблема языка как предмета языкознания, М., 1959, стр. 154.

всего передаются терминами «система» и «структура» [16]. Другая часть исследователей, составляющая большинство, употребляет термины «система» и «структура» для обозначения двух различных понятий, однако содержание этих понятий определяется по-разному. Наиболее распространенным при различении этих терминов является понимание системы как внутренне организованной совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, а структуры —как схемы взаимоотношений между элементами системы, их внутренней организации [17]. Сюда же принадлежат и более общие определения структуры как свойства системы, понимаемой в указанном смысле [18]. Иногда понятие структуры рассматривается как высшее по отношению к понятию системы [19]. В ряде работ употребляется лишь какой-нибудь один из терминов «система» или «структура» без противопоставления его другому термину, но с таким именно значением, какое придается соответствующему термину при вышеуказанном различении. Так, многие исследователи пользуются одним только термином «система», обозначая им комплекс взаимодействующих элементов, целое, состоящее из взаимосвязанных частей [20]. С другой стороны, некоторые философы и языковеды употребляют термин «структура» безотносительно к термину «система» для обозначения характера или схемы связей между элементами целого [21]. Однако в отдельных случаях встречается и такое различение терминов «система» и «структура», которое составляет прямую противоположность вышеприведенному, в частности понимание языковой системы как замкнутой совокупности противопоставлений, а языковой структуры — как всего языкового образования, расчлененного на более простые эле-

---

[16] См. коллективное определение термина «система» в сб. «Zeichen und System der Sprache», II, стр. 90; см. также: K. Horálek, там же, I, стр. 76; II, стр. 86.

[17] См.: В. Т. Афанасьев, О принципах классификации целостных систем, ВФ, 1963, 5, стр. 31, 32; В. С. Тюхтин, Системно-структурный подход и специфика философского знания, ВФ, 1968, 11, стр. 48—50; G. Kröber, Die Kategorie «Struktur» und der kategorische Strukturalismus, «Deutshe Zeitschrift für Philosophie», 1968, 11, стр. 1314; Г. П. Мельников, Системная лингвистика и ее отношение к структурной, сб. «Проблемы языкознания», М., 1967, стр. 98; É. Benveniste, сб. «Zeichen und System der Sprache», II, стр. 95; его же, Structure en linguistique, сб. «Sens et usages du terme *structure* dans les sciences humaines et sociales», s'Gravenhage, 1962; M. Bierwisch, сб. «Zeichen und System der Sprache», I, стр. 43—44; L. Zawadowski, Lingwistyczna teoria języka, Warszawa, 1966, стр. 41; несколько иначе: О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М., 1966, стр. 412, 458; А. Г. Спиркин, указ. соч., стр. 196, 198; A. Heinz, Zur Struktur des Sprachsystems, сб. «Symbolae linguisticae in honorem Georgii Kuryłowicz», Wrocław — Warszawa — Kraków, 1965, стр. 120—121.

[18] См.: Б. В. Горнунг, О характере языковой структуры, ВЯ, 1959, 1, стр. 39; «Тезисы Пражского лингвистического кружка», в кн.: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX и XX веков, ч. II, стр. 441; H. Lüdtke, сб. «Zeichen und System der Sprache», I, стр. 100, 263; R. Ružička, там же, II, стр. 6; J. Fourquet, там же, стр. 80. Ср.: W. Neumann, Über die Dialektik sprachlicher Strukturen, «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», Berlin, 1969, 2, стр. 168, 173; G. Kröber, указ. соч., стр. 1314—1316.

[19] R. Kalivoda, O struktuře a strukturalizmu, «Filosofický časopis», 1, Praha, 1969, стр. 114.

[20] См.: A. Graur, Studii de lingvistică generală (Bucureşti), 1960, стр. 19; G. F. Meier, сб. «Zeichen und System der Sprache», I, стр. 106; W. Schmidt, там же, стр. 138; P. Trost, там же, стр. 149; E. Seidel, там же, стр. 198—199; J. Herman, там же, II, стр. 111. Аналогичное употребление термина «система» наблюдается и в работах зарубежных философов, в частности, разрабатывающих так называемую «общую теорию систем»,— Л. Берталанфи, А. Д. Холла, Р. Э. Фейджина. См.: L. Bertalanffy, Problems of life, New York, 1960, стр. 199; С. Б. Крымский, указ. соч., стр. 51.

[21] В. И. Свидерский, указ. соч., стр. 10—11; Л. О. Вальт, указ. соч., стр. 45; A. Eddington, New pathway in science, New York, 1935 (см.: М. М. Гухман, указ. соч., стр. 29).

менты [22]. Наряду с этим предлагаются и другие способы различения терминов «система» и «структура» — с пониманием системы как единства однородных взаимообусловленных элементов, а структуры — как единства разнородных элементов [23] или же как раз наоборот [24], с отнесением систем к уровню парадигматики, а структур — к уровню синтагматики [25], с определением структуры как состояния, а системы как движения в особом смысле [26], и т. д. В некоторых философских работах структура рассматривается как определенный вид системы, как ее инвариантный аспект [27] или же как система, выступающая со стороны наложенных на нее ограничений [28].

При таком многообразии имеющихся определений терминов «структура» и «система» никакое рассмотрение сущности соответствующих понятий не может быть даже начато без предварительного выбора наиболее обоснованного и целесообразного понимания значений данных терминов и их соотношения. Поскольку на данном этапе речь идет пока лишь о лексических значениях обоих терминов, а не всестороннем исследовании понятий, представляется наиболее удобным начать рассмотрение этого вопроса с самого общего определения значений, чаще всего соединяемых с каждым термином, и с выяснения самого общего различия между их употреблением.

Отсутствие у многих исследователей какого-либо различия между терминами «система» и «структура» или же обозначение ими в большей или меньшей степени совпадающих понятий может свидетельствовать о том, что даже и при различении значения обоих терминов они соотносятся с объективно тождественными сущностями. Однако принципиальная возможность создания ряда различных понятий об одном и том же отдельном объекте, отражающих различные ступени абстракции от объекта и различные направления конкретного познавательного процесса, а также фактическое наличие целого ряда различаемых понятий, подводимых в настоящее время под термины «система» и «структура», с одной стороны, и общий для каждой науки дефицит хороших терминов, с другой,— все это обязывает к экономному обращению с терминами «система» и «структура», в частности к тому, чтобы независимо от объективного тождества или различия соотносительных с ними явлений признать нецелесообразным безразличное употребление их в одном и том же значении.

Поскольку речь идет об установлении основных лексических значений терминов «система» и «структура», учет одних лишь способов употребления их в современной специальной литературе был бы явно недостаточен.

---

[22] Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa, 1968, стр. 537, 599.

[23] А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1967, стр. 25, 31, 249; его же, Что такое структурализм, ВЯ, 1957, 1, стр. 28—29.

[24] Б. А. Успенский, Структурная типология языков, М., 1965, стр. 32; А. И. Евдошенко, Проблемы структуры языка, Кишинев, 1967, стр. 187.

[25] J. B. Firth, A synopsis of linguistic theory, сб. J. B. Firth, Studies in linguistic analysis, Oxford, 1957, стр. 5; M. A. K. Halliday, сб. «Zeichen und System der Sprache», I, стр. 67, 271; B. Agricola, там же, стр. 2—3; F. Hintze, там же, II, стр. 29; I. Coteanu, там же, стр. 58.

[26] И. Б. Новик, О моделировании сложных систем, М., 1965, стр. 90.

[27] Н. Ф. Овчинников, указ. соч., стр. 14.

[28] С. Б. Крымский, указ. соч., стр. 55, 58. Здесь не учитываются различные определения терминов «система» и «структура», применяемых в некоторых разделах математики, в том числе и при математической интерпретации так называемой общей теории систем (см., например: М. Месарович, Основания общей теории систем, сб. «Общая теория систем», М., 1966, стр. 21—25, 28). О наличии внутренней взаимосвязи между математическими и «эмпирическими» понятиями системы и структуры, при их существенном различии, см. в статье: O. Lešk a, P. Novák, К вопросу о «структурном анализе» языка, SaS, XXVI, 1965, 2, стр. 110.

Оба выражения уже с античных времен употребляются в европейской письменности, и за две тысячи лет за ними закрепились более или менее четко различаемые наиболее общие значения, с которыми нельзя не считаться при использовании этих слов в качестве специальных терминов, значение которых еще только предстоит ограничить. Поэтому общее значение слов *система* и *структура* и общий характер соотношения между их семантикой необходимо выяснить прежде всего на конкретных примерах общепринятого употребления этих слов в современном литературном языке.

В тех случаях, когда слова *система* или *структура* употребляются в связи с названиями особенно сложных явлений, как, например, в выражениях *система министерства — структура министерства*, *система языка — структура языка*, различие в значениях этих двух слов, действительно, уловить трудно, на первый взгляд даже невозможно. Эти примеры подтверждают высказанное выше предположение о том, что слова *система* и *структура* соотносятся с объективно тождественными явлениями. Подобные же примеры, не дающие возможности разграничить понятия, выражаемые словами *система* и *структура*, послужили поводом и для необоснованного смешения этих слов в роли терминов, выражающих якобы тождественные понятия. Между тем, таких примеров можно найти сравнительно немного. В подавляющем большинстве случаев слова *система* и *структура* выступают в сочетаниях, четко обнаруживающих различия в их семантике. Так, во многих подобных сочетаниях эти слова вообще не поддаются взаимозамене; ср., с одной стороны, сочетания *система рычагов*, *система шестерен*, *система приемов*, *система мер*, *энергетическая система* (при невозможности употребления в близких значениях сочетаний *структура рычагов*, *структура мер* и т.д.), с другой стороны,— *структура почвы*, *структура предложения*, *структура книги* (при невозможности *система почвы* и т. д.). Примеры отчетливо показывают, что слова *система* и *структура* оба употребляются для выражения характеристики сложного объекта, однако характеризуют сложный объект с двух разных точек зрения: слово *система* говорит о свойстве сложного объекта как о проявлении взаимосвязи его составных частей, т. е. выражает подход к сложному объекту со стороны его частей, между тем как слово *структура* говорит о свойстве сложного объекта как о проявлении расчлененности единого объекта на взаимосвязанные части, т. е. выражает подход к сложному объекту со стороны его целостности. Иначе говоря, слово *система* указывает на способ объединения элементов, образующих более сложное целое, а слово *структура* — на способ расчленения целого на его элементы. Это же общее различие значений слов *система* и *структура* четко обнаруживается и при их употреблении в большинстве таких сочетаний, в которых каждое из этих слов может быть употреблено со своим особым значением (при возможном изменении грамматической формы числа сочетающегося с ними слова). Сравним, например, значения сочетаний *система механизмов* и *структура механизмов* или *система элементов* и *структура элементов*. Каждый носитель литературного языка, привыкший к обычному употреблению слов *система* и *структура*, свободно улавливает различие между значениями первых и вторых членов каждой из этих двух пар словосочетаний: в сочетаниях со словом *система* речь идет о совокупности механизмов или элементов как частей более сложного единства, между тем как сочетания со словом *структура* соотносятся с каждым механизмом или каждым элементом в отдельности, рассматриваемыми с точки зрения их внутренней организации. Поэтому в сочетаниях со словом *структура* форма множественного числа слов *механизмов* или *элементов* легко может быть заменена формой единственного числа,

причем изменится только значение числа, без изменения характера лексико-семантической связи между обоими словами, между тем как в сочетаниях со словом *система* такая замена, если она вообще оказывается возможной, ведет к более существенному изменению общего смысла словосочетания, основывающемуся на изменении направленности лексико-семантической связи слова *система* (ср. *система механизмов* «совокупность механизмов» и *система механизма*, что может быть понято лишь в смысле «система частей механизма», не говоря уже о более специальном, скорее разговорном смысле «марка, конструкция» и т. п.).

Из всего сказанного вытекает, что слово *система* в его общепринятом употреблении служит для выражения синтетического понятия о свойстве единого сложного объекта как о проявлении объединения в его составе более простых частей, между тем как слово *структура* выражает аналитическое понятие о свойстве единого сложного объекта как о проявлении его расчлененности на взаимосвязанные части. Таким образом, понятия системы и структуры в их общеязыковом неспециальном употреблении являются двумя разными, но тесно взаимосвязанными соотносительными понятиями, способными функционировать и в качестве двух разных осмыслений одного и того же реального объекта. С этой точки зрения сочетания *структура министерства* или *структура языка* следует понимать как выражения расчлененности министерства или языка на более простые взаимосвязанные составные части, т. е. как обозначения внутренней организации соответствующих сложных объектов, сочетания же *система министерства* или *система языка*, воспринимаемые иногда в качестве абсолютных синонимов по отношению к предыдущим, должны быть осмыслены как указания на множественность частей, составляющих эти сложные объекты, т. е. как такие выражения, которые могут быть заменены более полными выражениями *система учреждений министерства*, *система компонентов* (*уровней* и т. п.) *языка*. Все это означает, что при употреблении слова *система* осмысление сложного объекта идет в направлении от составных частей к целостности, а при употреблении слова *структура* осмысление идет в направлении от целостности объекта к его частям и к характеру их взаимосвязей.

Сопоставление этого общеязыкового употребления слов *система* и *структура* со всеми перечисленными выше способами определения терминов «система» и «структура» в современном языкознании и в философии позволяет сделать вывод о возможности полностью согласовать эти различные понимания рассматриваемых терминов. Неразличение значений терминов «система» и «структура» (в том числе и употребление в соответствующем значении лишь какого-нибудь одного из этих двух терминов), обусловленное, как уже упоминалось, объективным тождеством явлений, отражаемых в понятиях системы и структуры, свободно может быть заменено общепринятым употреблением этих двух слов как выразителей двух различных понятий об одном и том же объекте с соответствующим определением обоих понятий. Распространенное понимание системы как совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, составляющих единое целое, а структуры — как внутренней организации целого, характера взаимоотношений между его элементами, почти полностью совпадает с общепринятым нетерминологическим пониманием слов *система* и *структура*, если только признать, что отношения между элементами целого как компоненты структуры не имеют самостоятельного существования в отрыве от соотносящихся элементов. К этому же общепринятому пониманию слов *система* и *структура* может быть сведено и определение системы как единства однородных взаимообусловленных элементов, а структуры — как единства разнородных элементов, поскольку

ку элементы могут быть объединены в систему лишь при наличии у них каких-либо однородных признаков, хотя бы общего признака участия в обеспечении функций или свойства целого, что, однако, не исключает, а, наоборот, предполагает и наличие у них различающихся признаков, дополняющих друг друга в создании более сложного целого, между тем как для структуры целого, в свою очередь, важны все признаки ее элементов, т. е. главным образом различающиеся, составляющие большинство, но это вовсе не исключает и важности однородных признаков элементов структуры. Другие определения терминов «система» и «структура» могут быть охарактеризованы как более или менее существенные видоизменения этого общего их понимания, в конечном счете сводимые к нему, и только некоторые из перечисленных определений, не имеющие сколько-нибудь значительного распространения, представляются необоснованными отклонениями от установившегося понимания. Исходя из этого, следует признать наиболее целесообразным и соответствующим установившемуся в языке словоупотреблению такое различение терминов «система» и «структура», при котором под системой понимается совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, образующих более сложное единство, рассматриваемое со стороны элементов — его частей, а под структурой — состав и внутренняя организация единого целого, рассматриваемого со стороны его целостности. Поскольку определяемые таким образом понятия системы и структуры могут представлять собой различные осмысления одного и того же реального объекта, одна и та же сторона реального объекта может рассматриваться и как элемент структуры, и как компонент системы. Так, например, согласный *ш* представляет собой и элемент структуры консонантизма русского языка и компонент системы согласных, подлежащее представляет собой и элемент синтаксической структуры предложения и компонент системы членов предложения.

Определение понятий системы и структуры непосредственно связано и с решением вопроса о том, следует ли понимать под структурой только сеть чистых отношений в отвлечении от соотносящихся элементов или же и сами соотносящиеся элементы как субъекты и носители отношений в структуре. Без учета рассмотренной выше строгой соотносительности понятий системы и структуры как установившихся значений соответствующих слов настаивать на необходимости какого-либо одного из указанных двух пониманий термина «структура» было бы необязательно,— достаточно было бы последовательного признания того, что в действительности отношения без соотносящихся элементов не существуют и что, в таком случае, понятие структуры как сети чистых отношений является научной абстракцией, необходимой для определенных целей [29]. Однако признание последовательной соотносительности понятий системы и структуры исключает возможность понимания структуры как сети отношений, отвлеченных от соотносящихся элементов, наряду с пониманием системы как совокупности взаимосвязанных элементов, т. е. элементов, рассматриваемых вместе с их отношениями в рамках целого. Если признать, что понятия системы и структуры являются отражениями одного и того же свойства объекта, только рассматриваемого с двух противоположных точек зрения — со стороны составных частей объекта и со стороны его целостности, то соотносящиеся элементы вместе с их отношениями необходимо учитывать

---

[29] Именно такое понимание структуры встречается в работах некоторых советских философов, признающих наряду с этим возможность и другого понимания структуры, учитывающего вместе с отношениями также и относящиеся элементы; ср.: В. И. Свидерский, указ. соч., стр. 10—11, 18 и др. О двояком понимании структуры см. еще, например: С. Петров, указ. соч., стр. 87; В. В. Агудов, указ. соч., стр. 67.

не только в системе, но и в структуре. Необходимость учета соотносящихся элементов при определении структуры подчеркивают многие авторы, в том числе и некоторые немарксисты. Н. Ф. Овчинников считает, что суженное понимание структуры как сети отношений, «в сущности, совпадает с понятием отношения или связи. А между тем,— пишет он,— существует потребность в более общем понятии, которое не совпадало бы с понятием связи. Исследуя структуру объекта, можно говорить соответственно о трех главных аспектах категории структуры — аспекте элементов, аспекте связей и аспекте целостности» [30]. «При всем различии аспектов в понимании категории структуры,— пишет советский философ С. Е. Зак,— в них имеется общее: целое рассматривается как система, состоящая из частей, определенным образом расположенных и взаимосвязанных между собой... Структура — это категория, характеризующая распределение и взаимодействие в пространстве и времени элементов предметов и явлений, программу их развития. Структура представляет собой нечто целое, качественно отличное от составляющих ее элементов» [31]. Убедительное обоснование необходимости включения понятия элемент в понятие структуры предлагает немецкий философ Х. Лайтко [32]. На принадлежность элементов к структуре указывает и Б. Рассел. «Выявить структуру объекта,— отмечает он,— значит упомянуть его части и способы, с помощью которых они вступают во взаимоотношения» [33]. Понимание структуры как единства элементов объекта и их взаимоотношений не исключает возможности отвлеченного рассмотрения самих отношений между элементами структуры (как и между элементами системы) и, в частности, исследования их математическими методами. Рассматриваемая таким образом схема отвлеченных отношений с целью отличения ее от более конкретного понятия структуры может обозначаться термином «формальная структура» [34].

С определением содержания понятия структуры непосредственно соприкасается важный методологический вопрос об онтологической перспективе понятий *системы* и *структуры*, особенно в их применении к языку. Вопрос о том, существуют ли языковая система и языковая структура в действительности или это только плод мыслительной деятельности ученых, занимающихся исследованием реальных явлений языка, в различных лингвистических направлениях получает неодинаковое освещение. Так, например, американские дескриптивисты отрицают объективное существование языковой структуры как предмета исследования, понимая под структурой «всего лишь научное упорядочение» речевых актов, или же считают споры об «объективном» или «субъективном» характере языковой структуры бесполезными, ведущими «к пустой трате времени» [35]. Аналогичные высказывания встречаются и в работах лингвистов других стран, в том числе и советских, хотя иногда это могут быть только недостаточно развернутые формулировки, не отражающие полностью авторского

---

[30] Н. Ф. Овчинников, указ. соч., стр. 14, 16, 40 и др.; ср.: И. С. Алексеев, О связи категории структуры с категориями целого и части, «Вестник МГУ», серия VIII, 2, 1963, стр. 60.

[31] С. Е. Зак, указ. соч., стр. 54—55.

[32] H. Laitko, указ. соч., стр. 678—679. Ср. также: H. Hörz, Zum Verhältnis von Struktur und Symmetrie in Physik und Philosophie, «Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Univ., Berlin. Math.-Nat. Reihe», 6, 1967, стр. 868.

[33] Б. Рассел, указ. соч., стр. 284. Ср.: Г. Г. Вдовиченко, Проблема структуры в теории отражения. Автореф. докт. диссерт. Киев, 1969, стр. 6—7, хотя в этой работе такое понимание структуры проводится непоследовательно.

[34] Ср.: С. Петров, указ. соч., стр. 87.

[35] См.: Э. Хэмп, Словарь американской лингвистической терминологии, М., 1964, стр. 209—210.

понимания соответствующей проблемы в целом [36]. Некоторые другие лингвисты, в частности, глоссематики (Л. Ельмслев, Х. Ульдалль), признавая систему (структуру) языка действительно существующей, приписывают ей чисто идеальный характер, лишающий такое признание существования системы фактического смысла. С другой стороны, подавляющее большинство языковедов мира признает в той или иной форме объективное существование системы и структуры языка [37]. Коренные расхождения методологического характера в вопросе об объективном существовании языковой системы (структуры) обусловлены большой сложностью тех фактических отношений, которые имеют место между понятиями системы и структуры языка, с одной стороны, и конкретными проявлениями языка в виде речевых актов,— с другой. Трудности определения этих отношений еще более усиливаются тогда, когда под структурой языка понимается только реляционный каркас языка без соотносящихся элементов. Но и в том случае, если под структурой понимать единство отношений и соотносящихся элементов, объективный коррелят понятий системы и структуры в «чистом» виде конкретно не обнаруживается. Как отмечает Ю. С. Степанов, «структуру языка нельзя непосредственно видеть, слышать, вообще воспринимать или, например, записать на магнитофонную пленку» [38]. Это же касается и системы языка, понимаемой именно как объективный коррелят понятия языковой системы. С этим объективным аспектом значения термина «система языка» не следует смешивать значение «реальный объект во всей его конкретной целостности», которое нередко придается слову *система* в общеязыковом употреблении [39]. Говоря о системе языка как некоей объективной сущности, никто не имеет в виду ни конкретных проявлений языка в виде речевых актов, ни общей совокупности всех речевых актов, осуществившихся в течение всего периода функционирования данного языка. Тем не менее нет никаких оснований считать понятия системы и структуры языка произвольными «конструктами» сознания, лишенными какой-либо почвы в объективной языковой действительности. Такое понимание противоречило бы тому, что понятия системы и структуры языка во всей полноте их конкретного содержания служат эффективными средствами всестороннего осмысления языковой действительности и активного овладения ею. В таком случае понятия системы и структуры языка должны рассматриваться в качестве примеров подлинно научных абстракций, сущность и значение которых в познавательном процессе глубоко и всесторонне охарактеризованы классиками марксизма-ленинизма.

Рассматривая такие абстракции, как «материя» или «движение», Ф. Энгельс указывал, что абстракции — это «не более, как *сокращения*, в которых мы охватываем, сообразно их общим свойствам, множество различных чувственно воспринимаемых вещей» [40]. Наличие объективной почвы как обязательного свойства научных абстракций, представляющих собой диалектическое единство субъективного и объективного, подчерки-

---

[36] Ср.: F. M i k u š, сб. «Zeichen und System der Sprache», I, стр. 110; S. K. S a u m j a n, там же, II, стр. 192, 194; Б. А. У с п е н с к и й, указ. соч., стр, 32.

[37] Ср. соотношение соответствующих точек зрения на международном симпозиуме по проблеме «Знак и система языка» в Эрфурте (1959 г.). E. S e i d e l, Rapport zu den Fragen 7—9, сб. «Zeichen und System der Sprache», I, стр. 196—197.

[38] Ю. С. С т е п а н о в, указ. соч., стр. 5—6. Ср.: J. K o ř e n s k ý, Příspěvek problému struktury objektu a struktury popisu v lingvistickém skoumání, SaS, XXIX, 1968, 1, стр. 29.

[39] «Любой объект — всегда система» (Н. Ф. О в ч и н н и к о в, указ. соч., стр. 11).

[40] К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., 20, стр. 550.

вает В. И. Ленин: «Человеческие понятия субъективны в своей абстрактности, оторванности, но объективны в целом, в процессе, в итоге, в тенденции, в источнике» [41]. В работах современных философов-марксистов дано убедительное диалектико-материалистическое истолкование понятий структуры и системы как особого вида абстракций, позволяющих отразить при помощи конечного числа элементов и свойств объективный предмет, содержащий бесконечное число признаков [42]. При таком понимании понятие структуры (как и параллельное ему понятие системы) оказывается отражением определенного частного, но вместе с тем общезначимого момента, объективно наличествующего в отражаемом явлении и особенно существенного для познания данного явления на соответствующем этапе познавательного процесса.

Трудность осмысления онтологического статуса языковой структуры и системы проистекает из своеобразия и сложности конкретной физической природы языка как явления действительности. Конкретный живой язык принадлежит к категории таких явлений действительности, которые отличаются большой степенью пространственной и временной дискретности и структурного разнообразия своих частей (в данном случае так называемых актов речи) и существуют лишь в виде прерывистых, постоянно возобновляющихся в различных местах, бесконечно разнообразных и, чаще всего, непосредственно друг от друга не зависимых проявлений таких частей. Конкретный живой язык во всем его объеме представляет собой сложный, пространственно многоплановый процесс осуществления всех относящихся к нему актов речи в течение всего соответствующего периода времени. Для создания этого практически неограниченного количества актов речи, среди которых встречаются и совершенно тождественные, применяется в различных комбинациях ограниченное количество элементов языка и способов их использования. Именно эти элементы и способы, по своим признакам и функциям в строе речевых актов распределяющиеся по различным классам, и образуют структуру (систему) языка. Поскольку в отдельных речевых актах каждый раз используется лишь незначительная часть элементов языковой структуры (системы), а непосредственным наблюдением может быть охвачено одновременно лишь крайне небольшое количество речевых актов, к тому же элементы языковой структуры в конкретных речевых актах группируются не по парадигматическому принципу структуры языка, а по синтагматическому принципу строения речи, структура (система) языка в самом языке непосредственному наблюдению не поддается. Однако структура и система языка, не поддающиеся непосредственному восприятию как определенные целостности при наблюдении реальных речевых актов, объективно существуют в языковой действительности, проявляясь в бесконечно повторяющихся компонентах языка и в относительно устойчивых закономерностях взаимодействия их формальных и семантических свойств при образовании речевых актов. Принадлежащая к системно-структурному плану группировка элементов языка на различных его уровнях непосредственно обнаруживается при рассмотрении конкретных речевых актов в сходстве их формальных признаков и способов функционирования в рамках более сложных речевых конструкций. Характеризующие языковую систему и структуру отношения между различными элементами языка непосредственно проявляются в различиях и сходствах их конкретных формальных и функциональных признаков, наблюдаемых в рамках речевых конструкций. Объективно существующие

[41] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 190.

[42] Н. Ф. Овчинников, указ. соч., стр. 1 — 13; H. Laitko, указ. соч., стр. 681—682.

структура и система языка обнаруживаются, таким образом, в бесконечном повторении их различных сторон и элементов, выступающих каждый раз в других конкретных проявлениях.

Поскольку понятие структуры, как и понятие системы, является отражением объективного предмета или явления, охватывающим конечное число признаков, между тем как объективный предмет содержит неисчерпаемое число признаков, возможно, в принципе, создание бесконечного количества понятий структуры и системы, соотносительных с одним и тем же объектом. Между этими понятиями могут иметь место и самые незначительные отличия, и глубокие расхождения, обусловленные отнесенностью к совершенно различным аспектам действительного объекта. На каждом этапе развития науки, в частности, на данном этапе развития языкознания, создается крайне ограниченное количество таких понятий (моделей и т. п.), соответствующее непосредственным задачам и возможностям исследования. Между тем, действительно существующий в виде речевых актов язык фактически содержит в себе бесконечное количество объективных коррелятов тех понятий о структуре и системе, которые могут быть созданы в бесконечном процессе познания языка. Поэтому действительный язык представляет собой практически неисчерпаемую для познания всеохватывающую систему и всеохватывающую структуру, бесконечно более богатую, чем любое, какое бы то ни было сложное, отвлеченное понятие системы или структуры языка. Именно в таком неисчерпаемом богатстве признаков системы или структуры содержится тот объективно существующий аспект речевой деятельности, который со времени опубликования «Курса» Ф. де Соссюра принято называть языком и противопоставлять речи [43]. Таким образом, система и структура языка представляют собой внутренне, органически присущее языку свойство, обусловленное его сложным составом и сложными функциональными задачами. Система и структура языка могут быть охарактеризованы как общий закон внутренней организации и функционирования языка [44]. Однако ни структура, ни система не могут рассматриваться в качестве некоего первичного начала, подчиняющего себе конкретные проявления языка в виде речевых актов. Они возникают в самом языке в процессе его становления и усложняются по мере увеличения его состава и усовершенствования его функций. Наличие в языке сложной многоярусной структуры (природа языка как сложной многоярусной системы), состоящей чаще всего из фонетического, морфологического, лексического и синтаксического уровней, представляет собой результат длительного накопления в течение многих тысячелетий знаковых звуковых единиц, необходимых для обозначения различных явлений действительности, а затем и отвлеченных понятий, сопровождаемого постоянным стихийным стремлением говорящих, с одной стороны, к четкому звуковому различению каждого отдельного знака и недопущению звукового смешения различных знаков, а с другой стороны — к наибольшему упрощению конструкций высказываний путем сведения их к немногим общим формальным схемам, максимально облегчающим процесс речевого общения. Как и сам язык, его система и структура в конечном счете являются продуктом и выражением речевой деятельности общества, стихийно,

[43] Более общим и более конкретным понятием языка, после введения соссюрианского противопоставления языка, речи и недостаточно определенного понятия речевой деятельности (langage), отошедшим в языкознании на задний план, является понятие языка как совокупности всех речевых актов за определенный период времени вместе со всеми их системными (структурными) характеристиками.

[44] О возможности истолкования философской категории структуры как закона см.: H. L a i t k o, указ. соч., стр. 690—692; ср. также: I. H r u š o v s k ý, Dialektika štrukturácie a zákonitosti dejin filozofie, «Filosofický časopis», Praha, 1969, 1, стр. 7.

а в последнее время все более планомерно создающего и употребляющего язык как средство обмена информацией и общественного накопления этой информации.

Представление языка в виде структуры (системы) или множества различных структур, охватывающих взаимозависимые элементы соответствующих уровней, способствует планомерному научному проникновению в сущность языка и его внутреннюю природу, раскрытию все новых причинных зависимостей между его компонентами, построению логически стройных лингвистических теорий, позволяющих воспринять в легко обозримой форме тот или иной аспект языка во всей его сложности как некую целостность. Одно из наиболее важных преимуществ системно-структурного подхода к языку заключается в том, что возможность произвольного отбора структурных признаков языка в определенном аспекте для построения задаваемой абстрактной структуры позволяет создать такие абстрактные структуры языка, которые в той или иной степени поддаются обработке средствами современной математики и математической логики. Это, с одной стороны, ведет к повышению строгости методики языкознания и доказательности выводов, относящихся к данному аспекту структуры языка, с другой,— обеспечивает возможность применения вычислительной техники к исследованию языка и механической обработки языковых данных в прикладных целях.

Однако марксистское понимание языка как системы вовсе не означает, будто можно свести все изучение языка к построению абстрактных представлений его структуры. Возможность отражения в любом абстрактном представлении структуры языка, каким бы сложным оно ни было, лишь ограниченного числа действительных структурных признаков объективно существующего языка приводит к тому, что бесконечное большинство действительных свойств языка, в том числе и крайне важных для общего понимания его природы и сущности, в абстрактной структуре языка не отражается и в построенной на ее основе лингвистической теории не учитывается. Общее научное представление о природе и сущности языка, основанное на данных конкретного (не строго структурного) исследования по своему содержанию в настоящее время несравненно богаче не только любого абстрактного представления о структуре языка, построенного по современной строго структурной методике, но и всех созданных до сих пор таких структурных представлений вместе взятых. Неисчерпаемость действительных признаков языка означает, что и в будущем, при любом прогрессе в развитии структурных методов и возрастании их эффективности никогда не удастся построить такую абстрактную математически стройную структуру языка, которая бы полностью отразила все его объективные свойства. Поэтому дальнейшее применение и совершенствование различных приемов конкретного (не строго структурного) исследования наряду с расширением и углублением методики структурного анализа станет, по-видимому, одной из объективных закономерностей развития науки вообще и языкознания в частности.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1970

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. А. АВРОРИН

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКОВ У НАРОДОВ СИБИРИ

Проблемы развития национальных отношений, важным аспектом которых является взаимодействие национальных языков, имеют для нашего многонационального социалистического государства весьма существенное значение. Они в равной мере актуальны как для теории общественного развития, так и для практики строительства коммунизма. Большое внимание уделял этим проблемам В. И. Ленин, сделавший неоценимый вклад в разработку марксистской теории национального вопроса и заложивший прочные основы национальной политики Коммунистической партии. Непреходящее значение этих проблем для современности и обозримого будущего нашей страны подтверждается тем большим местом, которое они заняли в Программе КПСС.

Строительство коммунизма требует от всех его участников повышения их идейной убежденности, политической сознательности, расширения и углубления научного кругозора и общей культуры, подразумевая всестороннее, гармоническое развитие не только всего общества в целом, но и каждого отдельного его члена. Этим вызывается необходимость совершенствовать систему просвещения, в частности, довести обязательное образование до уровня средней школы, а также поднять эффективность пропагандистской и культурно-просветительной работы. Успех любого идеологического воздействия находится в прямой зависимости от степени доступности передаваемой информации, что в свою очередь в немалой мере зависит от того, насколько понятен применяемый при этом язык.

Не требует доказательств положение: язык, которым человек владеет в совершенстве, дает полную возможность воспринять идею любой сложности, и в то же время любая элементарная идея останется пустым звуком, когда она преподносится на недостаточно понятном языке. Степень совершенства как того, так и другого языка, равно как и прочие их достоинства, могут не играть при этом никакой роли.

В последнее время как в устных выступлениях на различных конференциях и совещаниях, так и в печати все чаще высказывается мнение о необходимости ускоренного перевода всей просветительной работы и всех звеньев образования у малых народов на языки народов более крупных. Мотивируется это тем, что все эти народы или уже перешли на языки своих более многочисленных соседей, или находятся на пороге такого перехода, якобы добровольно отказываясь от своих родных языков. Хотя это мнение и его мотивировка научно обоснованными данными подкреплены не были, тем не менее на территории Сибири в этом направлении делались уже практические шаги.

Возникла необходимость проверить целесообразность предпринятых шагов, их теоретическую обоснованность и практическую оправданность.

Для этого требовалось начать глубокое изучение функционального взаимодействия языков в общественной жизни народов Сибири.

Непосредственная задача такого изучения — выяснить фактическое распределение у каждого народа социальных функций различных языков (языка своей национальности, языка межнационального общения, языка основного населения республики, языков соседних народов и т. п.), определить реальные потребности и возможности использования того или иного языка в различных сферах общественной жизни, эффективность каждого из них, выявить реально существующие тенденции перераспределения функций языков, типы билингвизма и полилингвизма, установить влияние разных видов межъязыковых контактов, миграционных процессов и смешанных браков на языковую жизнь и т. п.

Языковая ситуация обладает известной спецификой не только у каждого народа в целом, но и у каждого его подразделения, зависящего от территории расселения, пола, возраста, социально-профессиональной принадлежности, уровня образования, родного языка и других подобных признаков. Поэтому подход к изучению названной проблемы и решение связанных с ней практических вопросов должны быть строго дифференцированными.

Публикаций по интересующей нас проблеме немало. Научная ценность большинства из них неоспорима. Вместе с тем, слабая сторона их заключается в том, что почти все они исходят из чисто субъективных впечатлений исследователей, не подкрепленных необходимым фактическим материалом, что снижает аргументированность, а порой и достоверность многих выводов и наблюдений.

Для лингвистической теории и языковой практики давно уже назрела необходимость получения достаточного по количеству и надежного по объективности и репрезентативности материала о реальном соотношении функций различных языков, прежде всего родного и русского, во всех сферах современной жизни каждого из нерусских народов нашей страны со всеми отмеченными выше подразделениями.

Судя по литературным данным, до недавнего времени такой материал в нужном объеме никем не собирался. Совершенно нетронутой оставалась также методика сбора и обработки подобного рода материала. Первая, насколько мне известно, попытка делается сейчас на территории Сибири. Как всякое первое начинание, она сопряжена с немалыми трудностями. Несомненно, что дело не обойдется без каких-то просчетов, огрехов и ошибок. И все же первый опыт сибиряков может оказаться поучительным. Ему и посвящается настоящая статья.

Идея проведения широкого обследования языковой жизни Сибири, на первых порах только ее коренных народов, причем наиболее характерной и массовой их части — сельского населения, возникла в Институте истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР еще в 1964 г. Осуществление этой идеи вначале взяла на себя группа языковедов и этнографов в составе пяти — шести человек. Постепенно число участников обследования росло. В него вовлекались расположенные на территории Сибири исследовательские институты и вузы, а также отдельные сотрудники Институтов этнографии и языкознания АН СССР. Активное участие в работе, особенно на первых ее этапах, принимали руководящие работники ЦСУ РСФСР, Сектора Крайнего Севера Совета Министров РСФСР, Академии педагогических наук.

На подготовительном этапе необходимо было, прежде всего, сформулировать основные цели обследования и методические принципы его проведения. Главные цели обследования, связанные с чисто лингвистической стороной дела, были коротко охарактеризованы выше. Но поскольк-

ку выяснение языковой ситуации немыслимо вне связи с целым рядом иных специальных условий, представлялось целесообразным попутно выяснить роль языкового фактора в этнических процессах, структуру населения по полу, возрасту, занятости в общественном производстве, его социально-профессиональную дифференциацию, состояние культурного уровня и образования, ход миграционных процессов, характерные типы семьи, тенденции физического прироста населения, процессы метисации, этнической ассимиляции и т. п. Все эти сведения необходимы для лингвистов, занимающихся изучением социологического аспекта языковой действительности. Но они представляют интерес также для специалистов в области смежных дисциплин: истории, этнографии, демографии, педагогики. Вместе с тем, необходимо было предусмотреть накопление материала для решения ряда практических вопросов, связанных с установлением степени эффективности того или иного языка как средства общения, обучения, пропаганды и удовлетворения эстетических потребностей.

Необходимость получить массовый материал, отражающий языковую ситуацию, а также ее оценку и пожелания со стороны населения, определила методику сбора информации. Из ассортимента методических приемов, разработанных социологами и апробированных в ходе многочисленных массовых обследований, выбор пал на метод анкетирования, при котором каждому обследуемому предлагается определенный набор вопросов, один и тот же для всех, требующий простых, стандартных, коротких ответов. Соотношение сумм различных ответов на каждый отдельный вопрос должно дать представление о той или иной стороне или детали изучаемого явления, а корреляции между ответами на разные вопросы — выявить причинные связи между этими явлениями, их сторонами и деталями.

Следующий этап подготовительной работы был связан с выработкой текста анкеты и инструкции к ней, с их проверкой на практике и широким обсуждением в компетентных учреждениях. На основе первоначального варианта анкеты в 1965—1966 годах проводились пробные обследования на территории Бурятской АССР, Горно-Алтайской автономной области и в некоторых районах расселения чукчей, нанайцев и тофов (тофаларов). Ими было охвачено более 4 тысяч человек. Это позволило отработать методику сбора материала, дать ему первоначальную оценку путем сопоставления с данными текущей статистики, уточнить организационные вопросы, внести коррективы в текст анкеты и инструкции.

Окончательный вариант анкеты имеет некоторые существенные отличия от аналогичного «инструментария», обычно применяемого при конкретных социальных исследованиях. Анкета имеет семейно-индивидуальный характер: она рассчитана на целую семью, но для ответов каждого отдельного члена семьи имеется особая колонка, в заголовке которой указывается отношение данного лица к главе семьи (жена, отец, мать, сын, дочь и т. п.). Таким образом, ответы всех членов одной семьи сосредоточены на одном листе, но ответы каждого из них при обработке легко вычленяются. Семейный характер анкеты дает нам ценную информацию о структуре семьи, о характере и тенденциях изменения в ее рамках языковой ситуации.

Анкета содержит четыре группы «закрытых», или обязательных, вопросов. Первая группа — адресная (республика, край, область или округ; район; сельсовет; населенный пункт). Вторая группа — паспортная, устанавливающая следующие признаки: национальность, пол, возраст, образование, место работы, род деятельности, время проживания в дан-

ной местности, родной язык. Третья группа имеет целью выяснить степень владения тем или иным языком (родным, русским, каким-либо иным, одним или несколькими), а также употребительность различных языков. Задаются вопросы: на каких языках, помимо родного, информант может понимать чужую речь, или также и разговаривать, или также читать и писать; на каком языке говорил до поступления в школу; на каком языке начал обучаться в школе; на каком языке обычно говорит в семье с детьми-дошкольниками, с детьми-школьниками, со взрослыми, на работе или в школе, в прочих случаях с людьми своей национальности и с людьми иных национальностей; на каком языке понятнее читать, слушать лекции, доклады, концерты и спектакли; нужны ли пояснения на родном языке к кинофильмам; на каком языке удобнее выступать на собраниях; на каком языке информант пишет или диктует письма людям своей национальности и людям иных национальностей. Четвертая группа выясняет пожелания информантов в отношении использования тех или иных языков: на каком языке следует говорить с детьми в дошкольных учреждениях; на каком языке вести обучение в первом классе, в других классах начальной школы, в средней школе; нужно ли преподавать родной язык как предмет в школе и в средних специальных учебных заведениях. Кроме перечисленных «закрытых» есть также и «открытые» вопросы, ответы на которые даются информантами в свободной форме, когда они хотят что-либо добавить от себя к ответам на вопросы анкеты. Здесь имеются в виду прежде всего пожелания в отношении языка книг, местной периодической печати, культурно-просветительной работы, а также выяснение степени понятности литературы на родном языке, если таковая издается.

Составляя текст анкеты, мы стремились к тому, чтобы она была достаточно универсальной, дающей нужную нам по характеру, объему и убедительности информацию и в то же время доступной и простой для заполнения, требующей по возможности однословных, стандартных ответов, ибо в противном случае обработка материала была бы очень затруднена. Дальнейшая работа по анкете показала, что эти цели в основном были достигнуты. Выяснилась, вместе с тем, и слабая сторона анкеты, а именно то, что для суждения о степени владения тем или иным языком она достаточных сведений не дает, затрагивая эту проблему лишь поверхностно. А между тем это очень важно. Особенно важно выяснить степень овладения русским языком, поскольку это не только язык межнационального общения, но и родной язык подавляющего большинства (свыше 80%) населения Сибири. Но это была в известном смысле «запланированная» слабость, так как заранее было видно, что нужной глубины в этом отношении достигнуть при анкетном обследовании не удастся. Здесь скорее подошел бы более сложный метод интервьюирования с применением тестов, для осуществления которого мы не располагаем нужными силами. Такое крайне необходимое исследование приходится отнести к более позднему времени.

Известны два основных типа анкетного обследования: сплошное и выборочное. Сплошное обследование, конечно, надежнее, но оно излишне громоздко (в Сибири им нужно было бы охватить около миллиона человек) и практически неосуществимо. К тому же степень его надежности немногим выше, чем при выборочном обследовании. Уже при двухпроцентной выборке размеры возможной погрешности составляют столь незначительную величину, что практически ею вполне можно пренебречь. Все же было решено несколько повысить средний процент выборки по сравнению с обычным у социологов. Вместо 1—2 процентов мы поначалу остановились на 5—6 процентах. Но это относилось ко всей совокупности коренного

населения Сибири. Распространить этот принцип на каждый отдельный народ оказалось невозможным ввиду большого расхождения количественных показателей. Наряду с относительно крупными народами, такими как буряты (253 тыс. чел. [1]), якуты (237 тыс. чел.), тувинцы (100 тыс. чел.), в Сибири есть народы, насчитывающие всего лишь несколько сотен человек, например, алеуты, юкагиры, негидальцы, ороки, энцы (каждый около 400 чел.), орочи (около 500 чел.), тофы (около 600 чел.), нганасаны (750 чел.). При пятипроцентной выборке у народов малочисленных обследование нужно было бы распространять всего на 20—40 человек. В низших рубриках необходимой для нас последовательной классификации информантов по полу, возрасту, образованию, роду деятельности и т. п. в этом случае могло бы не оказаться ни одного человека или оказались бы единицы. Полученная информация неизбежно носила бы случайный и малоубедительный характер.

Во избежание указанных недостатков для обследуемых народов устанавливался неравный процент выборки, обратно пропорциональный количеству населения. Все подлежащие обследованию народы разбиты на семь групп с определенным для каждой из них процентом выборки: 1) свыше 200 тыс. чел. (буряты и якуты) —2,5%; 2) 40—100 тыс. чел. (тувинцы, хакасы и алтайцы) —5%; 3) 15—25 тыс. чел. (эвенки, ханты, сибирские ненцы, сибирские коми и шорцы) —10%; 4) 9—12 тыс. чел. (чукчи и эвены) —15%; 5) 3—8 тыс. чел. (нанайцы, манси, коряки, селькупы и нивхи) —25%; 6) 1—3 тыс. чел. (ульчи, удэгейцы, эскимосы, долганы, ительмены и кеты) —50%; 7) менее 1 тыс. чел. (нганасаны, тофы, орочи, юкагиры, энцы, алеуты, ороки и негидальцы) — до 100% [2].

Чтобы устранить возможность предвзятого отбора объектов при выборочных обследованиях, обычно берется вся территория, каждый расположенный на ней населенный пункт и в них обследуются дома или квартиры по порядку с пропуском нужного их числа, т. е. при 50% выборки — через дом, при 10% выборки — через 9 домов и т. п. Такой принцип оказался неприемлемым ввиду большой распыленности коренного населения Сибири и кочевого образа жизни значительной его части. Нам пришлось избрать иной путь — отбор некоторого числа районов, а в каждом из них — некоторого числа населенных пунктов с населением, несколько превышающим установленный процент выборки, чтобы обеспечить возможность выбраковки дефектного материала. В каждом таком населенном пункте обследованием охватывается по возможности все население, все семьи, включающие хотя бы одного представителя коренных народов. Так мы комбинируем районированную выборку со сплошным обследованием. Репрезентативность выборки обеспечивается отбором той части населения, которая во всех интересующих нас отношениях типична для данного народа в целом, иначе говоря, выборка совпадает с генеральной совокупностью по всем показателям, кроме объема. Типичность районов и населенных пунктов устанавливается на основе данных текущей статистики, имеющихся на местах.

Для обеспечения максимальной объективности результатов обследования необходимо если не полностью устранить возможность давления на информантов со стороны обследующих (практически это едва ли достижимо), то во всяком случае свести такую возможность к минимуму. С этой целью инструкция предписывает анкетерам определенную линию поведения во время работы: записывать только ответы опрашиваемых;

[1] По данным Всесоюзной переписи населения 1959 г.

[2] Так называемые «сибирские татары», отдельные группы которых могут быть отнесены к числу аборигенов Сибири, по разного рода причинам в круг обследуемых народов пока не включаются.

в случае затруднений допустимо перечисление возможных ответов, но категорически запрещены какие бы то ни было подсказки.

Возможность получения неспровоцированных разумных ответов в значительной мере зависит от того, насколько понятны информантам цели обследования. Анкетерам вменяется в обязанность в каждой семье перед заполнением анкеты дать необходимые разъяснения (в случае надобности на родном языке) в соответствии с текстом инструкции. Наряду с этим рекомендуется проводить в каждом населенном пункте беседы с населением, использовать местную периодическую печать и радио. Кроме того, объективность и разумность ответов в известной мере контролируется самой анкетой, которая содержит ряд вопросов, ответы на которые поддаются перекрестной проверке. Обнаружив несовместимые ответы на разные вопросы, полученные от одного и того же лица, можно произвести выбраковку недоброкачественных анкет. Этим крайним средством мы пользуемся лишь в исключительных случаях, когда очевидна вопиющая противоречивость ответов,— вообще же ошибки в ту или иную сторону при столь массовых обследованиях должны выравниваться согласно закону больших чисел.

Вся территория Сибири разбита для целей обследования на следующие зоны, в которых общее руководство обследованием закреплено за определенными лицами из числа сибирских лингвистов, этнографов и историков: а) северо-западная — Ю. Б. Стракач, б) юго-западная — В. М. Наделяев и П. Ц. Биткеев, в) дальневосточная — С. Н. Оненко и В. А. Аврорин, г) бурятская —А. Р. Бадмаев, д) якутская — Е. И. Убрятова и Н. Е. Петров, е) тувинская — Н. А. Сердобов и П. Ц. Биткеев.

Для каждого обследуемого района, группы районов, национального округа, области или края выделяются консультанты организаторы. По приезде в местный административный центр они устанавливают контакт с партийными, советскими, культурными и статистическими организациями. Вместе с ними производят отбор подлежащих обследованию районов и населенных пунктов, при их содействии подбирают из числа местной интеллигенции нужное число анкетеров, проводят с последними подробный инструктаж, включающий пробное заполнение анкет, разъясняют через печать, радио и путем бесед с населением цели обследования, консультируют и контролируют действия анкетеров.

Местные организации почти повсеместно проявили должное внимание к обследованию и оказали нам весьма существенную помощь. Население же везде относилось к нашей работе с большим одобрением и ответственностью.

Сбор анкетного материала начат в 1967 г. Географический ареал обследования весьма внушителен. Он простирается от левых притоков Оби до Чукотского полуострова и от побережья Северного Ледовитого океана до Алтая и Сихотэ-Алиня. Достаточно обширны и этнические рамки обследования — к началу 1969 г. было в той или иной мере охвачено из 31 коренного народа Сибири 28, причем собрано достаточное количество материала по 22 народам, в том числе по таким наиболее крупным, как буряты, якуты, тувинцы и алтайцы, составляющим три четверти всех коренных жителей Сибири. Не было охвачено обследованием три народа: хакасы, шорцы и алеуты. Алеутов в пределах СССР всего около 400 человек, и для них проблемы соотношения функций разных языков по сути дела давно не существует. Родным в прямом смысле слова для них стал русский язык. Алеутским же языком почти никто в повседневной жизни уже не пользуется. Помнят его лишь отдельные представители старшего поколения. Тем не менее, меры для их обследования в 1969 г. принимались. Анкетирование хакасов (около 60 тыс. чел.) и шорцев (около 15 тыс.

чел.) намечалось на 1969 г. К концу года эта задача была выполнена. Лишь по сибирским ненцам, энцам, нганасанам материала было собрано меньше, чем планировалось.

Всесоюзной переписью населения 1959 г. было зарегистрировано 840 тыс. чел., относящихся к коренным народам Сибири, в том числе сельского населения 714 тыс. чел. Исходя из общей пятипроцентной выборки сельского населения, надлежало охватить обследованием 36 тыс. чел. В собранных к началу мая 1969 г. анкетах имеются ответы 42 тыс. чел., что составляет уже не 5, а почти 6 процентов интересующего нас населения. Этот лишний процент образуется превышением нормы по отдельным народам, в том числе таким крупным, как якуты и тувинцы. Но превышение количества анкет по одним народам никак не компенсирует недобора по другим. Поэтому в течение 1969 г. было охвачено обследованием еще около 8 тыс. чел. Общее число информантов при этом достигло 50 тыс. чел., т. е. 7 процентов коренного сельского населения.

Обработка анкетного материала может производиться разными способами — как вручную, так и с применением различных счетно-решающих устройств. Выбор того или иного способа, естественно, определяется объемом материала, характером задач, наличием реальных возможностей и допустимыми сроками обработки. Нам приходится иметь дело с массовым материалом большого объема — с ответами 50 тыс. информантов на 38 вопросов анкеты, т. е. почти с двумя миллионами единиц исходной информации. При этом нас интересует не только суммирование определенных количеств, не только разбиение неких множеств на их составляющие, но, что важнее всего, еще и установление корреляций между характером ответов на вопросы анкеты и принадлежностью информанта к той или иной категории по месту жительства, национальности, полу, возрасту, образованию, роду деятельности и т. д. Поэтому мы остановились на электронных вычислительных машинах, имеющихся в Вычислительном центре Сибирского отделения АН СССР. Наш материал в необработанном виде не выдерживает длительного хранения. Через год-два он утрачивает значительную долю своей ценности, особенно для решения вопросов языковой практики, так как языковая ситуация в наших условиях год от года меняется. Это было еще одним и, пожалуй, решающим доводом в пользу ЭВМ.

Материалы пробного обследования алтайцев, проведенного в 1965 г., были в виде опыта обработаны на машине М-20. Это позволило группе математиков-программистов Института истории, филологии и философии СО АН СССР выработать и уточнить программу, по которой сейчас ведется обработка материалов обследования.

Был составлен ассортимент кодовых знаков в восьмеричной системе счисления, обеспечивающий обозначение каждого возможного ответа на любой вопрос анкеты. Закодированный материал переносится на кодировочные бланки, а с них — на перфокарты, которые после прохождения через контрольники вводятся в ЭВМ.

Подготовка материала к вводу в машину и машинная обработка идут крайне медленно. Объясняется это нехваткой лаборантов для кодирования и перфорирования, а также отсутствием у Института специальных средств на оплату дорогостоящего машинного времени. При благоприятных условиях всю эту работу можно было бы проделать всего за три — четыре месяца, а она тянется уже около двух лет.

Полученные из машины результаты будут преобразованы в таблицы, макеты которых вчерне составлены. Одна из серий таблиц покажет распространение многоязычия в различных группах каждого народа по полу, возрасту, образованию и роду занятий, а также роль школы в сло-

жении многоязычия. В другой серии таблиц будет показано место различных языков в семейном общении с детьми и взрослыми, в общении на работе и в прочих случаях с разбивкой участников общения на перечисленные выше группы с добавлением территориальных подразделений, групп по типам семьи (однородные и смешанные по национальному составу), по родному языку и по языку обучения в школе. В таком же порядке и с теми же группировками населения будут представлены ответы на вопросы о том, на каком языке понятнее читать печатный текст, легче усваивать устную речь, воспринимать произведения речевого искусства, удобнее выступать на собраниях, вести переписку, каковы пожелания в отношении языка общения в детьми в дошкольных учреждениях, языка обучения в школе и относительно преподавания родного языка как предмета. Таковы в очень кратком изложении те чисто лингвистические задачи, которые могут быть поставлены перед обработкой анкетного материала. Особые серии таблиц будут содержать данные для выяснения ряда вопросов демографического и этнографического характера.

Свод таблиц, заключающий в себе весьма внушительный объем массовой и объективной информации, как можно думать, послужит надежной базой для многочисленных и самых разнообразных теоретических исследований и практических рекомендаций в интересующей нас области.

Самый факт проведения социолого-лингвистического обследования, когда еще не были известны даже предварительные его итоги, уже сыграл известную роль в текущей языковой политике, касающейся ряда малых народов Крайнего Севера нашей страны. За последние годы, к сожалению, родные языки некоторых малых народов мало применялись или почти вовсе перестали применяться в школьном обучении, политико-воспитательной и культурно-просветительной работе. Несомненный и бесспорно положительный факт широкого распространения русского языка как средства межнационального общения и овладения высшими достижениями социалистической и мировой культуры некоторыми практическими и научными работниками был односторонне расценен как признак отмирания национальных языков малых народов. Поводом к тому была недостаточно достоверная информация о фактическом состоянии дела. Ход нашего обследования дал возможность руководящим работникам ряда национальных округов Сибири взглянуть на языковую ситуацию иными глазами. По их инициативе правительственные органы РСФСР решили вопрос о расширении функций родных языков в жизни народов Севера, в частности, о возрождении преподавания родных языков как предметов в школах эвенков, эвенов, чукчей, ненцев, ханты и манси. В связи с этим был проявлен интерес к результатам нашего обследования. Срочно был вручную произведен обсчет по небольшому числу народов и вопросов анкеты. Ниже приводятся предварительные результаты этого подсчета.

По северо-западной зоне Сибири обработаны два вопроса (пожелания о языке обучения в школе и о преподавании родного языка как предмета) по восьми народам (сибирские ненцы, нганасаны, селькупы, ханты, манси, кеты, западные эвенки, долганы). Следует иметь в виду, что у сибирских ненцев, у большинства территориальных групп ханты, у долган, селькупов, кетов и нганасанов родной язык по разным причинам никогда не использовался ни как язык преподавания, ни как предмет изучения. Только эвенки, манси и часть ханты имеют возможность сравнивать преподавание на родном языке с преподаванием без него. Результаты опроса в процентах видны из табл. 1.

Прежде всего обращает на себя внимание то, что значительная часть информантов воздержалась от ответа на вопросы, ссылаясь на свою

Таблица 1

Наименование народа	Родной язык как язык обучения			Родной язык как предмет		
	за	против	нет ответа	за	против	нет ответа
ханты	28,0	52,0	20,0	50,5	29,0	20,5
манси	22,0	54,0	24,0	34,5	37,5	28,0
ненцы	16,0	49,5	34,5	32,5	31,0	36,5
долганы	49,0	47,0	4,0	87,5	9,5	3,0
эвенки	46,0	39,0	15,0	77,0	6,0	17,0
селькупы	18,5	65,0	16,5	33,0	40,0	27,0
кеты	39,5	58,0	2,5	55,0	25,0	20,0
нганасаны	12,5	66,5	21,0	59,0	15,0	25,5

неосведомленность. Часто приходилось слышать такую фразу: «Вы люди ученые, вам виднее. Если вы не знаете, как лучше, то откуда же нам-то знать!» Меньше колебаний проявили долганы, эвенки, кеты и больше всего их у ненцев, манси и нганасанов. В пользу родного языка как средства обучения высказалась бóльшая часть давших ответы эвенков и долган и значительно меньшая часть ненцев, селькупов и нганасанов. У остальных народов высказалась определенно «против» примерно половина опрошенных. Несколько иначе обстоит дело с ответами на второй вопрос. Здесь процент колеблющихся еще выше. Больше всего их у ненцев, манси и селькупов и меньше всего у долган и эвенков. Число информантов, давших отрицательный ответ, ни у одного народа не превышает 40%, тогда как количество ответивших положительно у пяти народов из восьми (долганы, эвенки, нганасаны, кеты и ханты) превышает половину; меньше половины составляют они только у тех народов, которые дают наибольший процент колеблющихся. Иначе говоря, если за родной язык как средство обучения высказалась меньшая часть опрошенных, то за родной язык как предмет преподавания высказалось значительное большинство.

По дальневосточной зоне обработаны ответы на четыре вопроса, данные чукчами, эскимосами, нанайцами и народами Сахалина (нивхами, ороками и эвенками). Вопросы такие: 1) на каком языке (языках) Вы обычно говорите в семье с детьми-дошкольниками; 2) на каком языке, по Вашему мнению, лучше обучать детей на первом году обучения; 3) считаете ли Вы нужным, чтобы учащиеся изучали родной язык как предмет в школе; 4) то же в средних специальных учебных заведениях.

В чукотских семьях с детьми говорит только на родном языке 46% опрошенных, на родном и русском — 32%, только на русском — 22%. Иначе говоря, родной язык, один или в сочетании с русским, используют для этой цели 78% давших ответ, а русский, тоже один или в сочетании с родным,— 54%. У эскимосов, хотя они и живут вперемежку с чукчами, картина совершенно иная. Здесь говорят с детьми на родном языке только 19%, на родном и русском — 22%, только на русском — 59%; таким образом, 41% использует родной язык, а русский — 81%. У народов Сахалина при общении с детьми, как и у эскимосов, господствует русский язык. Родной язык используют лишь 24%, тогда как русский — 76%. У нанайцев говорят с детьми только на родном языке 47%, на родном и русском — 28% и только на русском — 25%, т. е. используют родной язык 75% (среди нанайцев, проживающих в Нанайском районе, где сосредоточено около половины их общего числа, — 84%), используют русский язык 53% (в Нанайском районе —47%). Выделение нанайцев, проживающих в Нанайском районе, из их общей массы имеет целью показать влияние на

ответы многолетнего использования в этом районе родного языка в школе и в других видах просветительной работы. В прочих районах расселения той же народности родной язык функционировал лишь в сфере семейно-бытового общения [3].

Приведенные данные говорят о том, что почти в половине чукотских и нанайских семей в общении с детьми русский язык вовсе не применяется. Естественно, что у детей, когда они приходят в школу, чаще всего отсутствуют достаточные навыки в пользовании русским языком. Иное положение в семьях эскимосов и народов Сахалина. Здесь почти все говорят с детьми на русском языке. Поэтому, приходя в школу, дети, как правило, владеют русским языком, хотя, по отзывам местных учителей, далеко не в той мере, как их русские сверстники.

Охарактеризованная ситуация отразилась на пожеланиях информантов в отношении языка обучения в школе. За использование родного языка высказался 71% чукчей, 63% эскимосов, 42% нанайцев (в Нанайском районе — 53%) и лишь 5% у народов Сахалина. За преподавание же родного языка как предмета в школе высказалось 95% чукчей, 97% эскимосов, 73% нанайцев (в Нанайском районе — 77%) и даже на Сахалине за это высказалось 69% опрошенных. Преподавание родного языка в средних специальных учебных заведениях считает целесообразным 80% чукчей, 89% эскимосов, 54% нанайцев (в Нанайском районе — 65%) и 58% на Сахалине.

Можно привести некоторые данные о пожеланиях в отношении языка начального обучения также и по более крупным народам Сибири. Среди алтайцев, например, 60% считают предпочтительным начинать обучение в школе на родном языке, 25% — на родном и русском, 15% — только на русском. Из тувинцев 84% высказались за родной язык, 12% — за сочетание родного и русского языков и 4% — за преподавание только на русском языке.

Результаты обследования, несмотря на их еще предварительный и отрывочный характер, убедительно свидетельствуют о том, что русский язык завоевывает в жизни народов Севера, как и других народов Сибири, все более прочные позиции, но, вместе с тем, родные языки у подавляющего большинства коренного населения продолжают сохранять свою важную роль в различных сферах общественной жизни.

Полученные нами данные неопровержимо доказывают беспочвенность встречающихся в лингвистической литературе утверждений о том, что малые народы будто бы охотно отказываются от своих национальных языков и своей письменности. Бесспорная истина состоит в том, что все эти народы сознательно стремятся к овладению русским языком, чтобы иметь возможность общаться с представителями любого другого народа нашей страны, получить специальное образование, повысить уровень своей культуры. Но тем не менее они вовсе не хотят, чтобы их родные языки бесследно исчезали. Об этом убедительнее всего свидетельствует то, что более половины информантов среди перечисленных выше народов высказывается за родной язык как средство обучения и более четырех пятых — за него же как предмет школьного преподавания.

Весьма показателен почти стереотипный ответ информантов на вопрос относительно мотивов их пожелания о преподавании родного языка. Почти все, кому такой вопрос задавался анкетерами, говорили, что они не хотят, чтобы их дети забывали язык своих предков. Красноречивы так-

[3] Интересно отметить, что значительная часть нанайской интеллигенции — выходцы из Нанайского района. Среди наших информантов-нанайцев 1,2% имеет высшее или незаконченное высшее образование. Три четверти из них до поступления в вуз училось в школах Нанайского района.

же ответы на «открытые» вопросы анкеты. В них многие высказывают пожелания относительно более широкого использования родного языка в местной прессе, в радиопередачах, в художественной самодеятельности, говорят о желательности издания на родном языке книг, как для детей, так и для взрослых, в первую очередь произведений местных авторов и фольклора. Только среди нанайцев такие пожелания были высказаны более чем в трехстах семьях.

Обследование близко к завершению. Его результаты послужат достаточной базой для синхронного описания языковой и этнической ситуации у народов Сибири, характерной для момента исследования. Если их сопоставить с материалами переписей населения и текущей статистики, то можно будет в известной степени судить и о динамике соответствующих процессов. Но эти сопоставления неизбежно будут иметь отрывочный и случайный характер ввиду различия программ, положенных в основу сбора информации. Для подлинно научного исследования динамической стороны дела необходимо периодическое повторение социолого-лингвистических обследований на тех же территориях, у тех же народов и по одной и той же анкете. По-видимому, их целесообразно повторять через каждые 5—6 лет. Только тогда можно будет уверенно и обоснованно судить о направлениях и динамике интересующих нас процессов.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1970

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ

ПОЧЕМУ ТРУДНО РАЗРЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВЕРХНИХ СЛОЕВ СЕВЕРНОРУССКОЙ ГИДРОНИМИИ?

Широко распространенное мнение об угро-финском происхождении севернорусской и значительной части среднерусской гидронимии было в свое время подготовлено работами известных финно-угристов, в числе которых следует упомянуть М. Кастрена, Я. Калима, И. Миккола и А. Алквиста [1]; в особенности много сделал в этом отношении М. Фасмер [2], хотя его концепция не всегда была последовательна.

Было бы совершенно бессмысленно отрицать эту гипотезу в целом хотя бы по той причине, что на севере Европейской части СССР (далее — Север) и в районах, расположенных южнее, в настоящее время проживают народы, финно-угорское происхождение которых не может вызвать никаких сомнений. Речь идет о саамах, карелах, вепсах, коми, мордве и марийцах. Имеются убедительные данные о том, что территории расселения этих народов в древности были более обширными. Изучение топонимии и гидронимии на территориях с финно-угорским населением, а также топонимических следов их пребывания на других территориях, составляет особую задачу в области изучения севернорусской и среднерусской гидронимии.

Если выражаться точнее, то следовало бы назвать теорию финно-угорского происхождения среднерусской и севернорусской гидронимии западнофинской теорией. А. И. Шёгрен, Я. Калима, М. Кастрен, А. Алквист, М. П. Веске и их последователи представляли древнюю территорию северной и средней полосы Европейской части СССР как ареал преимущественного распространения народов западнофинского происхождения. Лишь очень немногие, например М. Фасмер, привлекали данные языков волжской группы. Той же точки зрения, в основном, придерживаются и их современные последователи. Обнаруживается явная тенденция применить западнофинскую теорию к объяснению почти всех слоев севернорусской и среднерусской гидронимии и топонимии. В настоящей статье мы стремимся показать, насколько правомерно применение западнофинской теории и вообще финно-угорской теории в ее широком понимании к объяснению происхождения более глубоко лежащих слоев севернорусской и среднерусской гидронимии, особо акцентируя те большие трудности, которые возникают при их изучении.

---

[1] M. A. Castrén, Nördische Reisen und Forschungen, V — Kleinere Schriften, St.-Pb., 1862, стр. 86—108; J. Kalima, Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen, MSFOu, 44, 1919; J. Mikkola, Finnisch-slavische Beziehungen, «Finnisch-ugrische Forschungen», 1, 1902; стр. 76; A. Alquist, Kalevalan Karjalaisuus, Helsingfors, 1887.

[2] M. Vasmer, Die alten Bevölkerungsverhältnisse Russlands im Lichte der Sprachforschung, Berlin, 1941 («Vorträge und Schriften [der Preussischen Akademie der Wissenschaften]», 5); его же, Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas, IV, «Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften» (далее SPAW), Philosoph.—hist. Kl., XVI—XX, 1936.

Основная трудность состоит в том, что севернорусская и среднерусская гидронимия многослойна. В этом легко можно убедиться чисто эмпирически. Возьмем такие названия, как *Суоярви*, *Питкяярви*, *Руогоярви*, *Янисъёки*, *Бадь-ю*, *Видзь-ю*, *Лем-ю*, *Ниа-ю*, *Ком-ю*, *Музенгер*, *Лавраенгер*, *Инелей*, *Леплей*. Каждый карел, коми, мариец и мордвин легко опознает в этом списке гидронимию, принадлежащую его языку, и объяснит без особого труда, что эти названия обозначают. Но попробуйте их спросить, что означают такие названия, как *Нара*, *Шара*, *Имза*, *Кача*, *Киса*, *Кокша* или *Ваеньга*, *Коченьга*, *Пурсанга*, *Пертома*, *Яхрома* и т. д. Ответ будет отрицательным. Отсюда можно сделать только один вывод — лексика верхних гидронимических слоев неизвестна. Сторонники финской теории утверждают, что они обладают большими преимуществами, располагая обширными архивными материалами, содержащими разночтения и разные формы гидронимов. Однако архивные материалы не в состоянии раскрыть значения гидронимов. Остается один путь — этимологизирование по внешнему сходству. Этот путь открывает самые широкие возможности для различных и иногда совершенно противоречивых толкований. Так, например, первый составной элемент гидронима *Яреньга яр-*, остающийся за вычетом закономерно повторяющегося в других гидронимах суффикса *-еньга*, например, *Ел-еньга*, *Коч-еньга*, *Лед-еньга*, *Мард-еньга* и т. п., сопоставляется с саам. *jaw're* и фин. *järvi* «озеро»[3]. Однако при учете диалектного коми-зырянского названия этой реки *Еринь* (<*jeriŋ*) он может быть сопоставлен с манс. *jēr* «край», коми-зырян. *йир* «омут», «глубокое место», ненец. *ёря* «глубокий» (ср. хант. *jēɳəг* «волк») и т. д. Совершенно неясно, связан ли первый составной элемент гидронима *Томинга* с фин. *tuomi* «черемуха» (ИЭР, стр. 115) или с гидронимом *Тома*. Первый составной элемент гидронима *Ухт-ым*, *ухт* связывается то с мордовск. *овто* «медведь» (из *oγto*)[4], то с эвенкийск. *окта* «тальник; полярная ива» (ИЭР, стр. 125). Он может быть сопоставлен с хант. *ухтə* «верхняя сторона» (предположительно: «яр; высокий берег», ср. хант. *аwət* «мыс; крутой берег», из первоначального *эγət*)[5]. Все это лишний раз показывает чрезвычайную шаткость различных этимологий, которыми часто пользуются сторонники западнофинской теории.

Нет ничего удивительного в том, что гидронимия северной и средней полосы Европейской части СССР многослойна. При изучении проблемы происхождения верхних слоев севернорусской гидронимики необходимо всегда иметь в виду, что территория Севера во все исторические эпохи не была абсолютно замкнутой территорией. Приток населения мог идти с запада, юга и востока. Территория Скандинавии и Финляндии, по-видимому, в древности была очень слабо заселена; кроме того, ее полуостровное положение не способствовало сколько-нибудь значительной миграции населения. Основной путь проникновения древнего населения на Север шел из Средней Руси. Южнорусские степи всегда служили ареной передвижения значительных масс населения, которые время от времени теснили население средней части России, заставляя его частично или полностью продвигаться к Северу. Так называемое «давление степи» было всегда постоянно действующим фактором. Не исключена была также возможность проникновения на территорию России населения из Западной Сибири.

---

[3] А. К. Матвеев, Историко-этимологические разыскания, «Уч. зап. [Уральского гос. ун-та]», 36 — Языкознание, 1960 (далее в тексте — ИЭР), стр. 115.

[4] А. К. Матвеев, Происхождение основных пластов субстратной топонимики русского Севера, ВЯ, 1969, 5, стр. 51 (далее ссылки на эту статью приводятся в тексте указанием стр.).

[5] W. Steinitz, Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache, I, 1966, стр. 50.

Бродячие лесные племена в поисках удобных мест для рыбной ловли и охоты могли постоянно переходить Уральский хребет и распространяться по территории Севера и областей, лежащих южнее; такому передвижению в немалой мере способствовали текущие на запад и юго-запад реки: Вычегда открывала путь в бассейн Северной Двины, а Кама была путем на Волгу.

Высказанное выше предположение вполне подтверждается гидронимическими данными. О движении древнего населения из средней Руси и с верхней Волги на Север свидетельствуют гидронимические повторы (с ударением на первом слоге), ср., например, названия рек: *Анда* в Горьковской области и *Анда* в бассейне Онеги; *Воя* в бассейне Вятки и *Воя* — река, впадающая в Онежскую губу; *Вичуга* в бассейне Волги и *Вичуга* в бассейне Онеги; *Икша* — река в Московской области и *Икша* — приток Верхнего Выга (Карелия); *Коза* — река в Ярославской области и *Коза* — приток Вашки; *Корба* в бассейне Волги и *Корба* — река, впадающая в Мезенский залив; *Коша* в бассейне Волги и *Коша* в бассейне Онеги; *Куланга* — приток Свияги и *Куланга* — река, впадающая в Белое море; *Конда* — приток Шексны и *Конда* — приток Нижнего Выга; *Кудьма* в бассейне Волги и *Кудьма* в бассейне Белого озера; *Кума* в бассейне Ветлуги и *Кума* — приток Кеми; *Куча* в бассейне Волги и *Куча* — приток Ижмы (бассейн Печоры); *Луза* — приток Юга (бассейн Сухоны) и *Луза* в бассейне Печоры; *Мягра* в Ярославской области и *Мегра* — река, впадающая в Белое море; *Моша* в Рязанской области и *Моша* (бассейн Онеги); *Носа* в бассейне Шексны и *Носа* в бассейне Мезени; *Она* в бассейне Вятки и *Она* в бассейне Мезени; *Пеза* в бассейне Волги и *Пеза* в бассейне Мезени; *Печенга* в бассейне Костромы и *Печенга* в бассейне Сухоны; *Пидьма* — приток Шексны и *Пидьма* — приток Свири; *Пижма* в бассейне Вятки и *Пижма* в бассейне Мезени; *Сула* — приток Казанки (бассейн Волги) и *Сула* в бассейне Печоры; *Тойма* в бассейне Вятки и *Тойма* в бассейне Сев. Двины; *Уда* в бассейне Оки и *Уда* — приток Нижнего Выга; *Ула* в бассейне Оки и *Ула* — приток Лузы (бассейн Юга); *Унга* в бассейне Камы и *Унга* в бассейне Нижнего Выга; *Унжа* — приток Оки и *Унжа* в бассейне Вятки; *Ура* в бассейне Волги и *Ура* — река, впадающая в Белое море; *Урдома* в бассейне Волги и *Урдома* — населенный пункт на Нижней Вычегде; *Шуя* в бассейне Волги и *Шуя* в бассейне Онежского озера; *Шача* в бассейне Костромы и *Шача* — приток Уфтюги, впадающей в Северную Двину.

Связи древнего населения Средней России и Севера подтверждаются также одинаковостью структурного типа гидронимов на их территориях. Мы не раз указывали на то, что некоторые гидронимы на Севере и в Средней России имеют одинаковые концовки, которые, возможно, были суффиксами и несли на себе определенную семантическую нагрузку [6]. В гидронимах Севера выделяются суффиксы: *-ма*, *-га*, *-ша* (*-жа*), *-са* (*-за*), *-та* (*-да*), *-ра*. Подобные же речные суффиксы встречаются и в гидронимах более южных областей — Кировской, Горьковской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Рязанской. Характерны также гидронимы с окончанием *-ома* в Средней России и на Севере, ср. *Яхрома* (Моск. обл.), *Подома* (басс. Вычегды), *Ведома* (Моск. обл.) и *Урдома* (басс. Вычегды), *Кострома* (басс. Волги) и *Елома* (басс. Онеги), *Андома* (приток Костромы) и *Пучкома* (басс. Мизени), *Пастома* (басс. Волги) и *Лахома* (басс. Сев. Двины), *Ухтома* (басс. Волги) и *Няндома* (басс. Онеги), *Пертома* (басс. Волги) и *Полтома* (басс. Пинеги).

---

[6] См. наши статьи: «Волго-окская топонимика на территории Европейской части СССР» (ВЯ, 1955, 6) и «К проблеме этнической и языковой принадлежности создателей гидронимики на *-ым* (*-им*)» («Nyelvtudományi közlemények», LXX, 1, 1963).

Топонимические данные не расходятся с данными археологии. В свое время была высказана мысль о возможности заселения Карелии из районов Волго-Окского междуречья; при этом отмечалось, что «на древнейших стоянках Карелии мы встречаем керамику, наиболее близкую по типу к древней среднерусской керамике» [7]. К выводам о связи древнего населения Севера с населением Волго-Окской области пришла археолог М. Е. Фосс; она утверждает, что «Север заселялся из разных областей, чем и объясняется сходство, наблюдаемое в стиле орнаментики в восточной его части — с Западной Сибирью, в средней — с волго-окской областью и т. д.» [8].

Некоторые современные топонимисты и этимологи очень неодобрительно отзываются о так называемой угорской гипотезе Д. П. Европеуса, пытавшегося в свое время объяснить некоторые названия рек с помощью обско-угорских языков [9]. Конечно, нельзя отрицать, что Д. Европеус допускал преувеличения и располагал очень незначительным фактическим материалом, однако это не основание для вывода об отсутствии связей между гидронимией Севера и Западной Сибири.

Прежде всего следует иметь в виду, что в древности на северо-востоке России существовал довольно значительный ареал гидронимов с характерными окончаниями *-ым*, *-им*, *-ум*, простиравшийся, примерно, от нижнего течения Печоры до бассейна Суры, например, *Лозым*, *Локчим*, *Нювчим*, *Уктым*, *Колчим*, *Молым* и т. д. Этот ареал хорошо прослеживается на территории Коми АССР и на прилегающих к ней территориях, а также в Кировской, Марийской и Пермской областях, на территории Удмуртской и Башкирской республик, в Верхнем и Среднем течении Камы и Приуралье. За Уралом он распространяется почти по всему течению Оби. Некоторые гидронимы этого типа есть в бассейне Енисея и Лены. Принадлежит этот слой, по-видимому, сородичам обских угров, проникшим в древние времена из Западной Сибири в Европейскую часть СССР [10]. Об этом передвижении свидетельствуют гидронимические и топонимические повторы. Ср. названия рек: *Тугулым* (Тюменск. область) и *Туглим* (Нижняя Вычегда); *Пелым* (басс. Оби) и *Пелым* (басс. Камы); *Салым* (басс. Оби) и *Салым* (басс. Камы); *Алым* — приток Иртыша и *Алым* (басс. Камы); *Ишим* — приток Иртыша и *Ишим* (басс. Суры); *Курчум* — приток Иртыша и *Курчум* (басс. Вятки); *Висим* — приток Сосьвы и *Висим* (басс. Камы); *Мулымья* (басс. Оби) и *Молым* (басс. Камы); *Мозым* — приток Оби и *Мозым* — старое название реки Мезени; *Лусум* — мансийское название Лозьвы (басс. Оби) и *Лозым* — приток Сысолы; *Челым* (басс. Оби), *Чилим* (басс. Суры), *Чилим* — коми-зырянское название реки Цильмы (басс. Печоры); *Кольчум* (басс. Енисея) и *Колчим* (басс. Камы) и т. д.

Кроме того, можно установить коррелятивные пары гидронимов, явно показывающих сходство первых составных частей названий рек Северной и Средней России и гидронимов с характерными концовками *-ым*, *-им*, *-ум*. Приведем список наиболее характерных совпадений: *Авд-юга — Овд-ым*; *Акч-юг — Акч-им*; *Ард-еньга — Ард-ым*; *Ар-еньга — Ар-им*; *Ач-юг — Ач-им*; *Вид-юга — Вит-им*; *Виз-еньга — Виз-им*; *Вол-юга — Вол-им*; *Вонд-онга — Вонт-ым*; *Вохт-онга*, *Вохт-юга — Вухт-ым*; *Из-юга — Из-юм*; *Инд-онга — Инт-ым*; *Иш-енга — Иш-им*; *Куд-анга*, *Куд-юг — Кут-им*; *Куз-еньга —*

[7] А. Я. Брюсов, История древней Карелии, М., 1940, стр. 32; ср. стр. 33.

[8] М. Е. Фосс, Древнейшая история Севера Европейской части СССР, М., 1952, стр. 39.

[9] Д. Европеус, К вопросу о народах, обитавших в Средней и Северной России до прибытия славян, ЖМНП, ч. CXXXIX — июль, 1868.

[10] См.: Г. М. Буров, Б. А. Серебренников, Некоторые вопросы этногенеза коми в свете археологических и лингвистических данных, AL, Budapest, 17, 3—4, 1967.

Куз-им; *Курч-еньга — Курч-им*, *Кар-юг — Кар-ым*, *Кас-юга — Кас-ым*, *Кач-ега — Кач-им*, *Кест-еньга — Кест-ым*, *Кич-уг — Кич-им*, *Кольч-уг — Колч-им*, *Кост-юга — Кост-юг*, *Коч-еньга — Коч-ум*, *Мол-онга — Мол-ым*, *Мурд-юг — Мурт-ым*, *Нювч-еньга — Нювч-им*, *Пер-еньга — Пер-ым*, *Пыч-юг — Пыч-им*, *Сал-анга — Сал-ым*, *Сез-енга —Соз-им*, *Сорь-юга — Сор-ум*, *Торд-еньга — Торт-ым*, *Ухт-юга — Ухт-ым*, *Цил-еньга — Чил-им*, *Чер-еньга — Чир-юг*.

На территории Европейской части СССР имеются гидронимы с аффиксами *-егда*, *-огда*, *-охта*, *-ехта*, например, *Вычегда*, *Рочегда*, *Печегда*, *Вологда*, *Изохта*, *Серохта*, *Инзохта*, *Нерохта*, *Нендохта*, *Нерехта*, *Паехта*, *Порехта* и т. д. Эти форманты могут быть сопоставлены с мансийским словом *ахт* «протока», ср. название реки *Вычегда*, которое можно сопоставить с манс. *ванши* «трава» [11] и *ахт* «протока». Коми-зырянское название этой реки *Эжва* является буквальным переводом.

Обращают также на себя внимание гидронимы с суффиксом *-ыш*, *-иш*. Основной район их концентрации — бассейн Камы, ср. такие названия, как *Падыш*, *Кондиш*, *Курдыш*, *Кучмыш*, *Ландыш*, *Водыш* и т. д. Названия этого типа спорадически встречаются и за пределами бассейна Камы, ср. *Вандыш* (Вычегда), *Юмыш* (Сев. Двина), *Сахтыш*, *Мордыш* (Нерль), *Шонтыш* (Сухона), *Ухтыш* (Волга) и т. д. Омонимичный суффикс встречается также в названиях некоторых рек Западной Сибири, например, *Иртыш*, *Чарыш*, *Тумыш*, *Нарыш*, *Чумыш* и т. д. Формант *-ыш*, *-иш* можно связать с хант. *jəši* «ручей».

В свое время А. И. Соболевский отмечал, что «пространная Западная Сибирь по названиям своих рек, озер, гор, несомненно, связана с Россией» [12]. Приведенные нами факты, подтверждая это мнение, не расходятся с данными археологии. По предположению современных археологов, первичное заселение Севера Европейской части СССР происходило с Южного Урала и Приуралья. Эта гипотеза подтверждается не только сходством в типах вещей древнейших и более поздних стоянок от Прибалтики до Урала, но и сходством антропологического типа древнего населения Севера с современным южноуральским. Время этого первичного заселения Севера А. Я. Брюсов датирует VII—VI тысячелетием до н. э. [13].

Позднее этническая карта Севера, по-видимому, изменилась в связи с проникновением населения из Средней России. «Резкое различие в орнаментальных традициях племен Приуралья и волго-окского бассейна указывает на этническое различие населения в конце III — начало II тысячелетия до н. э.» [14]. Археолог Г. М. Буров, исследуя памятники так называемой ванвиздинской культуры, распространенной в Вычегодском крае, Южном Припечорье и северо-восточной части Верхнего Прикамья, пришел к выводу, что эти памятники принадлежат к кругу западносибирского типа [15].

Интересно в этой связи привести вывод, который сделал в результате своих археологических изысканий А. П. Окладников: «Монголоидные черты в облике населения Прибалтики могли появиться так далеко на

---

[11] С хант. *vanǯi* «трава» и манс. *vansiḫ* «поросший травой» впервые сопоставил это название Ю. Вихман (Y. W i c h m a n n, Etymologisches aus den permischen Sprachen, «Finno-ugrische Forschungen», III, 3, 1903, стр. 103).

[12] А. С о б о л е в с к и й, Названия рек и озер русского Севера, ИОРЯС АН СССР, XXXII, 1927, стр. 38.

[13] А. Я. Б р ю с о в, Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху, М., 1952, стр. 39.

[14] М. Е. Ф о с с, указ. соч., стр. 173.

[15] Г. М. Б у р о в, Вычегодский край. Очерки древней истории, М., 1965, стр. 138, 182—185.

западе в Прибалтике только в результате распространения монголоидных в антропологическом отношении племен с востока, из Западной Сибири» [16].

Существует еще одна проблема, которая сторонниками финской теории обычно не принимается во внимание. Мы имеем в виду возможную связь гидронимии северной и средней полосы Европейской части СССР с гидронимией более отдаленных районов Сибири [17].

Можно привести звуковые совпадения — полные и неполные — некоторых гидронимов северной и средней полосы Европейской части СССР, с одной стороны, и Сибири, с другой. Ср.: *Илим* — приток Ангары и *Илим* — приток Чусовой; *Кольчум* (басс. Енисея) и *Колчим* (басс. Камы); *Витим* — приток Лены и *Витюм* (река в бассейне Верхней Волги); *Большой* и *Малый Урюм* — притоки Шилки (басс. Амура) и *Урюм* — приток Верхней Волги; *Ухтум* (басс. Ангары) и *Ухтым* (басс. Камы); *Чуга* — приток Алдана и *Чуга* — приток Пинеги; *Оса* — приток Ангары и *Оса* — приток Вашки (басс. Мезени); *Кемчук* — приток Чулыма (басс. Оби) и *Камчуг* — приток Лименды (басс. Вычегды); *Куренга* — приток Алдана и *Куренга* (басс. Ваги); *Коченьга* — приток Илима (басс. Ангары) и *Коченьга* — приток Сухоны; *Ненюга* — приток р. Тунгира, впадающего в Олекму, и *Ненюга* — приток р. Юга (басс. Северной Двины); *Куленга* — приток Лены и *Коленьга* — приток Сухоны; *Качуг* — приток Лены и *Кочуга* (басс. Ветлуги); *Тулома* — приток р. Улу-юл, впадающей в Чулым (басс. Оби), и *Тулома* — река на Кольском полуострове; *Кокша* — приток р. Катуни (басс. Оби) и *Кокша* — приток Верхней Волги; *Пеза* — приток р. Кын (Алтай) и *Пеза* — приток Мезени; *Сума* — приток Чулыма (басс. Оби) и *Сума* (впадает в Онежскую губу); *Ура* — приток Лены и *Ура* — приток Юлы (басс. Пинеги); *Акша* (басс. Амура) и *Акша* (басс. Волги) и т. д.

Предполагаемые связи севернорусской гидронимии с сибирской также не расходятся с данными археологии. Как утверждает А. П. Окладников, «изучение неолитических памятников Нижненленского края приводит нас к выводу о значительном совпадении между культурой местных племен и культурой древнего населения Карелии или вообще севера Западной Европы...» [18].

Современное состояние археологических исследований Севера и Сибири диктует необходимость изучения севернорусской гидронимии во всем многообразии ее возможных связей, и нам непонятно упорство значительной группы топонимистов и этимологов, усматривающих в абсолютизации финской теории единственно правильный и научный путь решения проблемы ее происхождения.

Другим, не менее серьезным затруднением является наличие на территории северной и средней полосы Европейской части СССР двуслойных гидронимов, первые составные части которых могут употребляться в качестве самостоятельных гидронимов. Приведем наиболее характерные пары гидронимов этого типа:

Авда — Авдюга; Авжа — Авженьга; Анда — Анданга, Андома; Арда — Ардинга; Ача — Ачюг; Аша — Ашанга; Бохта — Бохтюга; Вад — Вадуга; Вала — Валюга; Вара — Вареньга; Варза — Варзеньга, Варзуга; Вая — Ваеньга; Векша — Векшеньга; Веня — Венюга; Верда — Верденьга; Вича — Вичуга; Водла — Водлома; Вожа — Вожуга, Важуга; Воза — Возюг,

[16] А. П. Окладников, Якутия до присоединения к Русскому государству, М.—Л., 1955, стр. 131, 133.

[17] Сходство гидронимии Сибири с гидронимией Севера Европейской части СССР уже отмечалось в специальной литературе: В. Б. Шостакович, Историко-географическое значение названий рек Сибири, сб. «Очерки по землеведению Восточной Сибири», 2, Иркутск, 1926; А. В. Попов, К вопросу о хореографии и палеэтнографии Иркутской губернии, там же.

[18] А. П. Окладников, указ. соч., стр. 131.

Вазюг; *Войма — Войманга*; *Волма — Волманга*; *Вонжа — Вонжуга*; *Вохта — Вохтюга*; *Воча — Вочюг*; *Еда — Еденьга*; *Ежа — Ежуга*; *Ела — Еленьга*; *Ема — Еменьга*; *Ерза — Ерзеньга*; *Икса — Иксома*; *Имза — Имзюг*; *Иста — Истома*; *Иша — Ишеньга*; *Карма — Карманга*; *Кача — Качуга*; *Керза — Керзеньга*; *Керша — Кершеньга*; *Кестра — Кестрома*; *Киржа — Кирженьга*; *Киса — Кисома*, *Кисуга*; *Киста — Кистега*; *Кича — Кичуга*; *Кичма — Кичменьга*; *Кия — Киенга*; *Кода — Кодима*; *Кокша — Кокшеньга*; *Кола — Коленьга*; *Колда — Колдюга*; *Конда — Кондюга*, *Кондома*; *Корба — Корбанга*; *Корма — Корманьга*; *Коса — Косенга*; *Коча — Кочуга*; *Кочка — Кочкома*; *Куза — Кузенга*; *Лада — Ладонга*; *Лама — Ламеньга*; *Лапша — Лапшанга*; *Лача — Лачуг*; *Ледь — Леденга*; *Лежа — Леженьга*; *Лема — Леменьга*; *Луда — Лудонга*; *Лукша — Лукшанга*; *Лупта — Луптюг*; *Лухта — Лухтонга*; *Лында — Лындога*; *Майма — Майменьга*; *Мата — Матюг*; *Мегра — Мегрега*; *Мера — Мерянга*; *Мича — Мичюг*; *Мола — Молома*, *Молонга*; *Мота — Мотома*; *Моша — Мошьюга*; *Мурда — Мурдюг*; *Нада — Надога*; *Нела — Неленьга*; *Нюза — Нюзома*; *Нурма — Нурменьга*; *Нырса — Нырзанга*; *Нюма — Нюменьга*; *Нянда — Няндома*; *Она — Онега*; *Онда — Ундуга*; *Оса — Осуга*; *Охта — Охтома*, *Охтонга*; *Оша — Ошуга*; *Пала — Паленьга*; *Пана — Панюга*; *Пара — Параньга*, *Паркг*; *Парша — Паршеньга*; *Пежа — Пеженьга*; *Пеза — Пезега*; *Пержа — Перженьга*; *Петь — Петенга*; *Печа — Печеньга*; *Пина — Пинега*, *Пинюг*; *Перт — Пертома*; *Пока — Пукома*; *Порма — Порманга*; *Порса — Пурсанга*; *Поча — Поченьга*; *Пукша — Пукшеньга*; *Пула — Пулонга*; *Пучка — Пучкома*; *Пуша — Пушеньга*; *Рада — Радуга*, *Рама — Раменьга*; *Ревда — Ревдуга*; *Сельма — Сельменга*; *Сия — Сиянга*; *Совда — Совдюга*; *Соча — Сучуг*; *Сула — Сулонга*; *Сямжа — Сямженьга*; *Телза — Талзанга*; *Тома — Томинга*; *Тула — Тулома*; *Угра — Угреньга*; *Ульма — Ульманга*; *Унжа — Унженьга*; *Ура — Уронга*; *Урда — Урдюга*; *Ухта — Ухтюга*; *Чела — Челюга*; *Челма — Челмохта*; *Чеша — Чешуга*; *Чура — Чурьега*; *Шаба — Шабаньга*; *Шала — Шалюга*; *Шара — Шаранга*; *Шарда — Шарденьга*; *Шера — Шереньга*; *Шича — Шиченьга*; *Шукша — Шукшеньга*; *Юма — Юменьга*; *Юра — Юронга*; *Якша — Якшанга*; *Яра — Яреньга*; *Яхра — Яхрома*, *Яхреньга*.

Все перечисленные гидронимы действительно отмечены на картах и в специальных исследованиях по русской гидронимии [19].

Принадлежат ли эти двусложные гидронимы типа *Лама*, *Якша* и т. п. к финно-угорским языкам? Сторонники финской теории доказывают эту принадлежность довольно просто — путем сравнения по созвучию с каким-нибудь словом современных финно-угорских языков. На этом основании названия реки *Корба* будет обозначать просто «дремучий лес» (ср. фин. *korppi*, карельск.-ливвик. *korbi*, вепс. *kor'b* «глухой дремучий лес»), *Шукша* есть не что иное, как «червяк» (ср. марийск. *шукш* «червяк») (стр. 48). По мнению А. Соважо, гидроним *Мягра* означает «барсук» (ср. карельск. *tägrä* «барсук»), *Нылга* — «пихта» (ср. марийск. *нулго* «пихта»), *Сура* «рог» (ср. марийск. *шур*, коми-зырян. *сюр*, фин. *sarvi*, венг. *szárv*), *Тегра* — «крутой берег» [20]. А. И. Попов связывал название реки *Пекша* с эрзя-мордов. *пекше* «липа» [21]. По М. Фасмеру, гидроним *Яхта* это «сосна» (ср. марийск. *jäktə* «сосна»). *Шуда* = марийск. *šudə* «трава», *Нельша* = марийск. *nelšə* «заглатывающий», *Уста* = марийск. *üštə* «хо-

[19] См., например: M. Vasmer, Wörterbuch der russischen Gewässernamen, 1—12, Berlin — Wiesbaden, 1960—1968.

[20] A. Sauvageot, À propos de certains noms des lieux de Russie septentrionale, UAJb, XXX, 1—2, 1958, стр. 4, 56.

[21] А. И. Попов, Топонимическое изучение восточной Европы, «Уч. зап., [ЛГУ]», Серия востоковедческ. наук, 2, 1948, стр. 104.

лодный», *Шунга* = марийск. *šüŋgä* «небольшой холм» [22]. Название реки *Нюхча*, впадающей в Белое море, А. К. Матвеев связывает с саам. *njukčâ* «лебедь» (стр. 53), название другой речки *Чукча* — с саам. *čikča* «глухарь» (стр. 47). Реконструированный таким способом гидронимический слой представлен именами существительными со значениями «лебедь», «глухарь», «пихта», «сосна», «червяк», «рог» и т. д. Совершенно очевидно, что в данном случае реконструируется нечто, не существующее в природе, а это в свою очередь свидетельствует о неправомерности самой процедуры. Таким образом гипотеза о принадлежности двусложных гидронимов финно-угорским языкам остается совершенно недоказанной. Эта проблема вообще неразрешима.

Трехсложные гидронимы типа *Яхрома*, *Егреньга*, *Коленьга*, *Анданга*, а также некоторые двусложные на *-уг*, *-кг*, *-кга* типа *Вачуг*, *Пычуг* представителями финской теории объявляются финно-угорскими на том основании, что наличествующие в них речные суффиксы якобы можно объяснить при помощи слов уральских языков. Например, гидронимические суффиксы *-кг*, *-кга* связываются с фин. *joki* «река». Формант «гласный + *+ньга* (*нга*)» типа *-анга*, *-онга*, *-еньга* связывается с марийск. *энер* «река» (где *-р* является словообразовательным суффиксом, а основа родственна ненецк. *еӈа* «речка» и, возможно, хант. *jiӈk* «вода», юкагирск. *опӈie* «речка»), а также с суффиксом прилагательных *-ӈ*, известным в ряде уральских языков (стр. 50).

Прежде всего необходимо заметить, что чистые прилагательные в названиях рек для уральских языков нетипичны. По этой причине сопоставление рассматриваемого форманта со словообразовательным суффиксом *-ӈ* отпадает. Формант *-еньга* (*-jeӈa*) ближе всего к хант. *jiӈk* «вода» и ненец. *еӈа* (*jeӈa*) «речка» — их связывает начальное *j* и близость значений. Однако *jeӈa* в ненецком языке неактивно в гидронимическом отношении. Варианты формантов *-анга*, *-онга* и марийск. *энер* «река» труднее сопоставлять с *jeӈa*, поскольку они не имеют начального *j*. Чередование гласных *а* и *о* можно объяснить только наличием редуцированного гласного в предполагаемом корне **эӈа*, имевшем значение «выдаваться» или «разветвляться», ср. хант. *оӈar* «живун, ключ; коса, выдающаяся в реку» [23], а также венг. *ag* «ветвь», возможно, из **эӈз*, а не из **saӈz*. Марийский корень *еӈ* также первоначально имел иное значение, ср. речное название *Енгенерка* (басс. Кокшаги).

Формант «гласный + *га*» типа *-ога*, *-уга* должен интерпретироваться, по мнению А. К. Матвеева, на прибалтийско-саамско-волжской почве (фин. *joki*, карел. *jogi*, саам. Н. *jokkâ* «река», марийск. *йогы* «течение») (стр. 50). Однако эта этимология не объясняет, по какой причине исчезает начальный *j*. Уж если говорить об уральских соответствиях этого форманта, то лучше всего его связать с хант. *ŏγ*, *ŏw* «течение».

Формант *-ома* А. К. Матвеев, ссылаясь на А. И. Попова, пытается связать с древним уральским суффиксом прилагательных «гласный + *т*». Названия на *V* + *ма*, по его мнению, характеризуются тем же уральским аффиксом, что и топонимы на *-ым* (*-им*, *-ум*) в Приуралье и Зауралье (стр. 50). Этимология маловероятна, так как названия рек, состоящие из прилагательных, для уральских языков не типичны. Формант *-ома*, а возможно, и формант *-ым*, *-им*, *-ум* восходят к самостоятельному названию реки, ср. *Ома*, река, впадающая в Баренцово море, *Ума* — река в бассейне Кулоя и *Ум* — приток Томи (басс. Оби). Эти названия можно было бы

[22] См.: M. Vasmer, Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. III, SPAW, Philosoph.-hist. Kl., XIX, 1935, стр. 539.

[23] K. F. Karjalainen, Ostjakisches Wörterbuch, bearbeitet und hrsg. von Y. H. Toivonen, I, Helsinki, 1948, стр. 33.

возвести к хантыйскому корню *ӧу*, *ӧw* «течение». *Ома* (*оу?та*) первоначально, по-видимому, обозначало место, по которому что-либо протекает, чем и объясняется употребление суффикса *-та*. Любопытно отметить сходно звучащее современное финское *иота* «русло реки» (из *оота*). Позднее название русла могло получить значение «река». Все это крайне гипотетично.

Допустим, что все рассмотренные нами суффиксы действительно принадлежат уральским языкам. Однако и в этом случае проблема происхождения гидронимов типа *Яхрома*, *Ламаньга*, *Мегреньга*, *Луптюг*, *Возюг*, *Качуг*, *Елюга* и т. п. еще не решена. Если невозможно доказать финно-угорское происхождение двусложных гидронимов типа *Яхра*, *Лама*, *Мегра*, *Лупта*, *Воза*, *Кача*, *Ела*, то почему после прибавления к ним уральских речных суффиксов двусложные гидронимы становятся уральскими? В истории гидронимии известно немало случаев, когда речные суффиксы, принадлежащие определенному языку, наслаиваются на гидронимы иного происхождения. Таковы, например, гидронимы на территории Коми АССР типа *Жежим-ю*, *Лячим-ю*, *Шутим-шор*, где к речным названиям угорского происхождения прибавлены слова *ю* «река» и *шор* «ручей»; на территории расселения манси встречаются реки типа *Мулым-я*, *Атым-я*, обнаруживающие прибавление мансийск. *я* «река»; в Кировской области встречаются названия типа *Урдома-шур* (удм. *шур* «ручей»); ср. также фин. *Onta joki* «река Онда», *Tuleta joki* «река Тулома» и т. д.

По-видимому, такого же происхождения приведенные в статье А. К. Матвеева гидронимы типа *Кучематка*, *Челмосарка*, *Кучесар*, *Чухченема*, *Шублахта*, *Шушкомень*, *Вондранда* и т. д. Отсюда следует вывод, что гидронимический суффикс может или указывать на происхождение гидронима, или свидетельствовать только об его более поздней обработке.

Если мы имеем нефинно-угорские гидронимы типа *Корба*, *Кунда*, *Куча*, *Луда*, *Лухта*, *Матка*, *Мурда*, *Пирта*, *Шарда* и *Шукша*, то этимологизация сложных гидронимов *Корбанга*, *Кундюг*, *Кучема*, *Лудонга*, *Лухтонга*, *Маткома*, *Мурденьга*, *Пертеньга*, *Шарденьга* и *Шукшеньга* при помощи постулируемых А. К. Матвеевым прибалтийско-саамско-волжских основ *корб* «глухой лес», *куч* «гнилой», *луд* «утка», *лухт* «заливной луг», *матк* «путь», *мурд* «бурелом», *перт* «изба», *шард* «лось», *шукш* «червяк» лишается твердого основания.

Подтверждением того, что в трехсложных гидронимах имели место главным образом процессы наслаивания, а не естественного сложения элементов одного языка, могут служить такие любопытные факты, как невозможность осложнения двусложных гидронимов с исходом на *-га* суффиксами, содержащими элемент *г*, и двусложных гидронимов с исходом на *-ма* — суффиксами, содержащими элемент *м*. Иными словами, нет гидронимов типа *Ваганга* или *Вагуга* от *Вага* и *Маймома* или *Маймомень* от *Майма*, *Ламома* от *Лама* и т. д.

Определение источника происхождения двусложных гидронимов осложняется также и тем, что последние могут входить в состав гидронимов на *-ым*, *-им*, *-ум*. Ср. такие пары, как *Шукша* и *Шукшум*, *Арда* и *Ардым*, *Кача* и *Качим*, *Ухта* и *Ухтым*, *Иша* и *Ишим*, *Мола* и *Молым*, *Ача* и *Ачим*, *Авда* и *Овдым*, *Мурда* и *Муртым*, *Куза* и *Кузим*, *Ныча* и *Нычим*, *Пуза* и *Пузым*, *Коза* и *Козым*, *Кича* и *Кичим* и т. д.

В своих многочисленных работах, посвященных проблеме происхождения севернорусской гидронимии, А. К. Матвеев неоднократно пытался расширить возможности применения финской гипотезы. В последней своей статье он выступил с гипотезой, постулирующей наличие в древности на территории Севера особой группы северных уральских языков, своего рода переходного звена между саамским, прибалтийско-финскими и

волжскими языками. Следует заметить, что сама эта идея не является оригинальной. Она была высказана еще в 1947 г. А. И. Поповым [24]. Первоначальные ее истоки восходят к А. И. Шёгрену, который в одной из своих работ утверждал, что все названия рек северной России на *-жг*, *-юга*, *-ега*, *-ога*, *-га*, *-енга*, *-еньга* и т. п. происходят из финско-лопарских названий рек вообще [25].

Система применяемых А. К. Матвеевым доказательств состоит из трех последовательных этапов.

Сначала отбираются гидронимы и топонимы с характерными для прибалтийско-финских языков дифференциальными признаками *-оя*, *-немь*, *-мень*, *-матка*, *-сара*, *-лахта* и т. д. типа *Маткоя*, *Кузьнема*, *Кургомень*, *Чемсора*, *Перхлохта* и т. д. Затем составляются коррелятивные ряды с подключением гидронимов с аффиксами *-анга*, *-еньга*, *-онга*, *-юга*, *-уга*, например, *Важемень — Важеньга — Важуга*; *Елссера — Еленьга*; *Изимень — Избой — Изига*, *Уронемо — Уросарка — Уронга*, в которых первые составные части оказываются сходно звучащими. На этом основании делается вывод о близком родстве языков, которым принадлежат сопоставляемые гидронимы, и устанавливается, что языки эти входят в так называемую северную группу уральских языков, представляющую переходное звено между прибалтийско-финскими, саамским и волжскими языками. Переходный характер этих языков устанавливается, таким образом, путем этимологизирования по внешнему созвучию.

Возникает вопрос: можно ли установить целую группу языков переходного типа при условиях неизвестности лексики более глубоких гидронимических слоев и достаточны ли для этой цели скудные лексические данные? Представляется, что этих данных далеко не достаточно, так как для суждения о переходном характере языков необходимо исследовать различные уровни этих языков.

А. К. Матвеев приводит в своей статье список, включающий 68 рядов соответствий гидронимов, обнаруживающих одинаковое или сходное звучание их первых составных частей. Прежде чем подробно рассматривать список, необходимо произвести анализ топонимических и гидронимических формантов, которые фигурируют в этом списке. Бесспорно прибалтийско-финскими с точки зрения А. К. Матвеева являются форманты *-нем*, *-нема*, *-немь*, *-мень*, *-меня*, *-мина* < фин. *niemi*, люд. *ńiem*, вепс. *ńet*, эст. *neet* «мыс; наволок»; *-оя* (*-ой*, *-уя*, *-уй*), *-бой*, *-буй*, изредка *-ая*, *-ай*, *-ея*, *-ей*, может быть, сюда же *-вей* < фин., карел., люд., вепс., эст. *oja* «речка, ручей, канава», ливвик. *voja* «ложбина, наполненная водой» = саам. *vuoi*, *vuai*, *uoij*, *vaj* и т. д. (окончания *-бой*, *-буй* возникли, по мнению А. К. Матвеева, под влиянием вепского языка — *v* > *b*; стр. 45); *-сара*, *-сора*, *-сарь*, *-сор*(*ь*), *-зора*. Последний формант связывается с вепс. *sara* «разветвление», люд. *suar* «ветвь, рассоха», карел. *šuara* «развилка, рассоха» при фин. *haara* «разветвление» или саам. *suorr*, *sūrr* «ветвь реки» (стр. 43).

Прежде всего заметим, что финские этимологи при этимологизации фин. *niemi* нигде не дают его варианта *теń*. Обычно приводятся соответствия: карел., олон. *ńiemi*, люд. *ńiem*, вепс. *ńet*, водск. *nëmi*, эст. *neet*, и на этом сопоставление заканчивается [26].

---

[24] А. И. Попов, Из истории финноугорских народностей, ч. 1. Докт. диссерт., Л., 1947, стр. 314.

[25] A. I. Sjögren, Über die älteren Wohnsitze der Jemen. I und II Abt., «Mémoires de l'Académie des sciences de Saint-Peterburg», VI Ser., I, 1832, стр. 343.

[26] Y. H. Toivonen, E. Itkonen, A. Joki, Suomen kielen etymologinen sanakirja, II, Helsinki, 1958, стр. 376.

Откуда же появился вариант *-мень*? Его не могли создать сами вепсы, поскольку для них *ńet* было значимым словом и они не могли заменять его каким-либо другим словом. Очевидно, *-мень* появился в результате порчи русскими вепс. *ńet*. Однако трудно найти основание для такой порчи. Вепс. *ńet* не созвучно ни с каким значимым русским словом *мень* и оно не содержит звуков *л* или *р*, создающих благоприятные условия для метатезы. Я. Калима не случайно отрицал связь форманта *-мень* с фин. *niemi* «мыс» [27]. Остается предположить, что в ареале распространения топонимов на *-мень* были субстратные топонимы с особым формантом *-мень*, который этимологически можно было бы связать с хант. *min* «извилина реки, поворот» [28]. Это слово в свою очередь этимологически связывается с мордов. *mene-*, *meńde-* «гнуть», хант. *mäni-*, селькуп. *mẽna-*, *тупа-*, камас. *тйпй'-* [29]. Ср. также ненец. *моңга* «сухая низина, расположенная между изгибами реки», например: *яха' моңгахáна си''ив ңарка мя''* «в изгибе реки (расположены) семь больших чумов» [30], или ненецк. *меңга* «заводь».

Такому предположению как будто бы совершенно противоречит тот факт, что формант *-мень* может сочетаться с прибалтийско-финскими основами, например, *Каргомень*, *Кургомень*, *Каскомень*, *Кузомень* и т. д. Замена *-немь* на *-мень* здесь могла быть произведена русскими, для которых оба форманта не имели никакого значения. Если это так, то топонимический формант *-мень* совершенно теряет доказательную силу как дифференцирующий прибалтийско-финский топоформант.

Не вызывает сомнений прибалтийско-финское происхождение гидронимического форманта *-оя*, но указанные А. К. Матвеевым варианты *-ой*, *-уй*, *-ай* мало доказательны уже потому, что они рассыпаны на довольно широком пространстве, выходящем далеко за пределы территорий прибалтийско-финских народов. Ср.: *Ад-уй* (Кама), *Ахт-ай* (Волга), *Вал-уй* (Ока), *Виск-ой* (Кама), *Кад-уй* (Сухона), *Керг-уй* (Молога), *Кув-ай* (Волга), *Куг-ай* (Ветлуга), *Нул-уй* (Мокша), *Пел-ай* (Волга), *Подм-ой* (Волга), *Портом-ой* (Волга), *Тапс-уй* (Сосьва), *Тыл-ай* (Косьва) и т. д., а один из притоков р. Уфы носит название *Ай*. Скорее всего, приводимые в списке гидронимы с суффиксами *-ой*, *-уй* являются смешанными по происхождению.

Вызывает сомнения и гидронимический формант *-бой*, который, по предположению А. К. Матвеева, должен получиться под влиянием вепского языка из первоначального *voj*: при каких условиях это должно было произойти, если в вепском нет фонетического закона, согласно которому всякое начальное *b* переходило бы в *v*? В вепском имеется ряд слов, начинающихся с начальным *v-*, ср. вепс. *vouged* «белый», фин. *valkea*, вепс. *vanh* «старый», фин. *vanha*. Не переходило *v* в *b* в вепском языке ни в интервокальном положении, ни в положении после звонких согласных, ср. вепс. *süva* «глубокий», фин. *syvä*, вепс. *koivuńe* «березовый», фин. *koivunen*, вепс. *korvikas* «ушастый», фин. *korvakas*. В то же время выделенный А. К. Матвеевым формант можно сопоставить с тем *-бой* или *-буй*, который представлен в гидрониме *Еланбуй* (басс. Камы) и *Патембой* (басс. Печоры). Возможно, что формант *-бой* связан не с прибалтийско-финским *voi*, а с формантом *пой*, *поя* или *буй*, ср. название реки *Пуя*, впадающей в Вагу, *Пуй* — река, впадающая в Сосьву, *Буй* — приток Вятки и т. д. Озвончение *р* после согласных и в интервокальном положении возможно, тогда как *v* после звонких согласных в *b* обычно не переходит.

[27] J. Kalima, Neuere Forschungen über baltisch-finnische und finnisch-slavische Beziehungen, ZfslPh, XII, 1—2, 1935, стр. 135—136.
[28] K. F. Karjalainen, указ. соч., стр. 524.
[29] B. Collinder, Fenno-Ugric vocabulary, Stockholm, 1955, стр. 34.
[30] Н. М. Терещенко, Ненецко-русский словарь, М., 1965, стр. 259.

Если из списка, представленного А. К. Матвеевым, выписать все гидронимы, оканчивающиеся на *-бой*, то окажется, что сколько-нибудь удовлетворительно этимологизировать их на прибалтийско-финской или саамской почве совершенно невозможно (ср. *Азбуй*, *Анбуй*, *Избой*, *Ишкобой*, *Качебой*, *Кизбой*, *Кодобой*, *Котобой*, *Ладбой*, *Пажбой*, *Петобой*, *Солбой* и т. д.), хотя этого не должно было бы быть, поскольку формант *-оя*, к которому восходит, по мнению А. К. Матвеева, *-бой*, тесно связан с лексикой прибалтийско-финских языков. На основании вышеизложенного можно сделать вывод: топоформанты *-мень* и *-бой* не являются дифференциальными признаками прибалтийско-финских языков.

Попробуем теперь из списка 68 соответствий, представленного А. К. Матвеевым, исключить те соответствия, которые, с нашей точки зрения, не являются доказательными для обоснования гипотезы о существовании особой группы северных языков, пользуясь при этом следующими критериями: 1) возможная связь с двусложным гидронимом нефинно-угорского происхождения, 2) возможная связь с угорскими гидронимами на *-ым*, *-им*, *-ум* или *-ыш*, *-иш*, 3) наличие в одном из коррелирующих гидронимов формантов *-мень* и *-бой*, которые назовем отрицательными показателями. Аргументация будет заключена в скобки.

Азбуй — Азенга (отрицательный показатель *-буй* и возможная связь с гидронимами *Аза* и *Азюм*); *Анбуй — Анила — Анюг* (отрицательный показатель *-буй* и возможная связь с гидронимом *Ан-иш* в бассейне Волги, ср. также *Ан-о = Анозеро*); *Важемень — Важеньга — Важуг* (отрицательный показатель *-мень*); *Веромень — Верола — Верюга* (отрицательный показатель *-мень*); *Возьнем — Возюг* (возможная связь с гидронимом *Воза*); *Ежемень — Еженьга*, *Ежуга* (возможная связь с гидронимом *Ежа*); *Елесера — Еленьга* (возможная связь с гидронимом *Ела*); *Иванема — Иванга* (возможная связь с гидронимом *Ива*); *Изимень — Избой — Изюга* (отрицательные показатели *-мень* и *-бой* и возможная связь с гидронимом *Изюм*); *Индосарь — Индала*, *Индега* (возможная связь с гидронимами *Инда* и *Интым*); *Ирдоматка — Ирдома* (возможная связь с гидронимом *Ирдым*); *Ишкобой — Ишкома* (отрицательный показатель *-бой*); *Карамина — Каранга* (отрицательный показатель *-мина*); *Качебой — Качема* (отрицательный показатель *-бой* и возможная связь с гидронимом *Кача*); *Кизбой — Кизема* (отрицательный показатель *-бой*); *Киснема — Кисматка — Кислахта — Кисема — Кисига* (возможная связь с гидронимом *Киса*); *Кодосор — Кодой — Кодима* (возможная связь с гидронимом *Кода*); *Кондуя — Кондома — Кондюг* (возможная связь с гидронимом *Конда*); *Кортолахта — Кортюга — Кортюг* (возможная связь с гидронимом *Куртым*); *Котомина — Котбой — Котуга* (отрицательные показатели *-мина* и *-бой*); *Кулой — Кулома* (возможная связь с гидронимом *Кула*); *Куропалда — Куреньга — Курома* (возможная связь с гидронимом *Кура* в Карелии); *Ладбой — Ладуга* (отрицательный показатель *-бой* и возможная связь с гидронимом *Лада*); *Лапомень — Лапанга* (отрицательный показатель *-мень* и возможная связь с гидронимом *Лапа*); *Ледбой — Лебеньга* (отрицательный показатель *-бой* и возможная связь с гидронимом *Ледь*); *Лындуй — Лындога* (возможная связь с гидронимом *Лында*); *Матнема — Матсара — Матенга — Матюг — Матома* (возможная связь с гидронимом *Мата*); *Онемина — Онега* (отрицательный показатель *-мина* и возможная связь с гидронимом *Она*); *Пажбойка — Пажуга* (отрицательный показатель *-бой*); *Пануй — Панога* (возможная связь с гидронимом *Пана*); *Пачепалда — Пачелохта — Пачуга* (возможная связь с гидронимом *Поча*); *Пелемень — Пеленьга — Пелюга* (отрицательный показатель *-мень*); *Петобой — Петеньга* (отрицательный показатель *-бой* и возможная связь с гидронимами *Петь* и *Питим*); *Пуконема — Пукоранда —*

Пукома (возможная связь с гидронимом *Пока*); *Пучкое — Пучкома* (возможная связь с гидронимом *Пучка*); *Пыжемень — Пыжелохта — Пыжуг* (отрицательный показатель *-мень*); *Роднема — Родома* (возможная связь с гидронимом *Рада*); *Рочимина — Рочуга* (отрицательный показатель *-мина* и возможная связь с угорским гидронимом *Рочегда*), *Русемень — Русинга— Русома* (отрицательный показатель *-мень*); *Совдоя — Совдюга* (возможная связь с гидронимом *Совда*); *Солбой — Солосора — Солюга* (отрицательный показатель *-бой*), *Сулуй — Сулонга* (возможная связь с гидронимом *Сула*); *Томой — Томанга* (возможная связь с гидронимом *Тома*); *Уронемо — Уросарка — Уронга*, *Урома* (возможная связь с гидронимом *Ура*); *Циломень* (очевидно, *Цигломень*) — *Циленга* (отрицательный показатель *-мень*); *Юрлахта — Юрома — Юронга* (возможная связь с гидронимом *Юра*); *Ярнема — Яренга* (возможная связь с гидронимом *Яра*).

Таким образом, из 68 гидронимических рядов, которые призваны, по мнению А. К. Матвеева, демонстрировать корреляцию первых составных частей гидронимов, 47 рядов соответствий на основании вышеизложенных критериев можно считать лишенными доказательной силы. Доказательность других рядов сомнительна, так как первые части гидронимов не поддаются пока этимологизации, например, *Елгуй — Елгома*, *Ернема — Еренъга*, *Керлахта — Керома*, *Мурлахта — Мурлюга*, *Сямуй — Сямонъга* и т. д.

В списке рядов соответствий, приведенном А. К. Матвеевым, имеются и гидронимы с отличительными признаками, характеризующими прибалтийско-финские языки, например: *Возьнем*, *Керлохта*, *Матсара*, *Пенсора*, *Пукоранда*, *Совдоя*, *Юрлахта* и т. д. Однако первые составные части таких гидронимов или представляют собой вкрапления нефинно-угорских элементов, или чисто случайные созвучия прибалтийско-финских слов со словами иного происхождения. Не исключена возможность, что некоторые гидронимические суффиксы типа *-еньга*, *-юга*, *-ома*, *-мень* и т. д. принадлежат к близкородственным языкам, но это все же еще не свидетельствует о том, что они принадлежат к особой группе уральских языков переходного типа. Может быть, они даже не принадлежат к уральским языкам вообще.

Удалось ли А. К. Матвееву доказать существование особой группы северных уральских языков иным путем?

Если действительно существовала особая группа северных языков переходного типа, объединяющая в себе черты прибалтийско-финских, саамского и марийского языков, то естественно возникает вопрос, как отличить слова, доказывающие переходный характер языка, вернее — существование особой группы языков, от слов, этимологически родственных и указывающих на принадлежность данного языка вообще к группе финно-угорских языков. Ведь если мордов. *панжомс* «открывать» и хант. *пуншта* «открывать» сопоставимы, то это еще не значит, что мордовский и хантыйский языки принадлежат к одной группе. У А. К. Матвеева слова, которые должны указывать на переходный характер северной группы языков, обычно подвергаются тем же фонематическим законам, каким подвергались соответствующие слова в изолированно существующих языках. Классическим в этом отношении примером может служить анализ топонима *Шарбмень* на Пинеге, который А. К. Матвеев связывает с марийск. *шарбо* «лось». В марийск. *шарбо* начальный *ш* исторически возник из *ś*, ср. эрзя-морд. *śardo* «лось». Следовательно, *ś* в переходном языке так же, как в марийском, изменилось в *š*. В топонимах *Шушкомень* < *Шукшомень* (мыс на реке *Шукша*) < марийск. *шукш* «червяк» и *Шуломень* < <марийск. *шула-* «таять», ср. фин. *sula-* «таять», эрз. *солазь* «талый», происходит, как в марийском, изменение первоначального *s* в *š*. Топоним *Лудне-*

ма сопоставляется с марийск. *лудо* «утка». Если марийск. *лудо* «утка» поставить в один ряд с фин. *lintu* «птица», кольско-саам. *lońde*, манс. *lunt* «гусь» и хант. *lont*, *tunt* «гусь», то оказывается, что в переходном языке должно было совершиться такое же упрощение группы *nt*, как и в марийском (стр.48).

В словах, которые, по А. К. Матвееву, указывают на переходный характер северной группы языков и на связь их с саамским, совершаются те же звуковые переходы, что и в саамском, например, в названии реки *Явроньга* наблюдается та же трактовка группы *gr*, что и в саамском [31]. Гидроним *Челмосарка* связывается с саам. *čoalme* «пролив» и т. д.

В действительности все эти сопоставления лишены оснований. Сопоставляя топоним *Шардомень* с марийск. *шардо* «лось», А. К. Матвеев упустил из виду, что в районе деревни Шардомень имеются две реки— *Верхняя* и *Нижняя Шарда*; по-видимому, *Шардомень* некогда означало «Шардинский поворот» или «Шардинский мыс» [32]. То же самое следует сказать о сопоставлении топонима *Шушкомень* (из *Шукшомень*), названного так по гидрониму *Шукша*, ср. марийск. *шукш* «червяк»: трудно поверить, чтобы древние жители Севера чистую лесную речку назвали «червивой». Вряд ли можно связывать топоним *Луднема* с марийск. *лудо* «утка», поскольку существуют гидронимы *Луда* и *Лудонга*. Не убедительна расшифровка топонима *Шуломень* как «талый мыс» в связи с марийск. *шулата* «талый», поскольку топоформант *-мень*, как указывалось выше, не является специфическим показателем топонимии прибалтийско-финского и волжского типа. В гидрониме *Челмосарка* не заключено саамское слово *čoalme* «пролив»: вепсы могли обработать нефинно-угорский гидроним *Челма*; к тому же приток реки не может быть морским или озерным проливом. Название *Вондранда* не обязательно связывать с марийск. *вондо* «куст», как это делает А. К. Матвеев, элемент *вонд* можно сравнить с первым составным элементом гидронима *Вонтым* и хант. *вант* «мыс». Название рек *Нюхча* и *Чукча*, впадающих в Белое море, по нашему мнению, не имеет никакого отношения к саам. *njukčâ* «лебедь» и *čukča* «глухарь», поскольку элемент *-ча* в двусложных названиях рек выражается довольно часто, например: *Поча*, *Кача*, *Шача*, *Вича*, *Ача*, *Печа*, *Пыча*, *Ротча*, *Моча*, *Хотча* и т. д.; встречается он и в трехсложных гидронимах — *Молокча*, *Колокча* и т. д.

А. К. Матвеев утверждает, что основа *ягр* «озеро» сохраняет звук $g \sim \gamma$, который впоследствии исчез в этом слове во всех прибалтийско-финско-саамско-волжских языках (фин. *järvi*, саам. *jaur*, *jawre*, марийск. *ер* и т. д.). Восстанавливая древнюю форму **jagr*, А. К. Матвеев связывает эту основу с русск. *озеро* и литов. *ežeras*, цытаясь на этой основе доказать наличие чрезвычайно древних контактов между восточными европейскими и финскими языками (стр. 53). Интервокальная группа *-гр-* в субстратных основах *мегр-*, *ягр-* в современных волжских языках, по мнению А. К. Матвеева, выступает в измененном виде вследствие метатезы ($gr > rg$) и последующей переработки: марийск. *нерге* «барсук», марийск. *ер*, морд. *эрьке* «озеро» (ср. субстратное *Ергус*, встречающееся часто в озерных названиях, и *Ярголойда*). Установление этого соответствия позволяет считать достоверными опорные этимологии марийск. *нерге* $\sim$ карел. *mägra* «барсук», марийск. *нулго* «пихта» $\sim$ фин. *neula*, карел. *negla* $\sim$ субстратное *негл-* «игла», поскольку группа *-gl* аналогична группе *-gr* (стр. 53).

Вышеприведенные утверждения не учитывают данных исторической фонетики финно-угорских языков. Если бы фин. *järvi* «озеро» действитель-

[31] Фактически это неверно.

[32] Поскольку мысы часто возникают в излучинах рек, то не исключена возможность наличия у субстратного топоформанта *-мень* значения «мыс».

но восходило к основе *jagr-*, точнее *jägre-*, то оно звучало бы как *jäyri*, а в карельском *jägri*, поскольку группа *-γr* в истории финского языка превращалась в дифтонг, ср. карел. *mägrä* «барсук», но фин. *täyrä*, карел. *nagra* «смех», но фин. *naura*. Группа *-rv* в фин. и карел. *järvi* «озеро» является исконной и хорошо сохранялась, ср. такие слова, как фин. *parvi* «куча», *hirvi* «лось», *irvi* «оскал зубов», *sorvi* «токарный станок» и т. д. Сохранялась она и в саамском, ср. фин. *sarvi* и саам. *čoarve* «рог». Следовательно, группа *-ur*, *-wr* в саам. названии озера *jaur*, *jawre* возникла в результате метатезы составных элементов группы *-rv*. В пользу такого предположения говорит и то обстоятельство, что в саамских диалектах не обнаружено названия озера, сохраняющего постулируемую А. К. Матвеевым и А. И. Поповым [33] группу *-gr*. Встречающийся в Двинских грамотах гидроним *Рушеягр* [34] также ничего не доказывает, так как *Рушеягр озеро* может быть полупереводом. Оспорена может быть и этимология *ягр* «озеро», поскольку В. Далем зафиксировано архангельское и олонецкое диалектное слово *ягра* «мелкое песчаное дно реки, озера, моря» [35]. Ср. также название *Ягорский остров* [36], т. е. «остров на отмели». Поэтому наличие основы *ягр-* «озеро» в таких гидронимах, как *Ягрыш*, *Ягрема*, *Яхрома*, *Яхреньга* и т. д., является мнимым.

Если в марийск. *нерге* «барсук» (ср. карел. *mägrä* «барсук») с известной натяжкой можно признать метатезу группы *-gr*, то этого нельзя сказать в отношении морд. *эрьке* «озеро». Конечный элемент *-ке* в слове *эрьке* «озеро» по происхождению является уральским уменьшительным суффиксом *-ke* [37]. Первоначально оно имело значение «озерко». Более поздняя утрата уменьшительно-экспрессивного значения — явление вполне обычное, ср. франц. *soleil* «солнце» из латинского *soliculum* «солнышко». В финском языке уменьшительный суффикс *-ke* дает образования типа *saareke* «островок». Отсюда следует, что он не имеет абсолютно никакой связи с группой *-gr*.

В марийском *нулго* «пихта», по утверждению А. К. Матвеева, якобы имела место метатеза группы *-gl*, ср. фин. *neula* «игла» из *negla*. Однако в родственных языках группа *-lg* не подвергается перестановке, ср. эст. *nulg* «пихта» и хант. *ńălki* то же [38]. Фин. *neula* связывается с др.-герм. **nǣþlō* «игла» [39].

На русской почве, по мнению А. К. Матвеева, происходит нивелировка близких по звучанию гидронимических формантов; поэтому иногда трудно отличить пермские основы от севернофинских; ср. *из-* в *Изюга* — коми-зырян. *из* «камень» или марийск. *изи* «маленький», *ош* в *Ошуга* — коми-зырян. *ош* «медведь» или марийск. *ош* «белый» (стр. 54).

Однако о «близком звучании» основ здесь не может идти речи, так как *з* в марийском *изи* «маленький» возникло из *ч* (*ичи*), и это изменение произошло относительно поздно (не раньше XVI в.). То же самое можно сказать и о речном названии *Ошуга*: если бы в нем наличествовало коми-зырянское слово *ош* «медведь», то это название звучало бы как *Ошкуга*.

---

[33] А. И. Попов, Топонимика Белозерского края, «Уч. зап. [ЛГУ]». Серия востоковед. наук, 2, стр. 173.

[34] «Сборник грамот Коллегии экономии», I — Грамоты Двинского уезда, Пг., 1922, стр. 2.

[35] В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, IV, М., 1955, стр. 673.

[36] «Сборник грамот...», стр. 882.

[37] См.: Y. H. Toivonen, Suomen kielen etymologinen sanakirja, I, Helsinki, 1955, стр. 132.

[38] B. Collinder, указ. соч., стр. 42.

[39] Y. H. Toivonen, E. Itkonen, A. Joki, Suomen kielen etymologinen sanakirja, II, стр. 375.

Сравнивая фин. *haara*, вепс. *sara* «разветвление», людик. *suar* и саам. *suorr*, *sūrr* «ветвь реки», а также коми-зырян. *шор*, удм. *шур* «река», венг. *ár* «поток» и манс. *tūr*, *tōr* «озеро», А. К. Матвеев реконструирует без конечного гласного архетипную форму **šγr* (стр. 43). Эти данные явно устарели, так как в настоящее время связывается в единый ряд только венг. *ár* «поток» и манс. *tūr* «озеро». Архетип мог иметь форму **sarз* или *šarз* [40]. Гласный *о* в коми-зыр. *šor* возник из *е*. Более древняя форма *šer* сопоставляется с венг. *ér* «ручей» [41]. Фин. *haara* может быть сопоставлено с ненец. *tārkka* «ветвь», где *-kka* — уменьшительный суффикс [42].

Таким образом, существование особой группы северных языков, представляющих переходную ступень между саамским, прибалтийско-финским и волжскими языками, А. К. Матвееву доказать не удалось.

В заключение отметим, что проблема происхождения верхних слоев севернорусской топонимии никогда окончательно не будет разрешена. Эта топонимия представляет конгломерат различных языковых элементов, которые отражают древние миграционные потоки, идущие из Средней России и Сибири, и которые позднее были перекрыты собственно угро-финской топонимией. Вряд ли дальнейшие исследования прибавят что-либо существенное к этому общему выводу.

---

[40] «A magyar szókészlet finn-ugor elemei. Etimologiai szotar», I, Budapest, 1967, стр. 91.

[41] Там же, стр. 160.

[42] Y. H. Toivonen, указ. соч., стр. 47.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1970

Г. Ф. БЛАГОВА

ТЕНДЕНЦИИ К УСЛОЖНЕНИЮ ТЮРКСКОГО ПАДЕЖНОГО СКЛОНЕНИЯ

(Опыт сравнительно-типологического изучения)

Памяти Виктора Владимировича Виноградова

Вводные замечания. Совсем недавно возможность соединения в одной словоформе двух показателей одной грамматической категории (или «порядка» по Глисону) в принципе отрицалась или же для агглютинативных языков признавалась явлением чрезвычайно редким. Исследования морфологической структуры слова в конкретных агглютинативных языках, проводимые Б. А. Серебренниковым, В. З. Панфиловым, А. Н. Кононовым, О. П. Суником, К. Е. Майтинской, Т. А. Бертагаевым и др., показывают, что комбинирование однокатегориальных аффиксов в пределах словоформы во многих этих языках по крайней мере исторически используется в качестве регулярного грамматического средства при выражении ряда категорий как словообразования, так и словоизменения.

Изучение под углом зрения аффиксальной комбинаторики одной из ключевых категорий именного и местоименного словоизменения — падежного склонения — позволило найти в целом ряде языков сочетания падежных показателей.

Пытаясь выяснить место и роль таких комбинаций в развитии падежного склонения прежде всего тюркских языков, мы руководствовались методикой, которую применил Б. А. Серебренников при воссоздании пермской, мордовской и шире — уральской падежных схем и их эволюционирования; эта методика позволяет для наших целей привлекать к исследованию явления, занимающие неодинаковое положение на осях как синхронии, так и диахронии [1]. На этом основании ниже будут рассматриваться явления, которые по тем или иным историческим причинам, связанным с условиями их развития или с их назначением, стали не вполне тождественными во многих отношениях [2]. Исследуемые сочетания по разным языкам обнаруживают различные степени слияния падежных аффиксов. В одних случаях такие аффиксы сочетаются свободно, не теряя при этом способности самостоятельно употребляться каждый в отдельности и образуя своего рода окказиональные комбинации, остающиеся за пределами действующей падежной парадигмы; естественно, что аффиксальные «стыки» при этом часто ощущаются носителями языка. В других слу-

[1] См.: Б. А. Серебренников, Историческая морфология пермских языков, М., 1963 (далее — ИМПЯ), стр. 30—31 и сл.; его же, Историческая морфология мордовских языков, М., 1967 (ИММЯ), стр. 32 и сл.; его же, Основные линии развития падежной и глагольной системы в уральских языках, М., 1964 (ОЛУ), стр. 9—11.

[2] Поскольку изучаемые комбинации аффиксов не вполне отвечают принципу функционального тождества, без которого немыслимо понятие типологического тождества (см.: Э. А. Макаев, Отбор констант для построения типологической грамматики германских языков, сб. «Структурно-типологическое описание современных германских языков», М., 1966, стр. 41), было бы преждевременным рассматривать их как своего рода типологическую константу.

чаях комбинация аффиксов срослась в один сложный падежный показатель, и аффиксальный «стык» здесь вскрывается только при помощи метода расчленения падежных аффиксальных комплексов, сформулированного Б. А. Серебренниковым. В третьих случаях формы, некогда включавшие в себя комбинации падежных аффиксов, претерпели морфологическое переразложение, в результате которого один из членов такой комбинации — непосредственно примыкающий к основе падежный показатель — слился с нею, образовав тем самым новую основу склонения. Необходимо учитывать также, что в разных языках такие комбинации неодинаково глубоко проникли в падежную парадигматику: в ряде случаев они регулярны и пронизывают все косвенные падежи, в других случаях охватывают только часть косвенных падежей, в третьих случаях аффиксальные комбинации сохранились лишь как разрозненные осколки «несостоявшихся» падежных систем или как зачатки таких систем, по-видимому, инновационного типа, находящихся в становлении. Тем не менее, при сравнении не только родственных, но и неродственных языков, говоря словами В. Н. Ярцевой, «не следует пренебрегать теми явлениями, которые, будучи „массовидными", т. е. обладая высокой степенью частотности в одном языке, в другом могут быть представлены единичными случаями» [3].

В своем исследовании мы столкнулись также с проблемой генетической разнородности. Как известно, вопрос о развитии падежного склонения в привлеченном нами к изучению круге языков часто осложняется трудностями при отграничении падежных показателей от послелогообразных формативов — тем более, что исторически целый ряд падежных показателей восходит к трансформированным послелогам, а основою таких «молодых» падежных форм является, по сути дела, управляемая, т. е. тоже падежная, форма имени или местоимения [4]. Подобная «комбинаторика» составляет предмет специального изучения; поэтому те случаи, где «послеложный» характер таких комбинаций доступен для определения (здесь нам приходилось следовать за имеющимися исследованиями), мы старались не привлекать к рассмотрению. В принципе же, с точки зрения синхронической, падежные формы послеложного происхождения подлежат изучению наряду с обычными падежными формами: в плане синхронии гетерогенность первых преодолена в процессе их парадигматизации.

Представляется, что самая способность соединять в одной словоформе два (а то и три) падежных аффикса на фоне возможности или невозможности в данном языке комбинаций показателей других грамматических категорий [5] может послужить важной характеристикой морфемной структуры языка.

1. Исторические тенденции к усложнению тюркского падежного склонения. В соответствии с установившимся в тюркологии взглядом, «падежная система современных тюркских языков засвидетельствована в уже сложившемся виде в наиболее ранних памятниках тюркских языков, т. е. в VI—VIII вв. н. э. Развитие падежной системы в последующее время

---

[3] В. Н. Ярцева, Типологические исследования морфологических структур в родственных языках, сб. «Структурно-типологическое описание...», стр. 5.

[4] В ряде тюркских языков, например, обычен род. (вин.) падеж личных местоимений как основа образования такого «молодого» падежа, как «орудно-совместный» (иначе: «орудный», «инструментальный», «творительный»), восходящего к сочетанию послелога *бíла(н)* с управляемым им именем в род. (вин.) падеже; например: 1-е лицо ед. число караимск. *менімбя*, казах. *менімен*, чулымско-тюркск. *мäнгäälä*, шорск. *мееӈме*, см.: «Языки народов СССР», II, М, 1966 (далее в тексте — ЯН СССР; III — М., 1966; IV — М., 1967; V—Л., 1968), стр. 268, 327, 451, 473.

[5] См. например, Г. Ф. Благова, Комбинация аффиксов—исконная урало-алтайская модель или типологический параллелизм?, «Проблема общности алтайских языков. Тезисы докладов [ЛО Института языкознания АН СССР]», Л., 1969.

выражалось в дальнейшем уточнении значений грамматических падежей и в окончательной дифференциации пространственных падежей...», в целом же это развитие «шло в направлении количественного сокращения падежей» [6].

Между тем, с воззрением об однонаправленности развития тюркского падежного склонения на протяжении более чем тысячелетия [7] не согласуются некоторые факты, которые уже давно известны тюркологии (например, древнеуйгурские, новоуйгурские и чагатайские формы пространственных падежей для местоимений, где основой склонения «будет один из грамматических падежей» — КП, стр. 50). Однако такие факты, весьма разрозненные и неодинаковые по разным тюркским языкам, пока не рассматривались с точки зрения занимаемого ими места в эволюции тюркского падежного склонения.

Имея в виду, что развитие падежных систем «в языках не совершается в виде единого и равномерного потока» и что «старые падежные формы отодвигаются к периферии и всегда в той или иной мере где-то сохраняются или входят в состав новых» (ИМПЯ, стр. 30—31), мы поставили своей целью рассмотреть «странные», «необычные» для тюркских языков падежные формы именно под углом зрения исторического развития тюркского склонения; с этой целью проводились наблюдения над падежным склонением — именным, местоименным, посессивным — на материале, относящемся как к истории тюркских языков, так и к современному их состоянию при учете данных новейших диалектологических исследований. (Такое широкое привлечение материала к изучению вызвано еще и тем, что синхронно-сопоставительная и диахронно-сопоставительная грамматики тюркских языков пока не созданы.)

Выявление интересующих нас фактов в довольно большом объеме (если принимать в расчет показания разных тюркских языков в их синхронии и диахронии) и систематизация добытых фактов, как нам представляется, помогают установить и осмыслить те, по-видимому, недостаточно устойчивые тенденции к усложнению падежного склонения, которые в разное время охватывали даже и не всю тюркскую падежную систему в целом, а лишь отдельные ее части. Так, местоименное склонение было эпицентром проявления этих усложнительных тенденций с непосредственной отдачей в посессивном склонении и совсем уже отдаленным «эхом» в области именного («безличного», или «основного») склонения. Подчеркнем сразу же, что подобные тенденции никогда не генерализовались в тюркских языках настолько, чтобы изменить сложившуюся там падежную систему в целом. Тем не менее, без учета спорадически активизировавшегося в разных тюркских языках усложнения падежного склонения картина развития тюркской падежной системы была бы неполной. Поэтому предлагаемая ниже попытка воссоздать некоторые усложнительные тенденции в развитии тюркского падежного склонения, как и последующее обсуждение этой попытки, могут послужить задачам развертываемого ныне сравнительно-исторического изучения грамматики тюркских языков.

По признаку сочетающихся падежных аффиксов, а отчасти и по характеру их соединения и предназначения получившегося комплекса изучаемые комбинации в тюркских языках могут быть сгруппированы в две

[6] Э. В. Севортян, Категория падежа, ИСГТЯ, ч. II, М., 1956 (далее — КП), стр. 45, 58.

[7] Ср. такое представление об относительной стабильности тюркского склонения и «наблюдающуюся во всех индоевропейских языках в разные периоды их развития картину разрушения и воссоздания, всякий раз на иных основаниях, парадигматического строя» (Э. А. Макаев, Архаизмы и инновации в ведическом, «Языки Индии, Пакистана Непала и Цейлона», М., 1968, стр. 398) или же трактовку истории финно-угорского склонения с учетом неоднократных смен падежных систем (ИММЯ, стр. 32).

серии. (Серией финно-угроведы и картвелисты называют группу падежей, с формальной стороны характеризующуюся тем, что в составе всех падежных форм данной серии вычленяется специфический форматив, через посредство которого присоединяются показатели любого падежа этой серии.)

1. Зачатки первой из таких «серий» в тюркских языках можно видеть в склонении, главным образом, местоимений по локативным падежам: показатели этих падежей наращивались к форме род. (вин.) падежа [8], или скорее к «генитивоподобной» основе (термин Д. В. Бубриха; он приемлем здесь уже и потому, что род. падеж в подобных случаях служит не для выражения определенных отношений, а является всего лишь средством формальной связи). Такую возможность тюркского генитива «служить первичной формой для новых падежных образований» [9] в принципе допустимо рассматривать в связи с его способностью участвовать в аффиксальном комплексе иного назначения (*-ніңкі*).

Сложные падежные формы личных местоимений, еще не подвергшиеся морфологическому опрощению, встречаются уже в языке орхоно-енисейских рунических надписей (для местоимения 1-го лица мн. числа в дат. и местно-исх. падежах: *бизиңэ*, *бизинтэ* [10]); наибольшее распространение такие формы получили в памятниках древнеуйгурского языка. Однако даже и при таком ограничении эти сложные формы были далеки от абсолютной регулярности: на основе род. падежа только исх. падеж образовывался от любого из личных местоимений, в то время как производство таким способом местн. и дат. падежей не отмечается для местоимений 1-го лица и 3-го лица ед. числа. Кроме того, сложные падежные формы в парадигме склонения личных местоимений существовали всего лишь как вариант, ср.: 1-е лицо ед. числа исх. пад. *мэндін*, *мэніңдін*, *мэнтін*, *мэніңтін*; 2-е лицо ед. числа мест. пад. *сэндä*, *сэнтä*, *сэніңдä* и исх. пад. *сэндін*, *сэнтін*, *сэніңдін*, *сэніңтін*; 3-е лицо ед. числа исх. пад. *андїн*, *антїн*, *анїңдїн*, *анїңтїн*; 1-е лицо мн. числа местн. пад. *біздä*, *бізіндä*, *бізіңтä*, *бізнідä*, исх. пад. *біздін*, *бізнідін*, *бізіңдін*, дат. пад. *бізгä*, *бізіңä*; 2-е лицо мн. числа местн. пад. *сіздä*, *сізіндä*, *сізінтä*, *сізнідä*, исх. пад. *сіздін*, *сізнідін*, *сізіңдін* [11].

Гораздо реже показатель род. (вин.) падежа в его полном виде можно наблюдать в составе форм локативных падежей для имени, снабженного аффиксом принадлежности 3-го лица, например: *йигирми алты йаш-ы-нида* «в свои двадцать шесть лет»; подобные формы использовались наряду с обычными, морфологически опрощенными типа *таң паш-ы-н-да* «на рас-

---

[8] С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М.—Л., 1951, стр. 193. См. также: В. А. Богородицкий, Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками, 2-е изд. Казань, 1953, стр. 168.

[9] Г. И. Рамстедт, Введение в алтайское языкознание, М., 1957 (далее — ВАЯ), стр. 35.

[10] В. М. Насилов усматривает возникновение дополнительного значения в сложной форме *бизинтэ*, которую он переводит как «сравнительно с нашими (нашим войском)», — см. его «Язык орхоно-енисейских памятников», М., 1960 (далее — ОЕП), стр. 35; ср. также стр. 37. Рассматривая формы типа *seni[]din* в современном уйгурском языке, он указывает, что здесь «двойной падеж выражает координацию отношений между предметами...» (В. М. Насилов, Грамматика уйгурского языка, М., 1940, стр. 68). Другие исследователи не отмечают возникновения новых смысловых оттенков в подобных формах.

[11] См.: А. М. Щербак, Грамматический очерк языка тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана, М.—Л., 1961 (далее — ТВТ), стр. 125—126; В. М. Насилов, Древнеуйгурский язык, М., 1963 (далее — ДУ), стр. 41; A. v. Gabain, Alttürkische Grammatik, 2. Auflage, Leipzig, 1950 (далее — ATG), стр. 91—92; M. Räsänen, Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen, Helsinki, 1957, стр. 15; Ч. Джумагулов, Язык сиро-тюркских (несторианских) памятников Киргизии. Автореф. канд. диссерт., Фрунзе, 1969, стр. 22, 23.

свете» [12]. Такие претерпевшие морфологическое опрощение и переразложение формы локативных падежей при посессивном типе именного склонения характерны для большинства тюркских языков, начиная с орхоно-енисейских рунических надписей. Документально зафиксированная «двойственность формальных наращений» не только при местоименном склонении, но и при посессивном типе именного склонения «проливает свет на явление так называемого вставочного *н*, выступающего в группе локативных падежей...» [13].

В то время как опрощенные формы посессивного типа склонения имен прочно укоренились в большинстве тюркских языков, местоименные формы локативных падежей с «генитивоподобной» основой, не затронутой процессами опрощения, не стали доминирующим вариантом в падежной парадигме и впоследствии резко пошли на убыль. В чагатайском подобные формы имеют эпизодический характер (см., например, вариантное использование сочетания род. падежа с так называемым экативом: *menča/meninǧča* «подобно мне», *senča/seninǧča* «подобно тебе» [14]).

Тем не менее, даже и такое, не превратившееся в систему, историческое существование зачатков 1-й серии склонения не прошло бесследно для тюркских языков. Следы сложных падежных форм этой серии сохранились как варианты в местоименном склонении ряда современных языков и диалектов: в уйгурском и его диалектах, в узбекском, киргизском языках, а также в говорах башкирского языка — кизильском, бурзянском, кубалякском и казмашевском. В этих башкирских говорах сохранились почти все ступени развития сложных форм дат.-напр. падежа для личных местоимений ед. числа и для указательных местоимений, исторически эволюционировавших в направлении своего опрощения: 1-е лицо ед. число *миңәңә/миңәгә/миңә*, 2-е лицо ед. число *һиңәңә/һиңәгә/һиңә*, 3-е лицо ед. число *аныңа/аныға (уныға)/ага (уға)* и указательные местоимения *мыныңа/мыныға/быға, шуныңа/шуныға/шуға* [15] (вариантные формы указательных местоимений и восходящего к одному из них местоимения 3-го лица, возможно, соединили в себе черты разных типов тюркского склонения).

В современном чувашском языке, где более или менее регулярное «вторичное» склонение (1-я серия) существует исключительно для местоимений личных (1 и 2-го лиц. мн. числа), указательных и определительных, а «в группе существительных имеются только элементы вторичного склонения», от род. падежа, тем не менее, образуются не одни лишь местоименные, но и многие падежные формы имен, прежде всего, при посессивном типе склонения имен — на основе род. падежа образуются формы местн. и исх. падежей при склонении имен с аффиксами 2 или 3-го лица: *уру* «твоя нога», род. над. *уру-н*, местн. над. *уру-н-та*, исх. над. *уру-н-тан*, *ури* «его нога», род. над. *ури-н*, местн. над. *ури-н-че*, исх. над. *ури-н-чен* [16]. В якутском языке при посессивном типе склонения имен местн.

---

[12] Ч. Джумагулов, указ. соч., стр. 22.

[13] ТВТ, стр. 91; см. также: А. Н. Кононов, Родословная туркмен, М.—Л., 1958, стр. 136; его же, Грамматика современного узбекского литературного языка, М.—Л., 1960, стр. 174. Относительно иной точки зрения на происхождение «вставочного *н*» в посессивном типе склонения см. ниже.

[14] J. Eckmann, Chagatay manual, The Hague, 1966, стр. 112.

[15] «Башкирская диалектология», Уфа, 1963, стр. 45, 100, 167; «Башкирский диалектологический сборник», Уфа, 1959 (далее — БДС), стр. 101.

[16] А. И. Иванов, Склонение и его роль в чувашском языке, «Уч. зап. НИИ при СовМине Чувашск. АССР», XXXIV — Филология, Чебоксары, 1967 (далее — СЧЯ 1), стр. 77, 82, 83, 87; там же, XXXIX — Филология, 1969 (далее — СЧЯ 2), стр. 123, 114, 116, 119; ЯН СССР, II, стр. 51; Ф. Г. Исхаков, Местоимения, ИСГТЯ, II, стр. 216; Н. И. Ашмарин, Материалы для исследования чувашского языка, Казань, 1898, стр. 124.

падеж также присоединяется «не прямо, а к форме род.-вин. падежа на *-ын*» (это вскрывается путем историко-этимологического анализа: *-ына* < *-ынна* < *-ын* + *да*) (КП, стр. 53—54).

При «безличном» склонении имен в чувашском непарадигматизованное присоединение аффикса, например, дат.-вин. падежа к форме род. падежа «существительных, обозначающих предметы, которые могут обладать чем-либо», чревато возникновением дополнительных, близких к словообразовательным значений: *шкулăнне* «тому, что принадлежит школе» (СЧЯ 1 — стр. 82; 2 — стр. 117); сходное значение имеет «двойной падеж» подобной же структуры в монгольских языках — калмыцком, бурятском и др., а из финно-угорских языков — в мордовских (ИММЯ, стр. 50). Для выражения подобного значения в других тюркских языках к форме род. падежа обычно наращивается словообразовательный формант *-ки*, а затем уже присоединяется показатель соответствующего падежа.

Развитие тюркских субстантивно-притяжательных образований на *-ниңки*, которые обнаруживают материальную и типологическую близость к монгольским и тунгусо-маньчжурским предикативно-притяжательным формам на *-(ни)нги*, вело к расширению функций подобных образований — вплоть до случаев упрощенного приравнивания их по функции к формам род. падежа [17] (в трухменском, ср. также в тунгусских языках [18]), а иногда и введения их в падежную парадигму на правах варианта обычной, «простой» формы род. падежа (в саларском, в языке западносибирских татар) [19]. Все это в конечном счете обусловило для отдельных тюркских языков, главным образом, восточного ареала разрозненные проникновения этих образований в падежное склонение наметившейся в контурах 1-й серии; случаи таких проникновений можно рассматривать как зачатки усложненной 1-й серии.

Так, в языке желтых уйгуров, система склонения в котором имеет «северный („сибирский") характер», в вариантных формах исходного падежа личных местоимений ед. числа и имен, снабженных показателями принадлежности, явственно вычленяется основа — образование на *-ниңки*; например: *меныңкы-дін* «от меня», *сеныңкы-дін* «от тебя», *гоныңкы-дан* «от него», *ынысы-ныңкі-дін* «от своего младшего брата» [20]. В языке западносибирских татар род. падеж посессивных форм имени строится на прибавлении его показателя *-нең* к основе, предварительно усложненной комбинацией аффиксов *-неңке*: *инәсә-неңкә-нәң көйләгән* «платье (вин. пад.) ее матери». В байкибашевском и чистайском говорах татарского

---

[17] Такое приравнивание могло оддерживаться расширением функционального диапазона самого род. падежа. Расширение функционального диапазона род. падежа может быть проиллюстрировано не только примерами из чувашского или из монгольских языков. Сошлемся также на описанные Н. П. Дыренковой случаи употребления в шорском языке род. падежа личных местоимений типа *менийи*, *сенийи* в функции имеющихся там самостоятельных притяжательных местоимений. Род. падеж личных местоимений субстантивировался настолько, что «аффикс мн. числа присоединяется к притяжат. [т. е. род. — *Г. Б.*] падежу этих местоимений, например: *пистинънер* „наши", *силердинънер* ~ *слердинънер* „ваши", *ылардынънар* ~ *лардынънар* „их" („ихние")» (Н. П. Дыренкова, Грамматика шорского языка, М.— Л., 1941, стр. 85).

[18] С. Куренов, Некоторые морфологические особенности говора туркмен Северного Кавказа (Ставрополья), «Известия АН Туркм.ССР», 1959, 3, стр. 60 (на туркм. яз.); ср.: О. П. Суник, О посессивных аффиксах и родительном падеже в тунгусо-маньчжурских языках, сб. «Язык и мышление», XI, М.— Л., 1948, стр. 286.

[19] Э. Р. Тенишев. Строй саларского языка. Докт. диссерт., М., 1969, стр. 156—157, 163; его же, Саларский язык, М., 1963, стр. 19—20, 25, 26; Д. Г. Тумашева, Көнбатыш Себер татарлары теле, [Казан], 1961, стр. 38, 61; Г. Х. Ахатов, Диалект западносибирских татар, Уфа, 1963, стр. 158, 159.

[20] Э. Р. Тенишев, Язык желтых уйгуров, в кн.: Э. Р. Тенишев, Б. Х. Тодаева, Язык желтых уйгуров, М., 1966, стр. 20, 23.

языка форма на *-не(ң)ке* выявляется в качестве основы для так называемого экатива: *без-некен-цэ* «по-нашему», *минекен-цэ* «по-моему» [21].

В совокупности рассмотренные случаи участия образований на *-ҥиңки* в усложнении отдельных падежных форм могут служить подтверждением трактовки якутских местоимений 1-го лица мн. числа *биһиги* (*bisigi*) «мы» и *эһиги* (*esigi*) как форм, исторически построенных на основе субстантивно-притяжательных образований на *-(н)и(ң)ки* [22], которые в самостоятельном виде не сохранились в якутском языке. Тем не менее, возможно, именно здесь эти образования глубоко проникли в парадигму склонения местоимений 1 и 2-го лиц ед. и мн. чисел, например: осн. пад. *мин* «я», вин. пад. *миигин*, исх. пад. *миигиттэн*, твор. пад. *миигинэн*, совм. пад. *миигинниин*, сравн. пад. *миигиннээҕэр*; такая возможность тем вероятнее, что исторически комбинированный характер подобных падежных форм очевиден [23].

Таким образом, в зачатках тюркской усложненной 1-й серии представлено усложнение за счет не только однородных падежных аффиксов, но и разнородных, т. е. словообразовательного форманта *-ки* в составе сложного показателя *-ҥиңки*. Заметим, что словообразовательный формант *-ки* и в чистом виде способен служить средством включения в падежную парадигму: при склонении якутского местоимения *били* «тот, о ком шла речь», «падежные аффиксы может принимать производное от него прилагательное с аффиксом *-ги*: *билиги — билигини*, *билигиттэн* и др.» (СЯЯ, стр. 159). Участие словообразовательных показателей как основы склонения при построении падежной парадигмы ретроспективно выявляется в ряде финно-угорских языков, а также в юкагирском [24].

2. В тюркских языках можно выделить также разрозненные и нерегулярные зачатки е щ е о д н о й с е р и и, основанные на комбинировании показателей локативных падежей. Способность местн. и исх. падежей служить основой для наращения показателей других локативных падежей может быть поставлена в связь с их способностью участвовать в аффиксальных комплексах словообразовательного назначения (*-да-кі*; *-дін-кі — күн-дүн-кі* «южный», т. е. «находящийся от солнца», *таҕ-дін-кі* «северный», примеры сообщены А. М. Щербаком). Уже в языке орхоно-енисейских рунических памятников отмечены местоименные формы с двойным аффиксом местн. падежа (*антада*); в древнеуйгурской парадигме склонения местоимений 1 и 2-го лиц ед. числа и указательных местоимений такие формы выступали в качестве варианта (ср. *mintä* и *mintädä*, *sintä* и *sintädä* — ATG, стр. 91—92). Изредка встречались непарадигматизованные комбинации показателей местн. и исх. (*мун-та-дан* «отсюда») или местн. и дат.- напр. падежей, причем такие комбинации отмечены и в именных (не посессивных!) падежных формах — *таң-та-ка тэ̄гі* «до завтра», *ara-da-dïn* (как эквивалент араб. *az miyān*) [25]. В современных язы-

[21] «Материалы по татарской диалектологии», 2, Казань, 1962, стр. 76, 183.

[22] С. В. Я с т р е м с к и й, Падежные суффиксы в якутском языке, Иркутск, 1898, стр. 24; W. R a d l o f f, Die jakutische Sprache in ihrem Verhältnisse zu den Türksprachen, СПб., 1908, стр. 33; Л. Н. Х а р и т о н о в, Современный якутский язык, ч. 1, Якутск, 1947 (далее — СЯЯ), стр. 155.

[23] См.: С. В. Я с т р е м с к и й, указ. соч., стр. 18, 26 и сл.; W. R a d l o f f, Die alttürkische Inschriften der Mongolei, СПб., 1897, стр. 77; ср. СЯЯ, стр. 157, 159. Е. И. У б р я т о в а (ЯН СССР, II, стр. 409) разлагает только аффикс сравн. падежа— «*-таабар* < *-таҕ* + *-рак*».

[24] См.: Д. В. Б у б р и х, К вопросу об отношениях между самоедскими и финно-угорскими языками, ИАН ОЛЯ, 1948, 6, стр. 514; В. И. Л ы т к и н, Примечания к кн.: Д. В. Б у б р и х, Историческая морфология финского языка, М.— Л., 1955 (далее — ИМФЯ), стр. 8; ОЛУ, стр. 21; Е. А. К р е й н о в и ч, Юкагирский язык, М.— Л., 1958, стр. 67.

[25] TBT, стр. 82, 91; C. B r o c k e l m a n n, Osttürkishe Grammatik der islamischen Litteratursprache Mittelasiens, Leiden, 1951—1954, стр. 156.

ках и диалектах из такого типа комбинаций, остающихся за пределами падежной парадигмы, отметим следующие. В чувашском языке непосредственно к форме местн. падежа отдельных имен (а иногда — через посредство аффикса *-рах*) могут присоединяться аффиксы твор. и местн. падежей, аффикс направления (Directiv по Бенцингу) *-лла* (СЧЯ 1, стр. 89, 90; 2 — стр. 120, 121). В якутском говоре Эгинского наслега в одном местоименном образовании отмечено наращение аффикса сравн. падежа на архаический показатель местн. падежа, в самостоятельном виде не сохранившийся в этом языке: *манна-таа-ҕар* «чем это» (ср. лит. *маннаҕар*) [26].

Сочетания падежных аффиксов на базе исходного падежа с самого начала имели окказиональный, но никак не регулярный характер. Не раз отмечавшиеся в языке памятников древнетюркской письменности формы типа *taš-dyn-dyn* «извне», *oγuz-dan-dan* «от огузов» нередко истолковываются как случаи присоединения «двойных окончаний» [27]. Такая трактовка поддерживается фактами некоторых современных языков. В кумыкском, например, в отдельных словоформах возможно плеонастическое употребление разных вариантов аффикса исх. падежа — Н. К. Дмитриев отметил форму *ердентин* «с земли», «не задевая земли» [28]. Такое же употребление исх. падежа возможно и в чувашском; кроме того, к форме этого падежа для отдельных имен могут присоединяться показатели дат.-вин. падежа (при этом привносится новый смысловой оттенок: *килтен-не килтен пуль те-ха* «из дома-то он, очевидно, из дома») или твор. падежа (*ачаранпа* «с детства»), а по Й. Бенцингу — еще и показатели initivi и темпоралиса [29].

На протяжении исторического развития тюркских языков комбинационными возможностями, вероятно, обладал и дат.- напр. падеж. В древнетюркских рунических надписях В. В. Радлов отметил именную форму, снабженную показателем принадлежности, с двумя подряд аффиксами дат.- напр. падежа: *кунчуjум-ҕа-ка* [30]. По-видимому, это аффиксальное удвоение может быть сопоставлено с якутским показателем дат. падежа *-иэхэ* для личных местоимений в его возможном развитии — «собственно показателем дат. падежа здесь является элемент *-хэ*, который часто усиливается еще аффиксом *-ҕэ* (*миэхэҕэ*, *эйиэхэҕэ*, *биһиэхэҕэ* и т. д.)» (СЯЯ, стр. 157). Чувашский напр. падеж с аффиксом *-а-лла* (*-е-лле*) считается вторичным падежом, образованным от дат.- вин. падежа (например: *вăрманалла* «по направлению к лесу»); отдельные чувашские имена допускают присоединение аффикса лишительного падежа к дат.- вин. падежу; по мнению Й. Бенцинга, на основе дат. падежа исторически был образован ряд чувашских падежей (локатив, аблатив, адвербиалис, терминалис, темпоралис, орудный) [31]. В чагатайском показатель так называемого предельного падежа (термин А. М. Щербака) разлагается на форманты: дат. пад.- *ҕа* + экатив *-ча*; форма на *-гача*, не разложимая с точки зрения современного восприятия, употребительна в узбекском языке.

[26] П. С. Афанасьев, Говор верхоянских якутов, Якутск, 1965, стр. 140.

[27] См. например: M. Räsänen, указ. соч., стр. 62; ср.: В. Г. Кондратьев, Формы и значения падежей в языке памятников тюркской рунической письменности, «Вопросы грамматики языков стран Азии», [Л.], 1964, стр. 82. Г. И. Рамстедт (ВАЯ, стр. 43) форму *oγuzdandan* возводит к *oγuzdañan* < *oγuzdajan*, где *jan* «сторона».

[28] Н. К. Дмитриев, Грамматика кумыкского языка, М.— Л., 1940, стр. 57.

[29] См.: СЧЯ 1 — стр. 89, 20; 2 — стр. 117, 121; J. Benzing, Tschuwaschische Forschungen (IV), ZDMG, 96 (N. F. 21), Hf. 3, 1942, стр. 453.

[30] W. Radloff, Die alttürkische Inschriften der Mongolei, СПб., 1897, стр. 81; его же, Alttürkische Studien, V, St.-Pb., 1911 (отд. отт. из «Изв. имп. Акад. наук»), стр. 433.

[31] См.: СЧЯ 2 — стр. 123, 1 — стр. 86, 87; J. Benzing, указ. соч., стр. 452, 453; Н. И. Ашмарин, указ. соч., стр. 129—130 («склонение вакоснелых косвенных падежей»).

Напр. падеж (Direktiv) на *-ҕару/-гэрү*, *-қару/-кэрү*, столь характерный для языка орхоно-енисейских памятников (см.: ОЕП, стр. 28; ДУ, стр. 35), имел аффикс, составленный из показателей дат. падежа *-ҕа* и локативно-напр. падежа *-ру/-рү*[32]. Форма на *-ҕару* уже «в древнеуйгурских буддийско-манихейских текстах почти отсутствует как форма склонения и лишь в наречиях выступает как словообразовательный аффикс»[33]. Несмотря на это, историческая форма на *-ҕару* в опрощенном виде (это опрощение, по Н. Х. Ишбулатову, «прошло такие ступени: *-қару/-кэрү* > *-қары/-кэре* > *-қар/-кэр* > *-ар/-әр*» — БДС, стр. 130) довольно глубоко — правда, на правах варианта, притом не одинаково регулярного,— внедрилась в местоименное склонение (локативные падежи) кыпчакского, «сибирского» диалектного типа. Именно эта форма вычленяется путем анализа в алт., хакас. *анāртуп* «оттуда», *тупартуп* «отсюда», в башк. диалектн. *моңарга* (ср. *моңа*) «этому», *аңарга* (ср. *аңа*) «тому, ему», в татар. диалектн. *миңәргә* (ср. *миңә*) «мне», *сиңәргә* (ср. *сиңә*) «тебе», *миңәрдә* «у меня», *сиңәрдә* «у тебя», *миңәрдән* «от меня», *сиңәрдән* «от тебя»[34]. В камско-устьинском подговоре татарского языка подобные аффиксальные комбинации выявляются в формах дат.- напр. падежа посессивного типа (только для ед. числа!) склонения имен — имена с аффиксами принадлежности 1 и 2-го лиц ед. числа получают сложный аффикс *-арга/-әргә*, имена с аффиксом принадлежности 3-го лица — аффикс *-нарга/-нәргә*[35].

Гораздо более индивидуальны различные тюркские языки в непарадигматизованных комбинациях падежных аффиксов, в основе которых лежат так называемые «молодые» падежи. В чувашском языке для отдельных имен возможны, например, соединения показателей причинно-целевого и дат.- вин., лишительного и дат.- вин. падежей (СЧЯ 2, стр. 117). В есейском говоре якутского языка, для которого вообще «характерно широкое употребление двойных падежей», возможны окказиональные сочетания двух падежных аффиксов — «имена в форме совместного падежа на *-лыын* могут принимать дополнительно другие падежные аффиксы» (*тонгустар-дыын-тан кэлэн* «приезжие от эвенков»)[36].

Примечательно, что зачатки 2, как и 1-й серии склонения, обнаруживают точно такое же стремление к усложнению. При схожести материальных средств такого усложнения (в качестве компонента в нем принимает участие тот же словообразовательный формант *-ки*) есть и различия в части распространенности такого явления по диалектам и в части лексического охвата склоняемых таким образом единиц. Рассматриваемый способ усложнения пока наблюдался только в диалектах туркменского языка — в човдурском, салырском и ахалском. Только лишь указательные местоимения вводятся здесь в падежную парадигму посредством сложного аффикса *-дәки*, составленного из разнородных элементов — показателя местного падежа *-да* и словообразовательного форманта *-ки*, например; *бу-дәки* «этот», *шу-дәки* «этот», *ө-дәки* «тот», в ахалском *бу-ту-ки* «этот»,

[32] W. Radloff, Die jakutische Sprache..., стр. 32; В. Котвич, Исследование по алтайским языкам, М., 1962 (далее — ИАЯ), стр. 182. Г. И. Рамстедт (ВАЯ, стр. 46) отмечал, что аффиксы *-ya-ru* соединяются «в тюркском в обратном порядке» по сравнению с корейским, где имеем «*-ru* + окончание дат. падежа».

[33] ДУ, стр. 35. В «Покаянной молитве манихейцев», однако, отмечена форма *bizi-ŋärü* «к нам», где падежный аффикс *-gärü* присоединяется к личному местоимению через посредство род. падежа (С. Е. Малов, указ. соч., стр. 127); см. также *сізіңгäрӱ* «вам» (ТВТ, стр. 84).

[34] См.: M. Räsänen, указ. соч., стр. 33; Ф. Г. Исхаков, Местоимения, стр. 260; БДС, стр. 144; «Материалы по татарской диалектологии», 2, стр. 68, 180.

[35] Л. З. Залялетдинов, Средний диалект татарского языка, Казань, 1954 (на татар. яз.).

[36] М. С. Воронкин, Есейский говор якутского языка. Автореф. канд. диссерт., Баку, 1966, стр. 16.

род. пад. *бүтүкиниң*, дат. пад. *бүтүкә*, вин. пад. *бүтүкини*, местн. пад. *бүтүкидә*, исх. пад. *бүтүкидән* [37].

Большая часть собранных здесь тюркских сложных падежных форм, если даже и вводилась в падежную парадигму, то все же никогда не возвышалась до «нормы» с доминирующим употреблением в тот или иной период истории тюркских языков. В лучшем случае это был вариант, возникновением и существованием которого сопровождалось развитие тюркской падежной системы (точнее: ее части — локативных падежей) на определенном этапе. Чаще всего такой вариант имел целый ряд ограничений. Прежде всего, сочетания падежных аффиксов, пока еще не подвергшиеся морфологическому опрощению и переразложению, затрагивали область только местоименного склонения и посессивного типа склонения имен. Но и здесь сложные падежные варианты не были достаточно регулярными. В древнеуйгурском языке, например, для местн. падежа местоимений 1, 2 и 3-го лиц. ед. числа использовались (наряду с обычной, простой формой типа *mintä*, *sizdä*) плеонастические варианты *mintädä*, *sintädä* и даже *antadata*, а для тех же местоимений мн. числа употреблялись варианты иной серии — *bizintä/biznidä*, *sizintä/siznidä* [т. е. аффикс род. (вин.) падежа + аффикс местн. падежа]; в то же время сложная форма исх. падежа была одинакова для личных местоимений и ед. и мн. чисел — *minitin*, *sinitin*, *anïŋtïn/antïn*, *biznidin*, *siznidin* (ATG, стр. 91—94).

Все еще продолжая переживать в отдельных своих деталях по разным тюркским языкам эпизодические возвраты к усложнению, тюркская падежная система на продолжении многих веков в целом развивается «в направлении количественного сокращения падежей» (КП, стр. 61). В таких условиях естественно, что «рефлексы» аффиксальных комплексов (падежных по своему происхождению) в различных современных тюркских языках имеют чрезвычайно разрозненный, далеко не единообразный и, конечно, совершенно нерегулярный характер, смыкаясь лишь в том, что эти комплексы, чаще всего — застывшие, подвергшиеся морфологическому опрощению и переразложению и выделяемые только лингвистическим анализом, наблюдаются в местоименном склонении и в посессивном типе склонения имен. По-видимому, наибольшую близость к тому «переходному» состоянию тюркского склонения, которое зафиксировано, в частности, памятниками древнеуйгурской письменности, обнаруживает современная чувашская падежная система, которую А. И. Иванов характеризует как «ступенчатую, отражающую разные ступени развития склонения» (СЧЯ 1 — стр. 91); однако и здесь ограничения, налагаемые на усложнения падежных аффиксов, прогрессируют: уже не все личные местоимения склоняются на основе род. падежа, а только местоимения 1 и 2-го лиц. мн. числа и притом сложная форма употребляется наряду с простой (*пир-ён-те* и *пир-те* «у нас», *сир-ён-тен* и *сир-тен* «от вас»), и, если не считать посессивного типа склонения имен, «в группе существительных имеются только элементы вторичного склонения: присоединение к какой-нибудь падежной форме аффиксов одного — двух падежей» (СЧЯ 1 — стр. 88; 2 — стр. 123).

Рассмотренные выше факты позволяют внести поправку в утверждение В. Котвича о том, что «в современных тюркских языках исследователи не установили факт существования двойного склонения, и действительно,

[37] Х. А. Машаков, Човдурский диалект туркменского языка, Ашхабад, 1949, стр. 27; М. Атаджанов, Салырский диалект туркменского языка. Автореф. канд. диссерт., Ашхабад, 1959, стр. 11. Ахалские формы приводятся по материалам Х. Байлыева (см.: Ф. Д. Ашнин, Указательные местоимения и их производные в азербайджанском, турецком и туркменском языках. Канд. диссерт., М., 1956, стр. 90, 98).

в настоящее время о следах его существования можно говорить лишь в том случае, если рассматривать окончание *-ɬayïn* как элемент, состоящий из суффиксов сравнительного (*-ɬaɻ*) и творительного (*-ïn*) падежей»; вряд ли можно теперь рассматривать чувашский язык как «стоящий в этом смысле в стороне»; в то же время подтвердилась догадка ученого о том, «что раньше было иначе» (ИАЯ, стр. 182, 183).

Если учесть все вышеизложенное, не кажутся достаточно обоснованными категорические утверждения, как, например: «Попытка в некоторых учебниках видеть здесь [т. е. в посессивном типе именного склонения.— *Г. Б.*] двойное склонение, где *н* якобы остаток аффикса родительного падежа, ... конечно, несостоятельна» [38]. Предложенная Н. К. Дмитриевым гипотеза «для объяснения аффикса *-ын*, параллельного аффиксу *-ы* в значении „его“ или „ее“», основана на допущении, что «аффикс принадлежности 3-го лица существовал первоначально в форме *-ын* и т. д. параллельно с *-сын*», где конечный *-н* был фонетически неустойчивым — в большинстве тюркских языков в одних позициях он отпадал (в основном падеже, «когда после аффикса принадлежности других аффиксов не было»), а в других — сохранялся («когда аффикс принадлежности был „прикрыт“ падежными аффиксами») [39]. Таким образом, Н. К. Дмитриев исходил из того состояния посессивного типа склонения, которое сложилось после морфологического переразложения основы и сопровождавшего его опрощения показателя род. (вин.) падежа, относимого теперь в состав посессивной основы склонения. Именно поэтому явно комбинированный характер древнетюркских падежных форм личных местоимений, не претерпевших морфологического опрощения, не поддается объяснению с точки зрения этой гипотезы: формы типа *бизинтэ* сторонниками этой гипотезы либо трактуются как «соединение местоимения *биз* с аффиксом принадлежности и аффиксом местно-исходного падежа», либо — в древнеуйгурском, где такие формы на правах варианта уже вошли в падежную парадигму личных и указательных местоимений,— обходятся молчанием (ОЕП, стр. 35; ДУ, стр. 41, 42).

Между тем, склонение личных и указательных местоимений (несмотря на специфику эволюции местоимений) и посессивный тип именного склонения исторически обнаруживали в тюркских языках ряд общих черт [40],

[38] Н. К. Дмитриев, Категория принадлежности, ИСГТЯ, II, стр. 33. К «двойному склонению», как и к любым другим сочетаниям аффиксов той же грамматической категории словоизменения в пределах одной словоформы, Н. К. Дмитриев относился скептически (см. его «Грамматику башкирского языка», М.— Л., 1948, стр. 184). Во всяком случае, отмечая в кумыкском явно плеонастическую форму исх. падежа «*ерденгин* „с земли“, „не задевая земли“, где исходный падеж выражен два раза: новым аффиксом *-ден* и архаичным *-тин* одновременно», он подчеркивал, что аффикс *-тин* здесь «функционирует как своего рода послелог» (Н. К. Дмитриев, Грамматика кумыкского языка, стр. 57).

[39] Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, стр. 65; его же, Категория принадлежности, стр. 33. В. М. Насилов (ОЕП, стр. 33), отмечая, что «правильность гипотезы относительно полной формы аффикса принадлежности (*-сын/-син*, *-ын/-ин*), видимо, подтверждается», сообщает далее, что «в текстах имеется достаточное количество примеров на данную форму». Однако, как явствует из приводимых им примеров и его собственного комментария к ним («Особенно отчетливо полная форма видна в косвенных падежах, где аффикс принадлежности перед аффиксом падежа не утрачивает своего конечного *-н*», — ОЕП, стр. 33, ср. стр. 32), речь идет о случаях, допускающих двоякую трактовку.

[40] Ср., например, замечание Н. К. Дмитриева о том, что на «смешанный тип склонения, который присущ кумыкским формам принадлежности», «оказал влияние особый тип склонения местоимений (личных и указательных)» («Грамматика кумыкского языка», стр. 66). В якутском показатель вин. падежа для посессивного типа склонения *-ын* (ср.-*ы*, *-ны* для «безличного склонения») можно вычленить в формах вин. падежа местоимений 1-го лица ед. числа *миигин* и 2-го лица ед. числа *эйигин* (см.: ЯН СССР, II, стр. 409, 412). В языке древнетюркской письменности показатель вин. падежа *-(ы) г*, *-(и)г* мог служить для оформления «любых имен, за исключением местоимений и посессивных форм имен» (КП, стр. 53).

среди которых важное место занимала, как это было показано выше, способность к сочетаниям падежных аффиксов [41]. Уже поэтому своеобразие современного посессивного типа именного склонения в большинстве тюркских языков, как и частично зафиксированные документально особенности эволюции местоименного склонения, требуют единообразного объяснения с точки зрения исторического развития тюркского падежного склонения, переживающего на определенных этапах тенденцию к усложнению, которое, однако, не получило своего завершения и дало по разным тюркским языкам свои разрозненные «рефлексы».

Обращение к материалам монгольских и тунгусо-маньчжурских языков показывает, что в отношении возможности сочетать падежные аффиксы и использовать некоторые из таких аффиксальных комплексов в качестве «строительного материала» для усложненной парадигмы склонения тюркские языки отнюдь не занимали и не занимают изолированного положения и могут быть поставлены в один ряд с другими алтайскими языками. Примечательно, что в алтайских языках можно найти в принципе те же две основные строевые модели усложненного склонения, что и в тюркских языках: в одной из этих моделей основой выступает род. падеж («I тип усложнения»), в другой — почти любой локативный падеж («II тип усложнения»).

II. «Двойные падежи» в монгольских языках. Наиболее наглядным образом сочетания однокатегориальных аффиксов в пределах одной словоформы наблюдаются в так называемом двойном склонении имен и местоимений в монгольских языках. Такие сочетания обнаруживаются здесь не только при лингвистическом анализе — они представляют собою живую, своеобразную черту падежного склонения не только в классическом письменном монгольском, но и в современных монгольских языках.

В наиболее полном, «идеальном» виде двойное склонение представлено в калмыцком языке. В этом языке можно выделить три разновидности «серий» двойного склонения: в 1-й серии основой склонения служит форма генитива, в другой (1а) — форма комитатива, в последней (1б) — форма инструменталиса; от формы дат.-местн. падежа образуется только форма исх. падежа [42]. Приведем парадигмы «двойного склонения» в калмыцком (по У. Пошу):

1 серия

Genetiv	*-īn*	Gen.-Abl.	*-ināγās*
Gen.-Akk.	*-īnīg*	Gen.-Komit.	*-īntā*
Gen.-Lok.	*-īnādə*	Gen.-Soziativ	*-īnlā*
Gen.-Inst.	*-inäγar*		

[41] «Рефлексы» этих исторически общих черт двух типов падежной парадигмы частично могут быть обнаружены по разным тюркским языкам. В местоименном склонении ряда тюркских языков и диалектов как вариант показателя дат.-напр. падежа (для ограниченного числа, главным образом, указательных местоимений) сохраняется застывший остаток древней комбинации падежных аффиксов *-ға-ру*, например: кумык. *огъар, бугъар, шугъар, шогъар*, караимск. *анар*. Тот же «аффикс *ғар* с вариантами *-ғэр*,... *-ар*, *-эр*... встречается... в якутском языке при посессивных формах имен» (КП, стр. 50). В якутском также показатель сравн. падежа *-ааҕар* посессивного типа склонения (ср. *-таағар* в «безличном склонении») вычленяется в соответствующих падежных словоформах местоимений 1 и 2-го лиц ед. числа *миигинньэҕэр*, *эйигинньэҕэр*, показатель совместного падежа *-ныын* того же типа склонения (ср. *-лыын* в «безличном склонении») — в соответствующих словоформах тех же личных местоимений *миигинниин*, *эйигинниин* (ср. ЯН СССР, II, стр. 409, 412).

[42] См.: ИАЯ, стр. 182; U. Posch, Das Kalmükische und verwandte Dialekte, «Handbuch der Orientalistik», Abt. I, Bd. V, 2 — Mongolistik, Leiden — Köln, 1964, стр. 217—218; ЯН СССР, V, стр. 40.

1а серия

Komit.	*-tä*	Komit.-Abl.	*-täγās*
Komit.- Gen.	*-tä-gīn*	Komit.-Komit.	*-tätä*
Komit.-Dat. Lok.	*-tädə*	Komit.-Soziativ	*-tälä*
Komit. -Akk.	*-täg*		

1б серия

Instr.	*-är*	Instr.- Instr.	*äräγär*
Instr.-Gen.	*-ärīn*	Instr.- Abl.	*-äräγās*
Instr.- Akk.	*-ärīg*	Instr.-Komit.	*-ärätä*
Instr.- Dat. Lok.	*-äрädə*	Instr.- Soziativ	*-ärlä*

«Двойное склонение» в калмыцком (как и в других монгольских языках) связано с появлением дополнительных корреляций — так, «обычно имена существительные в двойном склонении с основой в род. падеже указывают на местопребывание (дом, семья) лица, а с основой в совместном падеже — на объектно-обстоятельственные отношения» (ЯН СССР, V, стр. 40), т. е. падежная форма в заметной мере утрачивает свое падежное значение, приобретая значение, близкое к словообразовательному [43].

В других монгольских языках и особенно в диалектах формы «двойного склонения» широко распространены, однако они не составляют здесь столь стройных парадигм, как в калмыцком.

1. В современном монгольском языке и бурятском с говорами 1-я серия (или I тип усложнения; основа — род. падеж) обнаруживает ограничения как в своем лексическом охвате, распространяясь только на имена лиц и на личные местоимения, так и в самой возможности для род. падежа сочетаться лишь с отдельными падежами: здесь от «генитивоподобной» основы производятся только осложненные дополнительными корреляциями дат.-мест. и исх. падежи (в хамниганском говоре бурятского языка — еще и орудн. падеж); в ойратском на основе род. падежа производится только исх. падеж, в ордосском диалекте — наряду с дат.- местн. еще и напр. падеж (в хамниганском говоре последний образуется на базе вин. падежа) [44]. Возможно, «добавочный звук *н*», как и «аффикс *-ээн*», через посредство одного из которых к личным местоимениям мн. числа и указательным местоимениям присоединяются показатели парадигматических косвенных падежей в бурятском, также допустимо рассматривать в связи с «генитивоподобными» основами (ср. варианты показателя род. падежа в этом языке: *-ын*, *-иин*, *-н*, *-ай*, *эй*, *-ой*, *-гай*...); еще более явственно связана с «генитивоподобной» основой супплетивная часть склонения бурятского местоимения 1-го лица мн. числа. См.:

им. *бидə* «мы»	орудн. *бидэнээр*, *манаар*
род. *бидэнэй*, *манай*	совм. *бидэнтэй*, *мантай*
дат. *бидэндэ*, *манда*	исх. *бидэнһээ*, *манһаа*
вин. *бидэниие*, *маниие*	напр. *бидэнруу*, *манруу*

(ЯН СССР, V, стр. 24; ГБЯ, стр. 142, см. также стр. 76, 139, 143).

[43] Только в дунсянском языке, на манер тюркских, возникновение таких дополнительных корреляций закрепляется присоединением к «генитивоподобной» основе особого суффикса *-бун*: *аба-ну-бун-сэ* «от принадлежащего отцу» (Б. Х. Тодаева, Дунсянский язык, М., 1961, стр. 22).

[44] Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, I, М., 1953 (далее — СГМ), стр. 177; «Грамматика бурятского языка», М., 1962 (ГБЯ), стр. 91; «Исследование бурятских говоров», 1, Улан-Удэ, 1965 (ИБГ), стр. 135; 2 — 1968, стр. 101; см. также: «Handbuch des Orientalistik» I, V, 2, стр. 128—129, 113; G. J. Ramstedt, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, II — Formenlehre, Helsinki, 1952, стр. 37 и сл.; Н. Н. Поппе, Аларский говор, Л., 1930, стр. 84 и др.

Подсерия 1а (основа — совместный падеж) в современном монгольском и бурятском охватывает падежи дат.- мест., вин. и орудн. [45].

2. Остатки (или зачатки) моделей II типа усложнения склонения, основою в которых служили локативные падежи — местн. или дат., разбросаны по всем монгольским языкам. Показатель собственно дат. падежа *-ду* этимологически вычленяется в сложном по своей природе формативе дат.-местн. падежа *-дур* классического языка (дат. пад. *-ду* + мест. пад. *-р*); точно так же показатель местн. падежа выделяется в формативах орудн. падежа на *-[г]а* + *р* и исх. на *-ā* + *ча* (*-һā* ~ *-сā*) (СГМ, стр. 177, 173, 170). Стоящее за пределами современной падежной парадигмы сочетание дат.-местн. падежа с исх. отмечается в ордосском и ойратских диалектах, в калмыцком и бурятском языках (в последнем — в одной только словоформе *гэр-тэ-һээ* «из дома», см. ГБЯ, стр. 91; ЯН СССР, V, стр. 18); оно было широко распространено также в монгольском классическом языке раннего периода (СГМ, стр. 177). Важную роль дат.- мест. падежа в бурятском супплетивном склонении личного местоимения 1-го лица ед. числа (основа этого падежа активно участвует в образовании почти всех косвенных падежей), вероятно, тоже можно рассматривать как реликт ныне утраченной серии склонения. См. бурятскую парадигму:

им. *би* «я»	орудн. *намаар*
род. *мини*	ссвм. *намтай*
дат.-местн. *намда*	исх. *намһаа* (ГБЯ, стр. 139;
вин. *намай, намайе*	ИБГ, стр. 172, 138—139).

III. Сложные падежные показатели в тунгусо-маньчжурских языках. Пятипадежному склонению маньчжурского языка не свойственно использование аффиксальных комплексов. Тем не менее, в склонении маньчжурских личных местоимений, формы ед. числа которых обнаруживают материальную близость к соответствующим монгольским местоимениям [46], можно отметить строевую черту, сопоставимую с особенностью склонения, например, бурятского местоимения 1-го лица мн. числа: здесь, как и в бурятском, основой косвенных падежей выступает форма род. падежа (т. е. налицо I тип усложнения):

им. *би* «я»	*су(в)э* «вы»
род. *мини*	*су(в)эни*
дат. *миньдэ*	*су(в)эньдэ*
вин. *мимбэ*	*су(в)эмбэ*
исх. *миньци*	*су(в)эньци* [47].

В тунгусских языках, напротив, представлен, в основном, II тип усложнения падежной парадигмы: группа локативных падежей современной тунгусской падежной системы развилась на базе «комбинации ранее уже существовавших первоначальных падежных форм», и современные, например, эвенкийские «падежные формы в большинстве своем представляют собой сросшиеся суффиксы двух и даже трех первоначальных падежей» [48].

Наиболее наглядным образом такие аффиксальные комплексы вычленяются Е. П. Лебедевой — в показателях всех восьми или даже девяти эвенкийских локативных падежей она усматривает сросшиеся сочетания

---

[45] Б. Х. Тодаева, Грамматика современного монгольского языка, М., 1951, стр. 74; ГБЯ, стр. 91.

[46] См. об этом: А. А. Дарбеева, О личных местоимениях 3-го лица в монгольских языках, ВЯ, 1970, 1, стр. 115.

[47] Б. К. Пашков, Маньчжурский язык, М., 1963, стр. 30.

[48] Е. П. Лебедева, Наречия места в эвенкийском языке, М.— Л., 1936 (далее — НМЭ), стр. 40.

одних и тех же пяти первоначальных падежных (главным образом — локативных) суффиксов: «1. *-du*, служащий формой dativi, входит в состав суффикса, оформляющего ablativus, входит в состав суффиксов locativi и prolativi, когда последние употребляются в форме *-dulā* и *-dulī*; 2. элемент *-ki*, который встречается самостоятельно у эвенкийских наречий *soloki* „вверх" (по реке), *əǰəki* „вниз" (по реке), входит в состав ablativi (суффикс которого в полной форме *-duki*), входит в состав allativi (суффикс *-tki* ~ *-tiki*), directivus-locativi (суффикс *-klā*), directivus-prolativi (суффикс *-klī*), в форме elativi чаще встречается в виде *-gi* (суффиксы elativus *-git* ~ *-kīt* ~ *-ŋīt* — *-giǯi* — *-ŋīǯi* ~*-kīǯi*), но после глухих и в виде *-ki*, он же участвует в суффиксе delativi *-lāk* у наречий места; 3. элемент *-lā* находим в форме locativi *-lā*, *-dulā*, в форме directivus-locativi *-klā*, *-duklā*, в форме delativi *-lak*; 4. элемент *-lī* является суффиксом prolativi, участвует в форме directivus-prolativi *-klī*; 5. элемент *-ti* ~ *-ǯi* мы имеем в ablativi (*-tiki*) и elativi (*-gīt* ~ *- giǯ*). Элемент *-ti* ~ *-t* ~ *-ǯi*, по-видимому, полностью совпадает с формой instrumentalis» (НМЭ, стр. 38).

В остальных тунгусских языках — как сибирской (эвенский, негидальский), так и амурской подгруппы (нанайский, ульчский, орокский, орочский, удэгейский) также на базе дат. падежа с показателем *-ду/-дӯ* (в орокском — это местный I падеж) исторически была образована целая группа локативных падежей: местн. падеж на *-дӯ-ла/-ду-лэ* во всех этих языках, продольный падеж на *-ду-ли/-ду-лы* (ЯН СССР, V, стр. 73, 93, 113, 134, 155, 176, 196, 215), отложит. падеж на *-ду-ккай* в негидальском, исх. падеж на *-ду-ки* в орокском, отложит, падеж на *-дуги/-дӯгі* в удэгейском (ЯН СССР, V, стр. 113, 176, 215). Кроме того, в эвенском, как и в эвенкийском, показатели напр.- местн. и напр. -продольного падежей представляют собой сращения соответственно *-ӄ-ла* и *-ӄ-лы* (ЯН СССР, V, стр. 93). В нанайском и ульчском исх. падеже можно обнаружить историческое нанизывание двух показателей твор. падежа — нанайск. *ди-а-ди/-ди-э-ди* (твор. пад.*-ди*), ульч.*-ǯі-ǯі/-ǯи-ǯи* (твор. пад. *-ǯі/-ǯи*) (ЯН СССР, V, стр. 134, 155).

Следует особо заметить, что сросшиеся сложные падежные суффиксы в тунгусских падежных парадигмах обладают неодинаковой степенью регулярности. Сложные показатели отложит. падежа *-ду-к*, напр.- местн.падежа *-к-ла*, исх. падежа *-ки-т*, напр. падежа *-т(ы)-ки присоединяются к любой* основе имен существительных. В то же время на употребление аналогичных по своему строению показателей местн. падежа *-ду-лā*, продольного падежа *-ду-лӣ* и некоторых других наложены ограничения фонетического порядка.

В тунгусских языках изредка наблюдаются и непарадигматизованные сочетания живых падежных аффиксов — так, в говоре полигусовских эвенков Байкитского района Эвенкийского нац. округа «к существительному в совместном падеже может присоединяться суффикс другого падежа»[49].

IV. Уральские «вторичные» падежи. Исторически вскрываемая возможность комбинировать падежные аффиксы внутри одной словоформы и ее современные «рефлексы» объединяют тюркские языки не только с алтайскими, но и с уральскими языками. Уральские «первичные» падежи, по признанию исследователей, явились тем фундаментом, на котором позднее

[49] См.: О. А. Константинова, Категория имени существительного, «Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена]», 111, 1955, стр. 156. Ср. также: ИАЯ, стр. 183; H. Winkler, Die altaische Völker- und Sprachwelt, Leipzig — Berlin, 1921, стр. 52; G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 34; Н. Н. Поппе, Материалы для исследования тунгусского языка, стр. 6; его же, Материалы по солонскому языку, стр. 113, 114.

развились «вторичные» падежи — в показателях таких падежей при помощи метода расчленения формантов усматриваются застывшие аффиксальные комплексы; в частности, «падежная система пермских языков долгое время развивалась путем контаминации различных падежных окончаний, в результате чего создавались комплексы падежных окончаний» (ИМПЯ, стр. 31). Происходили также переразложения, отодвигавшие один из сочетавшихся суффиксов в состав основы. В то же время до сих пор в отдельных уральских языках возможны свободные, непарадигматизованные сочетания живых падежных суффиксов.

1. В финно-угорских языках пути сложения вторичных падежных форм, как это отмечал Д. В. Бубрих, были самыми различными (ИМФЯ, стр. 25).

А. В прибалтийско-финских и волжских языках немаловажной была, по-видимому, в этом роль генитива (I тип усложнения). В карельском языке генитив обнаруживается в основе форм таких падежей, как апроксиматив, эгрессив, комитатив в ед. и мн. числах [например, *hammaš* «зуб», ген. ед. *hambahan*, комит. ед. *hambahanke(na)*, ген. мн. *hambahin*, комит. мн. *hambahinke(na)*] [50]. В эстонском «на основе генитива мн. числа (имеющего признак *-de*, *-te* или *-e*.— *Г. Б.*) образуются все формы мн. числа, начиная с иллатива, например, *jalgade* [ген.], *jalgade-sse* [илл.], *jalgade-s* [инесс.], *jalgade-ta* и др.» при номинативе мн. числа *jala-d* «но́ги» (ЯН СССР, III, стр. 43). В водском языке к форме генитива присоединяется аффикс комитатива (например, во мн. числе: *mā-D* «зе́мли», ген. *mad'd'ē*, комит. *mad'd'ē-kā*), а показатель терминатива *-ssā* — к форме иллатива (илл. *ma-i-sē̆*, терм. *ma-i-sē̆-ssa*) (ЯН СССР, III, стр. 122).

В мордовских языках форму генитива можно усмотреть в основе датива (*сёрма* «письмо», ген. мокш. и эрз. *сёрма-нь*, дат. эрз. *сёрма-н-ень*) и каузатива (мокш. *сёрма-н-кса*, ср. транслатив мокш. и эрз. *сёрма-кс*) (ЯН СССР, III, стр. 173).

В пермских языках такой способ образования форм косвенных падежей представлен только в склонении личных местоимений 1 и 2-го лиц мн. числа, причем довольно неравномерно по отдельным языкам и говорам. В литературном коми языке, основанном на присыктывкарском говоре, все формы косвенных падежей местоимений *mi* «мы» и *ti* «вы» закономерно образованы от форм род. падежа *mijan* и *tijan*»: дат. над. *mijan-ly* «нам», *tijan-ly* «вам»; вин. над. *mijan-ōs* «нас», *tijan-ōs* «вас»; соед. над. *mijan-kōd* «с нами», *tijan-kōd* «с вами», отдалит. над. *mijan-śań* «от нас», *tijan-śań* «от вас»; в удорском, ижемском, вымском говоре коми-зырянского наречия и в удмуртском языке подобным образом произведенные формы косвенных падежей употребляются наряду с формами тех же падежей, образованными от неосложненных основ *mi* и *ti* (ИМПЯ, стр. 198, 196).

Из обско-угорских языков в мансийском для личных местоимений формы вин. падежа *an-um* «меня», *naŋ-əп* «тебя», *tav-e* «его» служат основой для образования всех форм косвенных падежей; так, дат. падеж «образуется путем присоединения к форме вин. падежа суффикса дат.- напр. падежа *-n*, *-ne*, например, *anum-n* „мне“, *naŋən-ne* „тебе“, *tave-n* „ему“» (ИМПЯ, стр. 187).

Б. В многопадежных финно-угорских языках основную массу падежей составляют локативные падежи; среди них значителен удельный вес вторичных так называемых «внутреннеместных падежей» и «внешнеместных падежей», чьи показатели представляют собой застывшие сочетания формантов разных локативных падежей (см.: ОЛУ, стр. 63, см. стр. 9—68).

[50] См.: П. А л в р е, О развитии падежных форм генитива мн. числа в карельском языке, «Emakeele seltsi aastaraamat», 12, Tallinn, 1966, стр. 146. См. также: ЯН СССР, III, стр. 66.

Важную роль сыграл, например, *ń*-овый латив в истории ряда вторичных падежей — финских адессива на *-llen* и иллатива на *-hen*, марийских датива на *-лан* и собственно-местного падежа на *-штэ* (<*-снэ); коми-зырянского, коми-пермяцкого и удмуртского приблизит. падежа на *-лан'*; эрзя-мордовского дат. падежа на *-ńeń* [51]. Финские и мордовские внутреннеместные падежи характеризуются общим формантом *-s* (ЯН СССР, III, стр. 20; ср. ИММЯ, стр. 35, 36). Древний иллатив на *-s «в ранний период развития прибалтийско-финского языка-основы... был базой, на которой строились инессив на *-s-na (*kala-s-na)* и эллатив на *-s-ta (*kala-s-ta)»* (*kala* «рыба») (ЯН СССР, III, стр. 30). Аблатив с элементом *s'* широко вскрывается в составе сложных падежных аффиксов в пермских языках; в марийском он вошел в состав местн. падежа на *-ште* (< *-ste), напр. на *-шке* (<*-ske), обстоят. на *-эш* (<*-es) [52]. Отложительный падеж мордовских личных местоимений, в показателе которого вычленяется помимо аффикса этого падежа *-de* еще и соответствующий притяжательный формант, характеризуется особенной усложненностью для мокшанских местоимений — в них «суффикс отложительного падежа с разной огласовкой повторяется дважды. Причину повторения следует искать в переразложении основ»; например: ед. число 1-е лицо *toń-də-∂ə-n*, 2-е лицо *toń-de-də̂-t*, 3-е лицо *soń-də-də̂-nza* (ИММЯ, стр. 84, 85, 87, 81 и 94, 95, 96).

В обско-угорской подгруппе в ваховском диалекте хантыйского языка, насчитывающем восемь падежей, факультативная форма напр. падежа, по мнению Н. И. Терешкина, была образована «от основы с суффиксом косвенного — направительно-целевого — падежа на *-ӓ, -а* : *jaγ-а-па* „к людям“» [53]. В мансийском языке, где падежная парадигма насчитывает шесть падежей, застывшее сочетание аффиксов можно усмотреть в показателе исходного падежа *-н-ыл* «безличного склонения» ед. числа, ср.: *кол* «дом», напр. пад. *кол-н*, твор. пад. *кол-ыл*, исх. пад. *кол-н-ыл* (ЯН СССР, III, стр. 346).

2. В самодийских языках сочетания падежных аффиксов усматриваются, главным образом, в локативной части именного «безличного» склонения (II тип усложнения). Изучаемое явление наиболее характерно для селькупского языка, который своеобразием падежной парадигмы выделяется среди остальных самодийских языков (ЯН СССР, III, стр. 368). В селькупском основном склонении в ед. числе аффиксы назначит.- превратн., «местного и отложительного падежа существительных, обозначающих одушевленные предметы, присоединяются не непосредственно к основе имени, а к форме род. падежа»: *лоӈа* «лисица», род. пад. *лоӈа-т(-н)*, назнач.-превратн. пад. *лоӈа-т-ӄо*, местн. *лоӈа-н-мыӄыт(-н)*, отл. пад. *лоӈа-н-на̂н(ы)*; аффикс дат. падежа двойств. и мн. числа *-кини* обычно также присоединяется к форме род. падежа (двойств. или мн. числа) [54]. По мнению

[51] ИМФЯ, стр. 20 и примеч. В. И. Лыткина, стр. 47; И. С. Галкин, Историческая грамматика марийского языка, ч. II, Йошкар-Ола, 1966, стр. 155; ОЛУ, стр. 25.

[52] В. И. Лыткин, Примечания..., стр. 8; И. С. Галкин, указ. соч., стр. 155. Наименьшую сращенность показатель *-škə* обнаруживает в яранском говоре марийского языка, где латив на *-kə* и иллатив на *-š* — живые падежные формы (см.: Г. Тужаров, О некоторых падежах в яранском говоре марийского языка, СФУ, 1965, 2, стр. 84). Непарадигматизованные сочетания живых падежных аффиксов наблюдаются и в других пермских языках, так, например, «в языке коми окончание [приблизит. падежа — *Г. Б.*) *-лай* легко соединяется с окончаниями других местных падежей» (ИМПЯ, стр. 50, см. также стр. 13, 48).

[53] Н. И. Терешкин, Очерки диалектов хантыйского языка, М.—Л., 1961, стр. 46.

[54] ЯН СССР, III, стр. 400. Э. Г. Беккер, усматривая в местн. падеже две разновидности—местно-временной и местно-личный, полагает, что только в местно-личном падеже, образующемся исключительно от существительных одушевленных, «выступает тип двойного склонения»,— «оформителем выступает суффикс *нан*, присоединяемый к

Б. А. Серебренникова, показатели селькупских напр. и напр.-дат. падежей (А. И. Кузьмина считает их одним — дат. падежом) *-ныk* и *-нды* составлены из двух и даже трех суффиксов (*-ныk* — из «трех лативных суффиксов *-n*, *-i* и *-k*», ОЛУ, стр. 23, 24); еще более очевиден составной характер приводимых А. И. Кузьминой «индивидуальных вариантов» этих показателей — *-гынты*, *кындъ*, *-кындыт* и др.[55]. В суффиксе нганасанского местн. падежа *-тапи* усматриваются два омертвелых суффикса локатива: «суффикс локатива *-t* (нганасанск.- *ta*) и суффикс локатива *-па* (нганасанск.-*пи*)», например, *turku-ta-пи* «в озере» (ОЛУ, стр. 19).

Следы I типа усложнения можно заметить в строении продольного падежа. В нганасанском продольный падеж во мн. числе образуется по модели: «род. пад. мн. ч.+ суффикс *-мэну*» (ЯН СССР, III, стр. 421). Точно так же строится этот падеж во мн. числе и в ненецком языке: род. пад. мн. числа + суффикс *-мана*. Кроме того, в ненецком, где обычно падежные суффиксы присоединяются непосредственно к основам, в числе исключений отмечен также суффикс род. падежа мн. числа — он присоединяется к форме вин. падежа мн. числа (ЯН СССР, III, стр. 379).

V. В ряде языков разных групп, территориально соприкасающихся с урало-алтайским ареалом или исторически тяготеющих к нему, также обнаруживаются сочетания падежных аффиксов — разной степени сращенности и с разным удельным весом в истории развития падежных систем таких различных языков или же в современном состоянии их падежного склонения.

1. В корейском отмечен «ряд составных падежей, как то: 1) дательный местный (где, откуда): *e-zə*, 2) творительный местный (откуда): *ro-zə*, 3) творительный исходный (откуда): *ro-buthə*, 4) местный исходный (откуда): *zə-buthə*, 5) предельный дательный (к какому времени): *kadi-e*»; ср. также комбинацию «*-ru* + окончание дат. падежа» [56]. Только для имен, обозначающих лица или живые существа, «формально дат. падеж представляет собой местный, образованный от родительного», например: *сарам* «человек», род. пад. *сарамый*, дат. пад. *сарамыйге* (ГКЯ, стр. 66, ср. ВАЯ, стр. 35). Хорошим примером непарадигматизованного сочетания падежных окончаний, из которых живыми являются аффиксы твор. пад. *-ро* и эссива *-сө*, Г. И. Рамстедт считал словоформу *сарам-ый* + *ге-ро-сө* (ГКЯ, стр. 69).

2. В японском языке XVI—XVII вв., насчитывавшем до десяти падежей, были довольно обычны непарадигматизованные сочетания живых падежных аффиксов (чаще всего — послеложного происхождения); эти сочетания имели строго специализованное назначение. Примечательно, что в таких сочетаниях непосредственно примыкающим к основе обычно был показатель любого из локативных падежей (т. е. II тип тенденции к усложнению); способность к нагнетению падежных суффиксов в пределах словоформы частично сохраняется и в современном японском, особенно — разговорном языке [57].

форме род. падежа» (Э. Г. Беккер, Формы и функции местного падежа в селькупском языке, «Происхождение аборигенов Сибири и их языков», Томск, 1969, стр. 78).

[55] А. И. Кузьмина К вопросу о склонении в селькупском языке, там же, стр. 74.

[56] А. А. Холодович, Строй корейского языка, Л., 1938, стр. 31.; см. также: Г. И. Рамстедт, указ. соч., стр. 46; его же, Грамматика корейского языка, М., 1951 (ГКЯ), стр. 68, 69.

[57] См.: Н. А. Сыромятников, Становление новояпонского языка, М., 1965, стр. 166, 192—193, 201, 209—210, 213, 220, 211, 223, 225; см. также стр. 171, 194, 206, 222; О. В. Плетнер, Е. Д. Поливанов, Грамматика японского разговорного языка, М., 1930, стр. 4; ср. также: М. Киэда, Грамматика японского языка, I, М., 1958, стр. 508.

3. Зачатки II типа усложнения можно найти в нивхском, который, по мнению В. З. Панфилова, «и типологически, и материально тяготеет к алтайским языкам»: здесь «имя может быть одновременно оформлено показателями дательно-направительного [*-рх*] и предельного [*-ршыкы*] падежей»: *эри-ршыкы-рх* «до речки» [58].

4. В юкагирском, о характере отношений которого к урало-алтайским языкам до сих пор ведутся споры, Е. А. Крейнович вычленил в падежном склонении комбинации живых и уже омертвелых показателей, главным образом, локативов [59] (II тип усложнения).

5. В кетском локативные падежи признаются «производными от формы притяжательного падежа», являя собой, таким образом, I тип усложнения:

притяж.	*-да,*	*-т(-ди)*
дат.	*-данга,*	*-динга*
местно-личн.	*-дангт,*	*-дингт*
исх.	*-дангал',*	*-дингал'*
назначит.	*-дат,*	*-дит*[60].

В самой последней работе В. Н. Топорова такая «особенность иерархической организации в склонении имени», как «использование род. падежа как основы для образования регулярных парадигматических косвенных падежей — дательного, местного, отложительного», приводится в числе других типологических черт, на базе которых сближаются кетский язык и бурушаски [61] — язык, затерянный в горах Гиндукуша и пока не включенный лингвистами ни в одну из языковых групп. Однако исследования И. И. Зарубина, Г. А. Климова и Д. И. Эдельман показывают, что в бурушаски с его трехпадежной системой склонения (номинатив, эргативно-косвенный, совмещающий и генитив, иногда — особый генитив) указанная В. Н. Топоровым «особенность склонения» сводится к сочетанию одного из архаических вариантов показателей аблатива с тем или иным еще живым послелогом, зачастую еще не утратившим своей связи с наречием [62].

Таким образом, в языках, тяготеющих к урало-алтайской типологической зоне, представлен или I или II тип усложнения (либо: тенденции к усложнению) падежного склонения и реже (в корейском) — оба этих типа.

VI. Сочетания падежных показателей — живые или омертвелые — обнаруживаются также в ряде языковых групп, генетически и территориально не связанных ни между собой, ни с урало-алтайской типологической зоной.

1. Рассматриваемое явление известно в кавказских языках, морфологический тип которых в целом характеризуется как агглютинативный (ЯН СССР, IV, стр. 10),— однако не во всех этих языках, а чаще всего в тех из них, где налицо сильно развитые падежные парадигмы, т. е. в нахских и дагестанских. В картвельском склонении (6—9 падежей) I тип усложнения представлен парадигматизованными «сложными падежными

[58] В. З. Панфилов, О происхождении склонения в нивхском языке, ВЯ, 1963, 3, стр. 82, 76; его же, Грамматика нивхского языка, ч. I, М.— Л., 1962, стр. 3.

[59] Е. А. Крейнович, Юкагирский язык, стр. 53—55, 59, 57, 61—62, 52, 67.

[60] А. П. Дульзон, Кетский язык, Томск, 1968, стр. 70, 71; см. также: В. Н. Топоров, О некоторых кетско-селькупских типологических параллелях, «Вопросы структуры языка», М., 1964, стр. 125 и сл.

[61] В. Н. Топоров, К вопросу о типологической близости енисейских языков и бурушаски, «Происхождение аборигенов Сибири и их языков», стр. 219.

[62] И. И. Зарубин, Вершикское наречие канджутского языка, Л., 1927, стр. 296, 298; Г. А. Климов, Д. И. Эдельман, Язык бурушаски (в печати); ср.: D. L. R. Lorimer, The Burushaski language, I, Oslo, 1935, стр. 74, 82, 75, 86, 94, см. также стр. 84, 95.

образованиями», в которых род. падеж «служит основой для образования серии производных падежей»—например, отложит. и целевого; за пределами падежной парадигмы остается «возможность повторного склонения имени, стоящего в форме род. падежа» (конструкция так называемого «род. падежа с отношением») [63].

I тип усложнения представлен наиболее ярко в ингушском языке (нахская подгруппа), где основой для образования регулярных парадигматических косвенных падежей (за исключением эргативного) служит форма род. падежа, см.:

им. *юрт* «село»	вещ. *юрт-а-х*
род. *юрт-а*	местн. *юрт-а-га*
дат. *юрт-а*	исх. *юрт-а-га-ра*
твор. *юрт-а-ца*	транз. *юрт-а-га-гIолла* (ЯН СССР, IV, стр. 215).

В говорах чеченского языка, относящегося к той же подгруппе, I тип усложнения сосуществует со специфично кавказским типом, при котором «склоняемой основой» является форма эргативного падежа [64]. Из дагестанских языков I тип усложнения представлен в лакском языке, где «четырьмя основными падежными формами, от которых образуются все остальные падежи ед. и мн. числа», признан наряду с им. падежом ед. и мн. числа также род. падеж ед. и мн. числа, причем форма мн. числа род. падежа производится «не от формы мн. числа, а от формы род. падежа ед. числа» [65]. Чаще же всего основой для образования косвенных падежей в дагестанских языках (в даргинском, кубачинском, табасаранском, агульском, лезгинском, аварском) служит эргатив [66].

II тип усложнения весьма широко представлен в нахских и дагестанских языках, где число производных локативных падежей варьируется не только по языкам, но даже по диалектам одного языка (ИСУД, стр. 7), достигая, например, в табасаранском рекордного количества (42). Строевым приемом при образовании такого количества локативных падежей служит нанизывание локативно-падежных показателей один на другой; если при этом учесть, что в основе падежных систем ряда нахских и дагестанских языков лежит форма род. или эргативного падежа, то в пределах словоформы того или иного производного локативного падежа можно обнаружить нагнетение трех падежных аффиксов [67].

2. В новоиндоиранских языках — хинди, цыганском, ваханском, курдском и др.— сложилось агглютинативного типа именное склонение: в качестве основы в нем выступает форма косвенного (или вин.) падежа, к которой присоединяется послеложный по своему происхождению фор-

[63] Г. А. Климов, Склонение в картвельских языках в сравнительно-историческом аспекте, М., 1962, стр. 93 и сл., 98, 124 и сл.

[64] См.: Н. С. Бибулатов, Типы склонения имен существительных в говорах плоскостного диалекта чеченского языка. Автореф. канд. диссерт., Тбилиси, 1967, стр. 10, 11, 17, 18.

[65] Л. И. Жирков, Лакский язык, М., 1955 (далее — ЛЯ), стр. 32, 31.

[66] См.: А. А. Магометов, Кубачинский язык, Тбилиси, 1963, стр. 93—95 и сл.; Ф. О. Абакарова, Именное склонение в уркарахском диалекте даргинского языка. Автореф. канд. диссерт., М., 1956 (далее — ИСУД); Б. Г.-К. Ханмагомедов, Система склонения табасаранского языка в сравнении с системами склонения лезгинского и агульского языков. Автореф. канд. диссерт., Махачкала, 1958, стр. 5, 18 и сл.; Арн. Чикобава, К истории образования эргатива в аварском языке, «Иберийско-кавказское языковедение», II, Тбилиси, 1948, стр. 115; ЯН СССР, IV, стр. 260.

[67] См., например: Б. Г.-К. Ханмагомедов, Система местных падежей в табасаранском языке, [Махачкала], 1958; ИСУД, стр. 7 и сл.; ЛЯ, стр. 39 и сл.; ср.: ЯН СССР, IV, стр. 195, 215, 231.

матив [68]. Такое усложнение падежной парадигмы рассматривается как инновация позднего времени [69], которую, по-видимому, следует связывать с появлением черт агглютинативности в новоиндоиранских языках.

*

Итак, в падежном склонении (и его периферии) целого ряда как родственных языков, так и языков разных систем в той или иной мере наблюдаются сопоставимые морфологические структуры. Их сопоставимость тем очевиднее, что в разных языках обнаруживается общность строевых моделей, по которым происходит усложнение склонения: в одних из них основой выступает грамматический падеж (чаще всего — род. или вин.), в других — почти любой локативный падеж. Можно предположить, что это довольно поздняя инновация, возникшая в результате параллельного независимого развития в каждом отдельном языке или в различных ареалах соответствующей группы (или групп) языков.

Такие инновации обычно наблюдаются в тех языках, для которых характерна агглютинативность. Видимо, самый агглютинативный тип языков [70] или — добавим — развивающиеся черты агглютинативности в языках иных морфологических типов — способствует появлению аффиксальных комплексов; «удивительную способность» агглютинативных языков образовывать «целые гирлянды суффиксов» для того, чтобы уточнить значение того или иного полисемантичного форманта, уже давно подчеркнул Б. А. Серебренников (ОЛУ, стр. 10). Агглютинативными являются языки урало-алтайской типологической зоны, корейский, японский, иберийско-кавказские языки. В нивхском, кетском, юкагирском, новоиндоиранских языках, как это признано исследователями, развиваются (или просто фиксируются) черты агглютинативности.

Пока нет возможности сказать точно, какая «доза» агглютинативности нужна для возникновения сочетания аффиксов с тем, чтобы такое сочетание не ощущалось бы как некая окказиональная случайность, а вошло в грамматическую систему языка — на правах ли всеобщего и регулярного средства включения в падежную парадигму или же на правах «малой подсистемы» со строго ограниченной лексической емкостью. И все же с известной долей вероятности можно прогнозировать сочетания показателей в падежном склонении. Здесь условием для возникновения таких комбинаций является (наряду с общим условием: агглютинативностью) также и самая степень развитости падежной парадигмы. Скорее можно ожидать сочетания падежных аффиксов в агглютинативном языке, где парадигма насчитывает 22 падежа (именно так и оказывается в венгерском [71]), чем в языке той же подгруппы (угорской), где падежей всего три (так в казымском диалекте хантыйского языка). То же самое в тунгусо-маньчжурских языках: такие комбинации распространены в говоре киндигирских эвенков, где насчитывается 13 падежей (из них восемь, а в прошлом было девять локативных падежей), и не отмечены в маньчжурском именном склонении с его пятипадежной парадигмой (локативных падежей всего два) (НЭМ, стр. 37). Сходную картину показывают и кавказские языки: «вторичные», производные падежи широко применяются в нахских и дагестанских языках с их сильно развитыми падеж-

[68] См., например: К. К. Курдоев, Грамматика курдского языка, М.—Л., 1957, стр. 74; Т. В. Вентцель, Цыганский язык, М., 1964, стр. 57—58, 61.

[69] См.: Г. Л. Нахуцришвили, Об агглютинативном характере осетинского именного склонения, ВЯ, 1969, 1.

[70] В. З. Панфилов, О происхождении склонения в нивхском языке, стр. 82.

[71] К. Е. Майтинская, Венгерский язык, ч. I, М., 1955, стр. 133 и сл.

ными парадигмами (в отдельных языках — до 40 падежей с несколькими сериями производных локативных падежей), используются в картвельских языках, где насчитывается от 6 до 9 падежей, и их нет в абхазско-адыгских языках [72], где имена либо вовсе лишены парадигматического ряда (абхазский язык), либо имеют его в относительно небольшом объеме.

Таким образом, сочетания падежных показателей, являющиеся сами по себе необходимым строительным материалом для развития и обогащения падежной парадигмы [73], обусловливаются — по крайней мере, в урало-алтайских и типологически тяготеющих к ним языках — агглютинативностью, причем в каждом конкретном случае дополнительным импульсом для возникновения таких сочетаний являются специфические, индивидуальные свойства и особенности данного языка, своеобразие тенденций развития этого языка и прежде всего — его падежного склонения.

Не ставя перед собой задачу определить место исследуемого явления в общеязыковой типологии, нельзя в то же время не подчеркнуть важной роли сочетаний падежных аффиксов для уяснения путей развития падежного склонения и тех общих моментов, которые претерпеваются, хотя и далеко не в равной мере, языками разных систем на разных этапах эволюции их падежных парадигм.

В современных тюркских языках падежно-аффиксальные комплексы — знаменательный остаток определенного исторического состояния тюркской падежной системы, характеризовавшегося тенденцией к ее усложнению. Заметные следы этого состояния сохранились в падежных парадигмах, главным образом, местоимений в якутском, сарыгюгурском, уйгурском, чувашском языках, т. е. в языках, которые занимают более или менее обособленное место среди тюркских языков, сближаясь между собой по ряду признаков.

Для того чтобы в полном объеме выявить исторические и современные внутрисистемные отношения «простых», обычных падежных показателей и комбинаций падежных аффиксов в тюркских языках и тем самым восстановить подлинную картину развития тюркского падежного склонения, помимо «выходов» за пределы тюркских языков, целесообразно использовать плодотворную идею анализа морфологического строя родственных языков по морфемным полям [74]: в применении к тюркскому падежному склонению это значит, что нельзя изучать разрозненно именное «безличное» склонение, его посессивный тип и местоименное склонение. В противном случае историко-типологическое изучение тюркских языков сведется к очередной инвентаризации форм [75].

[72] Исключение составляет «молодой» послеложный падеж в четырехпадежной парадигме кабардино-черкесского языка: он может образовываться от основы в форме эргативного падежа (см.: «Грамматика кабардино-черкесского литературного языка», М., 1957, стр. 45, 49).

[73] В различных языках сочетания падежных аффиксов использовались для разных целей: в иберийско-кавказских языках, как и во многих других, такие комбинации служили количественному увеличению и усложнению падежного склонения, а в курдском, цыганском и других — созданию принципиально новых парадигм взамен некогда утраченных.

[74] Э. А. Макаев, Сравнительная, сопоставительная и типологическая грамматика, ВЯ, 1964, 1, стр. 4.

[75] Ср.: Н. А. Баскаков, К проблеме историко-типологического изучения грамматики тюркских языков, ВЯ, 1969, 4.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1970

Г. А. МЕНОВЩИКОВ

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЕДИНИЧНОСТИ И МНОЖЕСТВЕННОСТИ В ЯЗЫКАХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

Категории количества, времени и пространства, являясь объектом исследований математиков и философов, в то же время как понятийные категории, выражающиеся средствами языка, подлежат компетенции лингвистов — с точки зрения выявления и установления многообразных формальных средств и способов обозначения в языках этих понятийных категорий. В этом направлении за последние десятилетия было немало сделано советскими языковедами, выполнившими огромную работу по изучению грамматического строя языков различных систем. Особый интерес вызвала проблема выражения единичности и множественности (количества) в языках различного типа. Было установлено, что понятийные категории единичности и множественности не тождественны грамматической категории числа. Грамматическое число представляет собою лишь один из многих способов обозначения в языке этих категорий [1].

Понятия количества получают неодинаковое отражение в грамматической категории числа в языках различного строя. Об этом именно свидетельствуют факты ряда языков коренных народностей Сибири и других языков, сопоставляемые в настоящей статье.

Ниже не затрагивается вопрос о системе логических обозначений различных типов множеств методом противоположений (определенное — неопределенное, конкретное — дискретное и т. д.) [2]. Мы не касаемся также различных аспектов выражения категории количества (единичности и множественности) посредством местоимений и числительных, видовых и залоговых форм глагола, склонения и спряжения, наречий и сте-

---

[1] См. об этом: А. А. Холодович, Категория множества в японском в свете общей теории множества в языке, «Уч. зап. [ЛГУ]», Серия филол. наук, 10, 1946; А. П. Рифтин, Из истории множественного числа, там же; И. М. Тронский, К семантике множественного числа в греческом и латинском языках, там же; В. И. Цинциус, Множественное число имени в тунгусо-маньчжурских языках, там же; С. А. Козин, К вопросу о показателях множественности в монгольском языке, там же; К. А. Новикова, Очерки диалектов эвенского языка, ч. 1, М.—Л., 1960, стр. 125—141; П. Я. Скорик, Грамматика чукотского языка, ч. I, М.—Л., 1961, стр. 139—155; Г. А. Меновщиков, Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. I, М.—Л., 1962, стр. 118—125; В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, М.—Л., 1962, стр. 91—118; А. В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким, ч. 1, Братислава, 1954, стр. 100—103; Б. А. Серебренников, Историческая морфология пермских языков, М., 1963; В. И. Дегтярев, Развитие лексико-грамматических классов собирательных и вещественных имен существительных в русском языке XI—XVII вв. Автореф. канд. диссерт. Ростов-на-Дону, 1965; Г. Ф. Благова, Тюркский аффиксальный плеоназм..., ВЯ, 1968, 6 (к статье прилагается большой список литературы по вопросам плеонастических и других способов выражения множественности в тюркских и других языках); М. А. Кумахов, Число и грамматика, ВЯ, 1969, 4 (в статье анализируется обширный материал по способам выражения грамматического числа в языках абхазско-адыгской группы с типологическими параллелями из других языков).

[2] Вопрос этот рассматривался А. А. Холодовичем (указ. соч., стр. 16—21).

пеней сравнения, хотя подобное выражение характерно для многих языков разных систем [3]. Здесь сопоставляются лишь универсальные способы выражения единичности и множественности именами существительными посредством грамматических форм числа и категории собирательности, передаваемой в различных языках семантически, морфологически и синтаксически.

Единственное число в большинстве языков обозначается назывной формой имени (нулевая форма). Между тем эта же форма имени в зависимости от речевой ситуации понятийно может означать обобщенную множественность (ср. «морж лежит на льдине» и «морж во множестве появился в проливе»). Следовательно, грамматическая форма ед. числа, используемая, казалось бы, для выделения единичности конкретного предмета, в то же время употребляется для обозначения множества предметов, понимаемого как одно целое. Так, например, в ряде сибирских языков и во всех тюркских языках имена существительные, которые называют отдельные однородные предметы, формой ед. числа обозначают как единичность конкретного предмета, выделяемого из массы однородных предметов, так и обобщенное множество таких предметов. В тунгусо-маньчжурских языках, например, форма ед. числа существительных употребляется для обозначения как одного предмета, так и группы однородных предметов [4]: существительное *орон* в эвенском означает «олень, олени, стадо оленей», а форма мн. числа этого слова (*орор*) употребляется лишь в редких случаях для обозначения дистрибутивного множества.

Использование ед. числа имени для обозначения обобщенного множества широко применяется в большинстве языков мира. Особенно часто это случается при сочетании существительных со словами обобщенно-собирательной семантики, принадлежащими различным частям речи. В языке азиатских эскимосов к таким словам относятся, например, *ҕафсина* «сколько», *тамаҳаҕ* «каждый», *игунан* «все», *углаҕлуку* «много», *палаҳалуку* «мало» и т. д., например: *ҕафсина йук* «сколько человек», *тамаҳаҕ йук* «каждый человек» в значении «все люди», *углаҕлуку айвыҕ* «много-будучи морж» в значении «много моржей». В чукотском: *нымыкыҕин ҕораӈы* «много олень» в значении «много оленей», *тъэркин ыннээн* «мало рыба» в значении «мало рыбы» [5].

Только в ед. числе и для обозначения единичных предметов (singularia tantum) употребляются существительные, обозначающие имена собственные (антропонимы, топонимы и т. д.), имена отвлеченные (типа «зоркость», «тьма», «одиночество» и т. п.), некоторые имена вещественной семантики (типа «тесто», «сало», «молоко»), имена отдельных небесных тел («солнце», «луна»), названия стран света («юг», «восток», «запад», «север») и некоторые другие. Но и в этом разряде слов не существует единообразия по языкам различного строя. Особенно пеструю картину относительно выражения единичности и множественности дают имена существительные вещественной семантики. То, что представляется нетипичным для одного языка, является нормой для другого. Так в русском языке имена вещественной семантики типа «мясо», «сало», «молоко», «кровь» не имеют форм мн. числа, а в языках чукотско-камчатской семьи они свободно образуют эти формы, как и формы двойств. числа; например, в корякском языке: ед. *кинуӈи* «мясо» — дв. *ки-*

[3] См. об этом: И. М. Тронский, указ. соч., стр. 54; В. И. Цинциус, указ. соч., стр. 73—74; А. П. Рифтин, указ. соч., стр. 37.

[4] В. И. Цинциус, указ. соч., стр. 74; К. А. Новикова, указ. соч., стр. 136.

[5] Г. А. Меновщиков, указ. соч., стр. 122; П. Я. Скорик, указ. соч., стр. 154.

нуӈват, мн. *кинуӈвав'*; *молок* «молоко» — дв. *молокат*, мн. *молокав'*; *мыткымыт* «жир» — дв. *мыткыт*, мн. *мыткы*; *кив'ыл* «кровь» — дв. *кив'ылти*, мн. *кив'лу* [6]. В чукотском и ительменском языках, где нет двойств. числа, имена вещественной семантики соответственно принимают формы ед. и мн. числа, например: ительм. *тхӑлтхӑл* «мясо» — мн. *тхӑлтхӑл'*; *лукӗн* «молоко» — мн. *лукӗ'н*; чукот. *тыргытыр* «мясо» — мн. *тыргыт*; *лывээръын* «молоко» — мн. ч. *лывээръыт* [7]. Двойств. и мн. числа имен вещественной семантики в указанных языках обозначают не части или меры веществ, а их исчислимое (два) или неисчислимое (большое) количество.

Типологически сходную картину образования мн. числа от имен вещественной семантики обнаруживаем также в самодийских и угорских языках. Так, в ненецком языке имена этого типа образуют следующие формы: *ӈамза* «мясо» — дв. *ӈамзаха'*, мн. *ӈамза''*; *мӑлака* «молоко» — дв. *мӑлакаха'*, мн. *мӑлака''*. Имена вещественные в ненецком языке согласуются в числе с определяющими их словами — в предложениях *Коровито'мӑлакидо' паляд''* «Коров-их молоко густое», и *Ты'' ӈамзидо' ӈо''сава''*. «Оленей мясо хорошее» имена вещественные *ӈамза* «мясо» и *мӑлака* «молоко» даны в притяжательных формах мн. числа, поскольку эти вещества осознаются как принадлежность многих предметов (в данном случае коров и оленей). В том и другом случае речь идет не о разных сортах или частях мяса и молока, а о единой массе этих веществ, полученной от многих коров и оленей (по-русски искусственно можно было бы сказать: «хорошие мяса», «густые молоки»). То же самое в хантыйском языке: *н'ӧхи* «мясо» — дв. *н'ӧхеӈэн*, мн. *н'ӧхит*; *шӱр* «кровь»— дв. *шӱрӈэн*, мн. *шӱрэт*; *сӱк* «бусы» — дв. *сӱкӈэн*, мн. *сӱкэт*. В ненецком и хантыйском языках двойственное число имен вещественных обозначает не только разложимость веществ на части по каким-либо признакам, но и общее количество однородного вещества, полученного от двух источников [8].

В языке азиатских эскимосов имена вещественной семантики типа *ныӄа* «мясо», *пара* «масло», *аwк* «кровь», *ӄику* «глина», *иӄа* «грязь», *кымли* «пух», *пари* «смола»», *пуйук* «дым», *таӷйук* «соль» и др., обозначающие совокупность сплошной неисчисляемой массы однородных элементов, в своем вещественном значении употребляются только в форме ед. числа. Но все они могут принимать формы двойств. и мн. чисел, когда возникает необходимость указания на их качественную (сортовую), количественную (штучную) или пространственную выделяемость. Так, *ныӄа* «мясо» в двойств. числе — *ныӷык* — будет означать «два сорта мяса», «мясо в двух сосудах», «мясо в двух местах», а во мн. числе — *ныӷыт* — «разные сорта мяса», «много сосудов с мясом», «мясо во многих местах»; *пуйук* «дым» — дв. *пуйугык* «два разных по цвету дыма», «дым в двух местах» — *пуйугыт* «разные по цвету дымы», «дым во многих местах» и т. д. Аналогичные значения имеют формы числа вещественных существительных и в нивхском языке [9].

Следует отметить, что двойств. число, обозначающее исчислимое множество (парную совокупность однородных предметов) при именах вещественных указывает обычно на две отделимых части одного и того же вещества независимо от его количества, тогда как мн. число этих же имен знаменует как множество частей (сортов) вещества, так и его большое количество. Корякскими фразами *Ӄинэйыл ӄинуӈвав'* «Дай мне мяса (мно-

[6] Примеры из корякского языка даны А. Н. Жуковой.

[7] Примеры на ительменском языке сообщены нам А. П. Володиным, на чукотском — П. И. Инэнликэем.

[8] Примеры на ненецком и хантыйском языках получены от Н. М. Терещенко, и Н. И. Терешкина. См. также: Н. И. Терешкин, Очерки диалектов хантыйского языка, ч. 1, М.—Л., 1961, стр. 32.

[9] В. З. Панфилов, указ. соч., стр. 109, 110.

го)», *Қинэйыл қинуӈват* «Дай мне два (куска) мяса» и *Қинэйил қинуӈи* «Дай мне мяса» прозрачно иллюстрируется противоположение двойств. и мн. чисел имен вещественной семантики, где слово *қинуӈвав'* «мясо» (мн. ч.) указывает не на раздельную множественность, а на большое количество однородного вещества.

Имена вещественные в большинстве привлекаемых к рассмотрению языков не имеют особых морфологических признаков, которые отличали бы их от других семантических групп имен существительных. Особое место занимают чукотско-камчатские языки, где вещественные существительные, а также существительные, обозначающие сыпучие и мелкие тела, образовались из удвоенных основ, вторая часть которых в большинстве случаев усечена. Характерно и то, что в этих языках удвоенная основа означает неопределенное число предмета (вещества), а одинарная, оформленная суффиксом мн. числа (в корякском — также двойств. числа),— множественность предметов. Например: чукотск. яз. *тыргытыр* «мясо» — мн. *тырг-ыт*, *йыӈэйыӈ* «туман» — *йыӈэ-т* «туманы», *мыткымыт* «жир» — *мыткы-т* «жиры» (некоторые имена этого семантического ряда во мн. числе сохраняют удвоенные основы: *лелел* «роса» — мн. *лелел-ты*, *пиӈпиӈ* «пыль» — мн. *пиӈпиӈ-ыт*; корякск. *ипиип* «дым» — дв. *ипи-т*, мн. *ипи-в'*; *мыткымыт* «жир» — дв. *мыткы-т* — мн. *мытк-у'*; *йыӈайыӈ* «туман» — дв. *йыӈа-т* — мн. *йыӈа-в'*; ительм. *т'ит'им* «дым» — мн. *т'и²н*.

Имена существительные вещественно-собирательной семантики с повторными основами типа *пиӈпиӈ*, *йыӈайыӈ* в чукотско-камчатских языках означают одиночные предметы, состоящие из неисчисляемой массы однородных элементов. В форме ед. числа имена с повторными основами указывают на предмет как на единое целое, в форме двойств. или мн. числа — на два или несколько разрозненных предметов.

Между тем способ редупликации в ряде языков, как правило, используется для обозначения множественного числа названного первой основой предмета, ср. маньчж. *чжалан* «поколение» — *чжалан-чжалан* «поколения», казах. *аўыл* «аул» — *аўыл-аўыл* «аулы», малайск. *orang* «человек» — *orang-orang* «люди», шумер. *kur* «страна» — *kur-kur* «страны» [10]. Удвоение основ, по мнению А. П. Рифтина, «является одним из древнейших способов выражения множественного числа» [11]. Чукотско-камчатские языки вносят существенные уточнения в понимание имен с удвоенными основами. Первоначально редупликация выражала не мн. число, а к о л и ч е с т в о однородного вещества, парность или множество однородных предметов, являющихся составными элементами отдельного предмета, например, в чукотском: *тинтин* «лед», *лиглиг* «яйцо», *кивкив* «сутки», *кымкым* «клубок», *нымным* «селение», *мыймый* «съедобный корень», *чотчот* «изголовье», *виилвиил* «тень», *черичер* «грязь», *тилитил* «струя», *нутэнут* «земля», *элеэл* «лето»; с усеченными вторыми основами: *пылмыпыл* «мгла», *тымкытым* «кочка», *тыргытыр* «мякоть (мясная)», *тумгытум* «друг» [12]. В отличие от других языков в чукотском одиночные основы таких имен не употребляются самостоятельно в именительном падеже, однако вторая, усеченная основа отпадает при словоизменении (например, *йыӈэйыӈ* «туман» — *йыӈэ-т* «туманы» — *йыӈэ-тэ* «туманом»). Таким образом, можно полагать, что корневые морфемы имен с удвоенными основами имели

[10] См.: В. И. Ц и н ц и у с, указ. соч., стр. 76; «Современный казахский язык», Алма-Ата, 1962, стр. 152; А. А. Р е ф о р м а т с к и й, Введение в языкознание, М., 1967, стр. 287; А. П. Р и ф т и н, указ. соч., стр. 40; ср. шумерскую фразу, приведенную А. П. Рифтиным: d'en-lil lugal *kur-kur-ra* ab-ba *dingir-dingir-ri-ne-ge* «Энлиль, царь всех стран, отец всех богов» (там же, стр. 40)

[11] Там же.

[12] П. Я. С к о р и к, указ. соч., стр. 144, 146—147.

в этом языке в раннюю пору его развития самостоятельное употребление, но затем были использованы для образования слов вещественно-собирательной семантики.

Следует, однако, сказать, что посредством редупликации в отдельных языках обозначается не только увеличение количества (а также усиление степени признака), но и уменьшение количества (или ослабление степени признака), что исключает ее понимание как универсального способа выражения множественности [13].

Лексикализовавшиеся формы как двойств., так и мн. числа (pluralia tantum), представляющие собой во многих языках имена существительные так называемого предметного множества, с точки зрения семантической передают предметы и явления, понимаемые как единичные, но состоящие из множества образующих предмет или явление однородных элементов. Например, в эскимосском: *қиўғит* «северное сияние», *қалъат* «водоворот», *мысунаңыт* «гребешок», *кыхат* «узор на одежде (вышивка)», (*-т* — суффикс. мн. числа); *куйк* «река», *қамáўк* «нарта», *кульык* «штаны» (*-к* — суффикс двойств. числа) [14].

Понятийная категория множественности в языках различных систем, кроме грамматических способов (формы числа), выражается способом морфологического основообразования, посредством которого образуются производные имена существительные с собирательным значением. Такие имена формой ед. числа означают совокупность множества неделимых и количественно неисчислимых однородных предметов. В этом смысле множественность, обозначаемая именами собирательными, противополагается дискретному множеству, реализующемуся, как правило, грамматически в формах мн. числа.

Существуют различные семантические типы имен собирательной семантики. Так, например, в эскимосском языке (науканский диалект) такие имена образуются посредством суффиксов *-лғун*,*-мкы*, *-йогақ*, *-мсухēнақ*, *-нку*, *-талы*, *-лгы*. Имена с суффиксом *-лғун* означают группу однородных предметов (*анйа-лгун* «группа байдар», *йу-лғун* «толпа»), с суффиксом *-мкы* — обобщенное множество однородных предметов (*йу-мкы* «народ», *пыйухты-мкы* «зверье») [15], с суффиксом *-мсухēнақ* — выделительное множество (*аға-мсухēнақ* «только женщины», *қавилңу-мсухēнақ* «только лисы»). Суффикс *-йоғақ* имеет сходное значение с суффиксом *-мкы*; суффикс *-нку-* образует имена коллектива: в двойств. числе — комитативность (*Миша-нку-к*, *Парина-нку-к* «Миша и Парина»), а во множественном — собирательность (*Куйапа-нку-т* «люди Куяпы», «семья Куяпы»). Имена с суффиксом *-талы* означают совокупное множество, степень мощи, силы, величины, размера (*угаҳталы* «множество», *умелыхтуталы* «мощь, сила», *ыкыхтуталы* «высота», *анталы* «рост, величина»), с суффиксом *-лгы* — протяженность в длине (*игнелгы* «леска», *гухутилгы* «цепь»). Такое же специализированное значение форм собирательности, образуемых посредством различных аффиксов, наблюдается в чукотско-камчатских, тунгусо-маньчжурских, нивхском, финно-угорских и ряде других языков Сибири [16].

---

[13] Ср.: Б. А. Успенский, Отношения подсистем в языке и связанные с ними универсалии, ВЯ, 1968, 6, стр. 15.

[14] Г. А. Меновщиков, указ. соч., стр. 120—125. Эскимосские примеры для данной статьи взяты из науканского диалекта.

[15] Суффикс *-мкы* заимствован азиатскими эскимосами из чукотского языка (см. выше примеры из чукотского и корякского языков).

[16] См., например: П. Я. Скорик, указ. соч., стр. 315, 317, 319—320, 322, 336; В. И. Цинциус, указ. соч., стр. 88—96; К. А. Новикова, указ. соч., стр. 138;

Значение собирательности может быть выражено и аналитическим способом посредством сочетания имени предметной семантики со словом обобщенного собирательного значения. Так, в ненецком языке таким собирательным словом выступает *мӑндал''*, которое отдельно означает «стадо, группа, стая, совокупность», а в сочетании с другими словами — конкретное значение собирательной множественности, например, *ненэцие'' мӑндал''* «толпа» (дв. *ненэцие'' мӑндалк'*, мн. *ненэцие'' мӑндалӑд''*), *ты'' мӑндал''* «стадо оленей», *хо''ӣмӑндал''* «березняк» и т. д. [17].

По-разному в языках различного строя выражаются понятия парности. В одних языках — посредством застывших форм двойств. числа, в других — мн. числа, в третьих — путем аналитических сочетаний существительных с числительными и т. д. Особый интерес в этом отношении представляют тунгусо-маньчжурские языки, в которых существительные, обозначающие парные предметы, оформлены собирательным суффиксом *-л* (он используется и как суффикс мн. числа). Например в эвенском *ӈал* «руки; рука», *бӯдыл* «ноги; нога», *јасыл* «глаза; глаз». Для того, чтобы обозначить один из парных предметов, здесь используется аналитическое сочетание соответствующих существительных со словом *гӑд* «половина», например: *гӑд ӈӑл* «одна рука» (буквально «половина рук»), *ӷӑд бӯдыл* «одна нога» («половина ног»), *гӑд јасыл* «один глаз» («половина глаз»). Подобный же способ обозначения одного предмета из пары посредством добавления слова «половина» применяется в монгольском языке: *ӷар* «рука», «ру́ки» — *өрөгели ӷар* «пол-рука», т. е. «рука» [18]. В нивхском языке существительные в форме ед. числа, обозначающие парные предметы, указывают на совокупность двух однородных предметов, а иногда на один из членов совокупности — *тот* «рука» и «руки», *ныт'х* «нога» и «ноги», *ки* «сапог» и «сапоги»; обычно же для обозначения одного из парных предметов также используется сочетание соответствующего существительного со словом *н'васа* «одна половина». В форме мн. числа такие существительные употребляются лишь в значении дистрибутивной множественности (*тотху* «руки», *ныткʼку* «ноги») [19]. В некоторых финно-угорских языках выделение единичного предмета из парных предметов, понимаемых как единое целое, осуществляется, как и в тунгусо-маньчжурских и монгольском языках, способом подстановки слова «половина», например: коми-зырян. *sin pӧv* «один глаз», венг. *fel labat* «одноногий», марийск. *кид* «рука», «руки», *пел кид* «одна рука» (дословно: «пол-рука»), *шинча* «глаз, глаза́», *пел шинча* «один глаз» (дословно: «пол-глаза») [20].

В некоторых языках формы мн. числа существительных обозначают единичные предметы. Так, например, в японском языке слово *ко* первоначально означало «ребенок», а затем в этом значении стало употребляться слово *кодомо*, где формант *-домо* восходит к одному из показателей мн. числа (см. *онна-домо* «женщины»). Между тем, мн. число слова *кодомо* «ребенок» стало обозначаться суффиксами *-тати* и *-ра*: *кодомотати* или *кодомора* «ребенок» [21].

Особое место занимает способ отражения в языке специфических представлений о предметах, которые находятся от говорящего на далеком рас-

---

В. З. Панфилов, указ. соч., стр. 102—103; Б. А. Серебренников, Существовали ли в протоуральском языке именные классы?, ВЯ, 1969, 3.

[17] Ненецкие примеры сообщены Н. М. Терещенко.

[18] К. А. Новикова, указ. соч., стр. 139; С. А. Козин, указ. соч., стр. 122.

[19] В. З. Панфилов, указ. соч., стр. 106, 107.

[20] Б. А. Серебренников, Историческая морфология пермских языков, стр. 93; Н. Т. Пенгитов, Сопоставительная грамматика русского и марийского языков, Йошкар-Ола, 1958, стр. 53—54.

[21] М. Киэда, Грамматика японского языка, М., 1958, стр. 81; А. А. Холодович, указ. соч., стр. 27—28.

стоянии. В языке азиатских эскимосов (науканский диалект) отмечено своеобразное логическое совмещение понятий о количестве и пространстве. Одиночный предмет, находящийся от говорящего на далеком (едва обозреваемом) пространстве, представляется как неопределенное множество и обозначается в форме мн. числа. Далекое расстояние и зримый объект как бы сливаются в единое понятие неопределенного количества, представляемое именем во мн. числе, например: *Айвыӷыт агыпсуграми пухтут* «Кит в мареве (в дымке на горизонте) всплыл» (дословно: «Киты в мареве всплыли»); *Пахкуныӈ гытхыныӈ туйусимапут иӄалъут* «С того верхнего (дальнего) озера принесли мы рыбу» (дословно: «С тех верхних озер принесли мы рыб»); *Анйат агыпсуграмун кāсималӷит* «Байдара к мареву (к дымке на горизонте) приблизилась» (дословно: «Байдары к мареву приблизились») [22]. Употребление форм мн. числа в тех случаях, когда объект находится на далеком расстоянии, характеризует особенность мышления древних охотников, для которых неопределенная пространственная протяженность представлялась трудно преодолимой для движения к объекту. Дальность расстояния до объекта передавалась формой мн. числа имени, называющего данный объект, а до возникновения этой грамматической формы в этих случаях употреблялись неоформленные имена с собирательным значением.

Одинаковые структурно-типологические способы обозначения категории количества (единичности и множественности) в языках различного строя, по-видимому, нет оснований сводить только к генетическому родству этих языков; они могли возникнуть под влиянием сходных условий общественной жизни, определяющих сходное же по содержанию и языковой передаче мировоззрение. Обозначение представлений о большом количестве вещества посредством мн. числа имен вещественно-собирательной семантики, например, в языках чукотско-камчатской (чукотский, корякский) и угорской (ненецкий, хантыйский) групп, или обозначение мн. числа способом редупликации основ в тех же чукотско-камчатских и далеко отстоящих от них языков иных систем — маньчжурском, малайском и шумерском — объясняется именно типологическим сходством условий общественной жизни и мировоззрения носителей этих языков. В то же время в различных условиях общественного развития носителей родственных языков, отделившихся друг от друга в далеком прошлом, возникают различные структурные способы языковой передачи тех же самых представлений: таковы, например, различия в выражении грамматических форм числа в чукотском и корякском языках [23]. Сравнительно-типологические сопоставления способов выражения понятийных категорий единичности и множественности в языках различных систем представляют интерес для лингвистов в том отношении, что они способствуют установлению как универсальных способов определения указанных явлений языка, так и выявлению специфических особенностей их в отдельных языках.

[22] Для обозначения многих предметов при аналогичной ситуации употребляются числительные (*талъимат анйат* «пять байдар») или же аналитические сочетания имени со словами собирательно-обобщающей семантики (*угляӷлуку анйаӄ* «много байдар», дословно: «много-будучи байдара»).

[23] «Языки народов СССР», V, Л., 1968, стр. 253, 273—274.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1970

В. Г. АДМОНИ

ЕЩЕ РАЗ ОБ ИЗУЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ СТОРОНЫ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

1. За последние 10—15 лет количественная сторона грамматических явлений стала изучаться весьма широко — как в советском языкознании, так и за рубежом. Большую роль играло при этом развитие прикладного языкознания и математической лингвистики. Но и развитие классического языкознания — в частности, грамматики — имело здесь немалое значение. Так, уже на рубеже XX в. у младограмматиков все чаще и чаще начинают появляться работы, широко учитывающие количественную сторону грамматических явлений, особенно употребительность некоторых грамматических форм (Блюмель, Бехагель и др.). Сама практика работы над конкретным материалом, сама логика развития науки толкала исследователей в этом направлении.

Автор этих строк также встал перед необходимостью обращения к количественной стороне грамматических явлений в результате своей работы над конкретным материалом синтаксиса немецкого языка, особенно когда этот материал был подвергнут историческому изучению. Такие проблемы, как развитие рамочной конструкции предложения, изменения в структуре группы существительного и т. п., во-первых, оказались неразрывно связанными с такими количественными явлениями, как размеры словосочетания и элементарного предложения, а во-вторых, потребовали установления частотности употребления соответствующих форм.

Придя к изучению количественной стороны грамматических явлений изнутри лингвистической (грамматической) проблематики и с чисто лингвистической целью, автор этих строк оказался вынужденным заново рассмотреть вопрос о методике изучения этой стороны грамматических явлений, так как простое применение вероятностной статистики, получившей в конце 50-х годов широкое применение в лингвистике, не могло помочь во многих случаях при работе над специфическим грамматическим материалом.

В связи с этим нами был применен комплекс приемов собирания и арифметической обработки данных, призванный не устанавливать жесткие вероятностные количественные закономерности, а лишь намечать, нащупывать некоторые тенденции в соотношении между количественными показателями по какому-нибудь признаку грамматического явления и качественным своеобразием этого явления. Совокупность этих приемов была нами условно названа «грамматической или симптоматической статистикой» или просто «симптоматикой». Соответствующие соображения были опубликованы нами в середине 60-х годов [1]. Тогда же были опуб-

[1] В. Г. Адмони, Качественный и количественный анализ грамматических явлений, сб. «Теоретические проблемы современного советского языкознания», М., 1964; его же, Основы теории грамматики, М.—Л., 1964, стр. 62—72. Нами подчеркивалось при этом, что выдвигаемые нами положения распространяются только на грамматику, а не на другие области языка, так как для грамматики характерно чрезвычайно специфическое отношение между системой форм и системой значений.

ликованы результаты нашего исследования по развитию структуры предложения в немецком языке, которое было построено на такой «симптоматической», но вероятностной подборке и обработке полученных нами количественных данных [2].

Теперь, однако, оказывается необходимым снова в общем виде вернуться к вопросу о подходе к количественной стороне грамматических явлений. Причина этого — появление статьи Л. Р. Зиндера и Т. В. Строевой «К вопросу о применении статистики в языкознании» [3]. И дело не столько в том, что статья Зиндера и Строевой в значительной мере посвящена резкой критике нашей трактовки количественной стороны грамматических явлений, сколько в том, что при этом обнаружились кардинальные расхождения между лингвистами в понимании некоторых вопросов, которые в свое время казались нам бесспорными и не требующими специального разъяснения. Теперь же мы видим, что все имплицитное должно быть изложено эксплицитно.

Возражая против противопоставления строгой и нестрогой статистики, Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева требуют, чтобы всякое обращение к количественной стороне грамматических явлений (по крайней мере, в рамках их функционирования в речи) производилось на основе методов математической статистики.

Вероятностная статистика рассматривается как единственно актуальная для любого лингвистического количественного исследования не только Л. Р. Зиндером и Т. В. Строевой. Так, в одной из первых и наиболее авторитетных статей, посвященных в советском языкознании внедрению статистики в языковедческие исследования,— в статье Р. М. Фрумкиной [4], никак не оговаривается возможность какой-либо другой статистики, кроме вероятностной. Вероятностная статистика действительно обладает огромными преимуществами перед более примитивными, чисто «арифметическими» способами статистической обработки количественного материала. Вот некоторые из этих преимуществ.

Вероятностная статистика сама, с помощью применения особых математических операций, устанавливает, являются ли колебания в полученных данных по какой-то совокупности выборок случайными, т. е. воспроизводящими именно вариации в случайном распределении признаков у однородных явлений, или сущностными, т. е. зависящими от качественных различий между сопоставляемыми явлениями. Между тем, «простая», не вероятностная статистика различает «случайные» и «сущностные» колебания, лишь исходя из качественного анализа сопоставляемых явлений.

Вероятностная статистика, далее, устанавливает математическими методами степень достоверности количественных данных, пределы ошибок, которые могут быть допущены при оперировании выборками того или иного размера из некоторой совокупности, позволяет выявить долю данной совокупности, на которую может не распространиться данная статистическая закономерность и т. д.

Между тем, в «простой», не вероятностной статистике степень достоверности математически не может быть установлена.

---

[2] В. Г. Адмони. Развитие структуры предложения в период формирования немецкого национального языка, М., 1966.

[3] Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева. К вопросу о применении статистики в языкознании, ВЯ, 1968, 6.

[4] Р. М. Фрумкина, Применение статистических методов в языкознании, ВЯ, 1960, 4. Основное требование, которое здесь предъявляется к количественному анализу языковых фактов: «выборка должна быть произведена согласно определенным правилам, а достоверность полученных результатов проверена» (стр. 130).

И все же наличие всех этих преимуществ еще не позволяет сделать вывод, что при изучении количественной стороны грамматических явлений всегда должна применяться только вероятностная статистика. Нельзя забывать, что даже самый совершенный метод исследования применим не всюду и не всегда. Основная цель настоящей статьи и заключается в том, чтобы показать на нескольких примерах, без всяких претензий на полноту, что в сфере грамматики существует ряд типических случаев, когда при количественных исследованиях использование вероятностной статистики либо не соответствует задачам исследования, а порой вообще невозможно, либо в принципе представляется возможным, но оказывается нецелесообразным в связи с некоторыми особенностями самого материала. Рассмотрим сначала первый из этих случаев.

2. Установление количественных данных может быть не основным, а побочным моментом в исследовании, причем введение вероятностного аппарата чрезвычайно утяжелило бы исследование и увело бы его в другую сторону.

Так, изучая притяжательные прилагательные и синонимичные им определения в современном немецком языке, В. М. Румянина систематически приводит количественные данные как в плане состава разряда притяжательных прилагательных (по его отдельным типам и их семантическим разновидностям), так и в плане употребительности этих типов и разрядов притяжательного прилагательного, а также их синонимов в речи [5]. Она опирается на материал, собранный ею из текстов, общим объемом свыше 15 млн печ. знаков и состоящих из 3850 примеров с притяжательными прилагательными и синонимичными формами, к которым присоединяется 250 сочетаний с притяжательными прилагательными, извлеченных из некоторых терминологических и общих словарей. На этой основе делаются, например, такие количественные наблюдения: притяжательных прилагательных с географической семантикой встретилось 1816 примеров; синонимичных же сочетаний с определительным родительным 150 примеров, предложных определений 264 примера, первых компонентов сложного существительного — 71 пример. Никаких оценок достоверности этих данных в смысле их значимости для всей совокупности текстов современного немецкого языка В. М. Румянина не приводит. Но содержащиеся в ее работе материалы дают такую количественную характеристику употребления соответствующих форм, которая совершенно достаточна для общей ориентировки в этом явлении. Здесь намечается определенная количественная перспектива, выявляющая как значительные разрывы в употребительности соответствующих синонимических форм — значительно больше, значительно меньше и т. п., — так и известные схождения в этом отношении. Не претендуя на выявление жестких закономерностей, эти данные восполняют качественную характеристику исследуемых грамматических явлений примерной, но достаточной для подобного лингвистического исследования количественной ориентировкой.

Трактовка количественных данных в работе В. М. Румяниной является статистической. Но это не вероятностная статистика, так как здесь отсутствует установление степени достоверности соответствующих данных и т. п. Вместе с тем, эта трактовка — в рамках задач, поставленных себе В. М. Румяниной — является уместной и плодотворной.

Но даже там, где выяснение употребительности грамматических явлений принадлежит к непосредственным задачам исследования, применение вероятностной статистики оказывается практически ненужным и даже

[5] В. М. Румянина, Притяжательные прилагательные и синонимичные им определения в современном немецком языке. Автореф. канд. диссерт., Л., 1963.

невозможным, если сами эти явления встречаются лишь весьма редко, спорадически, что характерно для известной работы И. Юнгеруда [6].

Обращение к вероятностным методам оказывается заведомо ненужным и при таких подсчетах, которые производятся для установления определенного количественного статуса грамматических явлений, независимо от степени распространенности явлений с таким статусом.

Так, обнаружение обширных элементарных предложений, хотя бы на самом незначительном отрезке текста, у таких мастеров немецкой прозы XVIII в., как Гете и Винкельман, имеет огромное значение без установления того, насколько систематически такие предложения этими авторами употребляются. Сам факт обращения к подобным структурам писателей, выделяющихся естественной плавностью и гармоничностью своей фразы, показывает, что такие структуры могли уже в это время строиться как полноценные пластические образования, отнюдь не свойственные лишь «бумажным» пластам деловой речи. Установление такого факта существенно для исторического синтаксиса немецкого языка само по себе, безотносительно к каким-либо вероятностным выводам по общей употребительности этой структуры у Гете и Винкельмана, хотя при определенных обстоятельствах несомненный интерес может представить и более широкое обследование размеров элементарного предложения у этих авторов. Однако никакие полученные при этом данные не смогут отменить обнаруженного хотя бы в одном отрезке их произведений значительного размера элементарных предложений [7].

Таким образом, в плане лингвистического исследования огромное значение может иметь простое установление возможности определенного сочетания качественных и количественных моментов, для чего совершенно не требуется какая-либо вероятностная оценка.

Одним из примеров установления возможности такого пересечения качественных и количественных моментов может также служить (в лингвостилистической сфере) обнаруживающееся на отдельных страницах в описаниях у современного писателя П. Вейсса широкое употребление родительного падежа. Так, на первой странице повести «Der Schatten des Körpers des Kutschers» 26,15% (17 примеров) общего количества существительных стоит в родительном падеже. Столь широкое применение родительного падежа, значительно превосходящее его обычное применение в художественной литературе [8], основывается на таких специфических стилевых чертах, проявляющихся с особой силою (как бы нарочито экспериментально) в данном отрезке текста Вейсса [9], как стремление перенести в художественное описание черты делового (в частности, технического) стиля.

Фиксация подобного употребления родительного падежа на хотя бы самом ограниченном участке художественного произведения исключительно важна и интересна для лингвостилистической характеристики современного немецкого языка (и тем самым для конкретной характеристики самого строя современного немецкого языка) в плане реальных потенций

[6] I. Ljungerud, Zur Nominalflexion in der deutschen Literatursprache nach 1900, Lund, 1955. См. например, стр. 171—172, 224—225, 254—255.

[7] См.: В. Г. Адмони, Развитие структуры предложения в период формирования немецкого национального языка, стр. 70—72.

[8] По данным Л. Н. Иноземцева («Емкость группы существительного в современном немецком языке». Автореф. канд. диссерт., Л., 1965, стр. 9), существительные в родительном падеже составляют в художественной литературе лишь 6,74% общего числа существительных.

[9] Нарочитый и экспериментальный характер носит сам заголовок этого произведения П. Вейсса («Der Schatten des Körpers des Kutschers») с его цепочкой из двух определительных родительных.

использования родительного падежа независимо от того, встречается ли подобное использование на других страницах данной повести П. Вейсса и в других его произведениях или в произведениях других современных немецких прозаиков. Любые данные, добытые по другим текстам, не смогут отменить факта наличия в данном тексте определенного употребления родительного падежа, проявляющего себя как качественно, так и количественно. Ни о какой проверке степени достоверности подобного употребления родительного падежа здесь не может быть и речи, так как здесь вообще не ставится вопрос о том, в какой мере данное употребление распространяется на всю совокупность данного произведения или еще шире.

Мы привели лишь небольшую часть тех примеров, когда обращение к количественным данным не может — в силу самого существа соответствующих исследований — проводиться приемами вероятностной статистики. Во всех этих случаях исследователь производил подсчеты, т. е. так или иначе занимался статистикой. Но эта статистика, оставаясь в пределах арифметических, т. е. самых элементарных математических операций, не была вероятностной статистикой.

3. Обратимся теперь к тем случаям, когда вероятностная трактовка количественной стороны грамматических явлений в принципе, формально, представляется возможной, но когда характер материала делает предпочтительнее — целиком или частично — обращение к «симптоматической статистике».

Мы рассмотрим лишь один вид таких случаев, а именно употребление грамматических форм, систематически, а не изредка встречающихся в речи. Выбор именно этой проблемы представляется нам целесообразным в связи с тем, что к сфере употребительности систематически встречающихся грамматических форм вероятностная статистика не раз уже обращалась и что в ряде случаев,— но не всегда, как мы постараемся показать,— она действительно может быть здесь использована [10]. Наши соображения будут проиллюстрированы анализом употребительности родительного падежа в современном немецком литературном языке. Это вызвано тем, что по данному вопросу имеются поучительные работы — в частности, статья Т. В. Строевой [11], в которой на практике применяются общие положения, изложенные в упомянутой статье Л. Р. Зиндера и Т. В. Строевой.

Вероятностная статистика не является единственно возможным спо-

[10] Это мы подчеркивали и в наших прежних работах. См., например: «Это не значит, что методы математической статистики вообще неприменимы в историко-грамматическом и вообще в грамматическом исследовании. На своем месте они возможны и нужны» (В. Г. Адмони, Качественный и количественный анализ грамматических явлений, «Теоретические проблемы современного советского языкознания», М., 1964, стр. 66).

[11] Т. В. Строева, Сопоставительная статистика падежных словоформ имени существительного в немецком и русском языках, «Ин. яз. в шк.», 1968, 5. Хотя непосредственная тема статьи сопоставительная, основное внимание в ней уделено употребительности родительного падежа в немецком языке. Что касается сопоставления данных немецкого и русского языков, то Т. В. Строева всячески подчеркивает меньшую употребительность родительного падежа в немецком языке по сравнению с русским. Но с точки зрения внутренней проблематики немецкого языка чрезвычайно интересно и важно, что данные Т. В. Строевой, как и данные других исследователей, выявляют сравнительно высокую частотность родительного падежа, которая, хотя и уступает, как правило, частотности других падежей, но все же соизмерима с нею, не сводится к единичным случаям употребления. Этот момент весьма примечателен, потому что родительный падеж в немецком языке часто рассматривался как мертвый, искусственный, отмирающий и т. п. — в связи с тем, что он полностью исчез в большинстве диалектов и чрезвычайно редко употребляется в обиходно-разговорной речи. С этой точки зрения удивительно не столько то, что частотность родительного падежа в немецком и русском языках различается, сколько то, что их частотность все же соизмерима, характеризуясь превышением употребительности родительного падежа в русском языке в 2—2,5 раза. О проблемах развития родительного падежа в немецком языке см.: W. G. Admoni, Die umstrittenen Gebilde der deutschen Sprache von heute, «Muttersprache», 1962, 6.

собом исследования употребительности грамматических форм, в первую очередь, вследствие того, что чрезвычайно трудно установить реальные очертания той совокупности, по отношению к которой оценивается степень достоверности количественных наблюдений на данном материале.

Наиболее трудно определима та совокупность, которой является язык какого-либо народа в какой-либо период его истории, даже если ограничить его рамками языка литературного. Неясно, какой из функциональных стилей следует взять за основу, чтобы определить общие количественные закономерности, характерные для данного языка в целом. Еще более неясно, по какому расчету соотнести между собой данные, устанавливаемые для употребительности какой-либо грамматической формы в разных функциональных стилях. Ведь функциональные стили не равноправны, не равнозначимы с точки зрения функционирования языка в его цельности, и равенство выборок по каждому стилю объективно не отражает соотношение между этими стилями в языке.

Поэтому выведение средних данных по употребительности какой-либо грамматической формы в каком-либо языке может быть лишь весьма приблизительным и условным. Именно так и поступает в отношении употребительности родительного падежа Л. Н. Иноземцев, оценивающий полученные количественные данные «не как выражение строгой вероятностно-статистической закономерности, а как симптомы качественных тенденций». Иноземцев обследует четыре функциональных стиля (научно-технический, общественно-политический, художественный и обиходно-разговорный) и намечает среднюю частотность употребления родительного падежа в «среднем» немецком языке — 14,10%. В научно-техническом стиле она поднимается до 18,60%, в общественно-политическом до 24,9% [12].

Другим путем идет Т. В. Строева, ориентирующаяся на выведение строгих, жестких закономерностей и использующая аппарат вероятностной статистики, хотя и в рамках «элементарной описательной статистики» [13]. Она ограничивается данными одного (научного) функционального жанра для установления частотности родительного падежа в немецком языке в целом.

Конечно, Т. В. Строева знает, что «разные функциональные стили... имеют совершенно разные показатели количественного распределения падежных словоформ...». Но она именно этим мотивирует то, что для задуманного ею сравнения ей «пришлось остановиться на одном из них (функциональных стилей. — *В. А.*)» [14], даже не ставя вопроса о том, в какой степени полученные ею данные характеризуют весь немецкий язык, везде подставляя более общую совокупность «немецкий язык» там, где ее материалы позволяют ей говорить лишь о более частной совокупности, т. е. об одном функциональном жанре немецкого языка. Да и сопоставление с русским языком, которое является непосредственной целью статьи Т. В. Строевой, фактически оказывается сопоставлением лишь одного функционального стиля немецкого языка с одним функциональным стилем русского языка. Между тем, по данным В. А. Никонова по русскому языку [15] и Л. Н. Иноземцева по немецкому языку можно заключить, что в обиходно-разговорной речи употребление родительного падежа в немецком языке еще более уступает его употреблению в русском

[12] Л. Н. Иноземцев, указ. соч., стр. 9. В статье Т. В. Строевой данные Л. Н. Иноземцева не учтены.

[13] Т. В. Строева, указ. соч., стр. 14.

[14] Т. В. Строева, указ. соч., стр. 8.

[15] В. А. Никонов, Статистика падежей русского языка, «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 1959, 3 (10), стр. 48.

языке, чем это имеет место в стиле научной литературы. У В. А. Никонова процент родительного падежа в разговорной речи колеблется между 11,0 и 16,0, в то время как у Л. Н. Иноземцева он равняется в среднем 3,2%. Таким образом, родительный падеж встречается в обиходно-разговорной речи в немецком языке, примерно, в 3,5—4 раза реже, чем в русском языке. Между тем, в научной литературе в немецком языке (по данным Никонова, Иноземцева и Строевой) родительный падеж встречается лишь в 2,—2,5 раза реже, чем в русском языке.

Невозможность вероятностно-статистического, жесткого определения частотности употребления грамматических форм во всей совокупности литературного языка делает понятным, почему вероятностно-статистические работы, как правило, посвящены употреблению грамматических форм в тех или иных функциональных стилях, а не в языке в целом. Но, даже в стиле научной литературы возможны весьма значительные расхождения между отдельными ее отраслями, а также между манерами изложения — как индивидуальными, так и более общего типа.

Наибольшим единообразием обладают — в плане употребительности в них грамматических форм — некоторые узкие отрасли науки и техники, язык которых характеризуется чрезвычайной отработанностью не только терминологии, но и всей манеры изложения, где употребителен ряд постоянно повторяющихся структур, даже штампов, как бы заранее навязывающихся пишущему. Повторяемость формул и условных обозначений содействует здесь единообразию в употреблении языковых форм. Вероятностно-статистические обследования более всего применимы именно к такому материалу.

Но, как мы уже сказали, во многих областях научной литературы, особенно в таких, где имеются многообразные тематические и проблемные ответвления, где у пишущих возможны различные стилевые установки, нередко связанные с различиями в научных концепциях, возможно — как результат воздействия всех этих факторов — и значительное многообразие в плане употребительности грамматических форм.

Обратимся снова к употреблению родительного падежа.

Как мы видели, по данным Л. Н. Иноземцева, не претендующим на строгость, средняя частотность употребления родительного падежа в научно-техническом стиле немецкого языка составляет 18,60%.

По данным Т. В. Строевой, претендующим на вероятностно-статистическую строгость, эта употребительность составляет 16,6%. К этому выводу Т. В. Строева приходит, обследовав тексты из шести областей научной литературы (в скобках указываем процент употребительности родительного падежа): 1) философия и политическая экономия (17,8%), 2) лингвистика (15,30%), 3) литературоведение (18,4%), 4) геология (16,1%), 5) история математики (17,7%), 6) металловедение (14,7%). Тексты относятся к XX в., к разным его периодам, в том числе и самому началу. По каждой области взято для русского языка 5000 слов, для немецкого языка 10 000 слов. Заданная ошибка при подсчетах — 0,1 [16].

Но совпадает ли употребительность родительного падежа в этих областях знания с его употребительностью в других областях знания? Ведь за пределами анализа здесь остались такие науки, как математика и физика, биология и медицина, химия и астрономия и мн. др. В некоторых случаях взятая Т. В. Строевой отрасль знания, может быть, действительно является репрезентативной для целого ряда отраслей: металловедение,

[16] Т. В. Строева, указ. соч., стр. 10—11. Для русского языка устанавливается коэффициент вариации 14%. Для немецкого языка коэффициент специально не указывается, но, судя по ссылке в табл. II на примечание к табл. I, он был вычислен примерно в тех же размерах.

возможно, «покрывает собой» целый ряд технических наук. Но у названных нами выше отраслей знания, не вошедших в набор Т. В. Строевой, нет прямых соответствий в этом наборе. Так, даже история математики вряд ли может репрезентировать математику как таковую, являясь дисциплиной переходной, стоящей на грани между математикой и гуманитарной наукой — историей.

4. В статье Т. В. Строевой содержится молчаливое допущение того, что все необследованные ею отрасли знания характеризуются тем же распределением падежей, который ею установлен для обследованных отраслей знания. А различия в этом распределении между обследованными ею областями рассматриваются ею как несущностные на основании того, что при применении формулы, позволяющей вычислить коэффициент вариации, т. е. показывающий меру колеблемости выборочных частот, ею были получены величины, которые вероятностная статистика признает допустимыми для выдвижения гипотезы о случайности варьирования частот.

Мы не имели возможности провести развернутые разыскания по этой проблеме. Однако даже весьма ограниченные материалы позволяют нам поставить под сомнение концепцию Т. В. Строевой.

Прежде всего, сами материалы Т. В. Строевой показывают известную дифференциацию употребительности родительного падежа в зависимости от характера области знания. А именно, гуманитарные или полугуманитарные науки (за одним исключением) характеризуются более высокой долей родительного падежа, чем науки точные, в том числе технические. Философии и политической экономии (17,8%), литературоведению (18,4%) и истории математики (17,7%) противостоят геология (16,1%) и металловедение (14,7%). Особое место занимает лишь лингвистика (15,3%), которая стоит на втором месте «снизу», сразу за металловедением, тем самым, казалось бы, начисто опровергая наше предположение об известном различии в распределении падежей между гуманитарными и негуманитарными науками.

Но сама лингвистика — особенно в последнее десятилетие — является наукой весьма неоднородной — как с точки зрения материала, так и с точки зрения методики исследования. Если обратиться под этим углом зрения к тем текстам, которые были обследованы Т. В. Строевой, то окажется, что оба взятые ею текста репрезентируют лишь одну единственную и очень специфическую отрасль языкознания, а именно, весьма единообразные структуралистские работы, входящие в серию «Studia grammatica», для которой, как и для многих других ответвлений структурализма, характерна большая стилевая близость к точным наукам. Если же привлечь лингвистические тексты, относящиеся к другим разделам этой науки или написанные с несколько иных позиций, то результаты уже будут иными. Так, мы обследовали выборки из трех современных историй немецкого языка, взяв разделы, посвященные развитию немецкого литературного языка, и получили следующие весьма сходные между собой данные: Г. Мозер [17] — всего существительных 1432, из них существительных в родительном падеже 304, т. е. 21,23%, А. Бах [18] — всего существительных 1238, из них существительных в родительном падеже 251, т. е.

---

[17] H. M o s e r, Deutsche Sprachgeschichte, 3. Aufl., Stuttgart, 1957, стр. 142—163. Здесь и далее при подсчетах не учитывались цитаты и примечания всех видов, языковые примеры и сокращения, а также инициалы. Названия книг и т. п. рассматривались как одно слово.

[18] A. B a c h, Geschichte der deutschen Sprache, 8. Aufl., Heidelberg, 1965, стр. 368—397. Не учитывались разделы, данные петитом.

21,1%, Г. Эггерс [19] — всего существительных 624, из них существительных в родительном падеже 118, т. е. 19,09%. Это почти на 4—6% превосходит данные Т. В. Строевой. Однако и в других областях языкознания возможны величины, не совпадающие с данными Т. В. Строевой. Так, в работах по грамматике современного немецкого языка и исторической грамматике, более близких к «традиционной грамматике», в разделах, носящих более обобщенный характер (вводных или итоговых), мы находим следующие величины; В. Флемиг [20] — всего существительных 220, из них существительных в родительном падеже 50, т. е. 22,7%. В. Флейшер [21] — всего существительных 575, из них существительных в родительном падеже 127, т. е. 22,9%. Во «Введении» в книге В. Зейбике, посвященной развитию значения слова *Technik* [22], всего существительных 506, из них в родительном падеже — 106, т. е. 20,95%.

Еще более интересные данные обнаруживаются в работе, стоящей на стыке между лингвистикой и литературоведением, а именно изучающей стиль художественной литературы. В книге Ф. Мартини [23] в двух последних абзацах всех глав процент существительных в родительном падеже колеблется между 16,44% (глава о Кафке) и 31,68% (глава о Брохе), при средней доле родительного падежа во всех этих заключительных абзацах — 24,46%.

А в лекции Т. Манна «Об искусстве романа», прочитанной им перед студентами Принстонского университета, общее число существительных 954, а число существительных в родительном падеже — 215, что составляет 22,5%.

Мы приводим эти данные не для того, чтобы установить какие-либо жесткие закономерности, а только для того, чтобы показать, что тенденции в употребительности родительного падежа в лингвистической и близкой к ней литературе явно не укладываются в показатели, установленные Т. В. Строевой, и что возникающие здесь количественные расхождения явно связаны с качественными, сущностными различиями между текстами или между разделами одного текста.

В самом предварительном порядке здесь можно высказать предположение, что увеличение доли родительного падежа в лингвистических текстах связано с приближением лингвистической тематики и проблематики к исторической и философской тематике и проблематике, с усилением момента обобщенности и итоговости и с уменьшением формально-описательной тематики: заслуживает внимания, что в сугубо описательном, эмпирическом отрывке из книги В. Флейшера (§§ 2,4—2—5) доля родительного падежа (34 примера) среди всего числа существительных (428) понижается до 7,94% по соотношению с 22,09% во введении и заключении. Вероятно, здесь играют роль и такие стилевые моменты, как тенденции одних лингвистических направлений или отдельных ученых к более субстантивному или к более вербальному стилю и т. п. Все это требует длительного изучения. Но во всяком случае здесь намечается значительная дифференциация, вызванная воздействием ряда конкретных факторов.

---

[19] H. Eggers, Deutsche Sprachgeschichte, I, «Rowohlts deutsche Enzyklopedie», 185/186, 1963, стр. 225—233.

[20] W. Flämig, Zum Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart, 2. Aufl. Berlin, 1962, стр. 1—5.

[21] W. Fleischer, Strukturelle Untersuchungen zur Geschichte des Neuhochdeutschen, Berlin, 1966, стр. 1,1—5; 3, 12, 1—7.

[22] W. Seibicke, Technik. Versuch einer Geschichte der Wortfamilie um *tekne* in Deutschland vom 16. Jh. bis etwa 1830, Düsseldorf, 1968, стр. 1—12.

[23] Fr. Martini, Das Wagnis der Sprache. Interpretationen deutscher Prosa von Nietzsche bis Benn, 2, Aufl., Stuttgart, 1956.

А если такое положение обнаруживается внутри одной отрасли науки, то вряд ли могут быть сомнения в том, что весьма значительные расхождения существуют между отдельными отраслями науки или их группами.

Реальная картина употребительности родительного падежа во всей системе научной литературы несравненно сложнее той картины, которая нарисована в статье Т. В. Строевой. Вообще, в противоположность Т. В. Строевой, которая полагает, что ее исследование исчерпывает и как бы «закрывает» проблему употребительности родительного падежа в немецкой научной литературе, мы считаем, что исследования Л. Н. Иноземцева, Т. В. Строевой и др. являются только первыми шагами в разработке этой проблемы.

Но уже сейчас можно сказать, что по вопросу об употребительности родительного падежа в научном языке в целом результат вообще не может быть сведен к жестким и строгим (в вероятностно-статистическом смысле) данным. Такие характеристики соотношения между употребительностью падежей в немецкой научной литературе, как значительное количественное преобладание именительного и дательного падежей при значительном отставании винительного и — особенно — родительного падежей, оказываются более точными, чем какая-нибудь характеристика, устанавливающая жесткие верхние и нижние границы колебаний в употребительности этих падежей в этом функциональном стиле, т. е. рассматривающая эти колебания как несущностные вариации. Именно такие случаи мы имели в первую очередь в виду, когда писали, что часто «очень общие и ориентировочные термины „больше", „меньше", „много", „мало", „значительно больше" и т. п. по сути дела более точны, чем вероятностно-статистические данные» [24].

Повторим еще раз, что настаивая на важности симптоматического подхода к количественной стороне грамматических явлений, мы совсем не отрицаем и возможности в ряде случаев вероятностно-статистического подхода к ней. Как раз те исследователи, которые утверждают необходимость фронтального вероятностно-статистического подхода при изучении количественных моментов в грамматике, затрудняют обнаружение тех частных областей грамматического строя, где этот подход оказывается действительно оправданным. Выяснить это можно только на основе чрезвычайно дифференцированного подхода к количественной стороне грамматического строя — в частности, к проблеме употребительности грамматических форм.

Так, возвращаясь к употребительности грамматических форм в функциональном стиле научной литературы, отметим, что здесь возможна была бы дифференциация не только по отраслям знания, но и по формам трактовки материала. Обобщенное теоретическое изложение какой-либо проблемы может в принципе характеризоваться несколько иными тенденциями в употребительности некоторых грамматических форм, чем описание эксперимента, перечисление ряда конкретных фактов и т. д. Если в художественной литературе употребительность грамматических форм обычно рассматривается раздельно по авторской речи и речи персонажей, то определенная дифференциация желательна в той или другой степени и в других функциональных стилях. Впрочем и в художественной литературе для более адекватной характеристики употребления некоторых грамматических форм возможно дополнительное выделение таких отличающихся друг от друга моментов повествования, как обобщенное описание характеристики персонажей и т. п.

---

[24] В. Г. Адмони, Основы теории грамматики, М.—Л., 1964, стр. 82.

Исследование количественной стороны грамматических явлений — это сложный и длительный процесс, ведущий ко все большей детализации и дифференциации. Представление, что путем применения вероятностно-статистических приемов здесь можно с легкостью однозначно решить и «закрыть» существеннейшие проблемы, совершенно не соответствует действительности.

5. Утверждая необходимость и возможность фронтального применения вероятностной статистики в сфере употребления грамматических форм, Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева отметают наше соображение, что при вероятностно-статистическом подходе может оказаться не учтенным то качественное различие, которое иногда стоит за одинаковыми количественными данными. Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева опровергают это положение утверждением, что «первый закон статистики — это подсчет однородных единиц...» [25].

Но практически установление однородности или неоднородности языковых явлений в сфере употребительности грамматических форм оказывается совсем не таким простым делом. Так, по материалам Г. Аренса [26], чрезвычайно близки друг к другу размеры цельного предложения в написанных в середине XVIII в. «Баснях» Лессинга (13,66) с их предельно обобщенным содержанием и в романе Деблина «Берлин — Александерплатц», написанном в 20-х годах нашего века и изображающем жизнь большого города с чрезвычайной конкретностью (13,92). Еще более разительно почти полное совпадение, обнаруживающееся — также по материалам Аренса — в размерах цельного предложения между сказками братьев Гримм (27,22) и «Волшебной горой» Т. Манна (27,19). Стиль «Сказок», выдвигающий на передний план конкретные действия и состояния персонажей, снабжающий существительные лишь самыми необходимыми определениями, противостоит здесь стилю интеллектуальной прозы, освещающей предмет изображения с разных сторон, перебирающей множество различных признаков предмета, чтобы найти его наиболее существенный признак и т. д. Но выражается все это, согласно подсчетам Аренса, в цельных предложениях одинакового размера.

Качественная неоднородность величин, совпадающих по своим количественным показателям, подстерегает исследователя на каждом шагу. Этим подкрепляется наш общий вывод, что при анализе количественной стороны грамматических явлений, помимо вероятностно-статистических приемов надо применять и другие приемы анализа количественных наблюдений, в частности, установление во всей массе исследуемого материала опорных пунктов, характеризующихся четким выявлением того воздействия, которое оказывают на частотность употребления соответствующей грамматической формы те или иные факторы. Вокруг таких опорных пунктов могут затем группироваться тексты, у которых эти факторы также действуют, но менее сильно.

Как мы видели, такой подход отнюдь не отрицает важности установления средних данных. Для того чтобы выявилось своеобразие частотности употребления грамматических форм под воздействием специфических факторов, надо прежде всего иметь средние данные по соответствующему функциональному стилю или по какой-нибудь его области, а в какой-то мере и по всему языку. Но в отличие от вероятностно-статистического подхода, средние данные выводятся и трактуются здесь не как жесткие и строгие, достоверность которых поддается точной проверке, а как приблизительные, наметочные, колеблющиеся, дающие лишь общий ориентир

[25] Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева, указ. соч., стр. 122.

[26] H. Arens, Verborgene Ordnung. Die Beziehungen zwischen Satzlänge und Wortlänge in deutscher Erzählprosa vom Barock bis heute, Düsseldorf, 1965.

и перспективу и не только допускающие, но и предполагающие весьма широкую, заранее не установленную амплитуду колебаний.

В отдельных случаях, по некоторым областям некоторых функциональных стилей, как мы уже отметили, в качестве средних данных возможны и данные, установленные вероятностно-статистическими способами, т. е. строгие и жесткие. Но это будут лишь частные случаи, впрочем, без труда включающиеся в общую систему, построенную на выявлении приблизительных средних данных, на фоне которых выступают в своем своеобразии разного рода более специфические «опорные пункты», в которых отчетливо проявляется воздействие тех или иных частных факторов.

В этих случаях количественные показатели рассматриваются не как жесткие закономерности, а как мобильные, колеблющиеся приметы, выступающие лишь как симптомы тех или иных качественных моментов, свойственных данным явлениям. Именно поэтому мы в свое время сочли уместным условно назвать все эти, а заодно и другие способы обработки наблюдений над количественной стороной грамматических явлений, не укладывающиеся в рамки вероятностно-статистических способов, способами симптоматически-статистическими (или просто симптоматическими). Введением особого термина мы хотели подчеркнуть наличие двух принципиально различных, хотя и могущих взаимодействовать, подходов к осмыслению поддающейся подсчетам количественной стороны грамматических явлений. А выбором термина «симптоматический» мы хотели подчеркнуть, что суть этого подхода состоит в рассмотрении количественных показателей как симптомов качественных признаков.

Правда, Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева возражают против применения этого термина на том основании, что и вероятностная статистика всегда симптоматична, выявляя качественные симптомы соответствующего объекта. Но даже если согласиться с этим утверждением, то нельзя не отметить, что вероятностная статистика, помимо того, что она симптоматична, устанавливает также жесткие статистические закономерности и выявляет степень достоверности этих закономерностей. Между тем, тот количественный подход, который мы называем симптоматической статистикой («симптоматикой»), ограничен лишь своей функцией симптома для выявления определенных качественных моментов исследуемого объекта. Но в какой-то мере вероятностная статистика, по самому своему замыслу, вообще в своей основе вряд ли может рассматриваться как симптоматическая. Ведь она трактует колебания в количестве каких-либо показателей у ряда объектов совсем не как проявление разных качеств этих объектов, а как проявление закономерностей, управляющих случайными признаками, т.е. как случайное распределение, подведомственное именно статистическим, математическим закономерностям. А симптоматической, т. е. сигнализирующей о качественных сдвигах, вероятностная статистика становится, собственно, тогда, когда она выходит за свои пределы, когда она устанавливает, что колебания в количестве данных показателей не укладываются в рамки вероятностного распределения, т. е. не случайны. Правда, вероятностная статистика обладает аппаратом, который способен фиксировать момент, когда количественные колебания из случайных делаются сущностными, что усиливает связь вероятностной статистики с симптоматикой. Но вся основа вероятностной статистики не симптоматична.

Ведь вероятностно-статистические закономерности как таковые вообще направлены не на то, чтобы наметить какие-либо каузальные связи, вызывающие данное количественное распределение, или хотя бы поставить вопрос о таких связях, а на то, чтобы заменить собой каузальные связи. Вероятностно-статистическое объяснение какого-либо явления по своему замыслу есть альтернатива к причинному объяснению этого яв-

ления. Но «симптоматика» отнюдь не претендует на замену причинного объяснения, а напротив, стремится содействовать такому объяснению.

Нам могут, естественно, возразить, что при наличии у вероятностной статистики особого аппарата для установления тех пределов, за которыми распределение тех или иных величин из вероятностного (случайного) становится каузально мотивированным, и в грамматике при обращении к ее количественной стороне следует всегда начинать с вероятностно-статистического испытания на применимость того или иного метода к данному материалу. Но не говоря уже о том, что этот аппарат не всегда срабатывает, в очень многих случаях такой путь означал бы излишнюю задержку и был бы простым проявлением педантизма, так как причинная связь определенных факторов с определенными количественными сдвигами в этих случаях дана отчетливо и без таких предварительных испытаний.

Одной из задач наших прежних публикаций, посвященных изучению количественной стороны грамматических явлений, было предостеречь молодых языковедов от механического применения приемов вероятностной статистики при каждом обращении к количественному материалу. Опасность такого бездумного ученичества, сводящего всякую обработку количественных данных к использованию некоторого набора формул, особенно велика потому, что за последние десятилетия подобная тенденция свести труд лингвиста к применению определенных заранее данных схем к языковому материалу без всякого учета специфики этого материала стала проявляться с большой силой, ведя к обеднению общей картины языка [27]. Впрочем за последнее время эта тенденция начала преодолеваться. Тем досаднее, что она теперь заново возрождается в сфере количественных исследований грамматических явлений. Стремление предотвратить это — вот одна из важнейших причин появления настоящей статьи.

«Симптоматический» подход к количественной стороне грамматических явлений отнюдь не означает «легкой жизни» для исследователя. Напротив, он ставит перед ним чрезвычайно трудную задачу, поскольку лингвист, помимо выполнения подсчетов как таковых, должен при этом всегда заново рассматривать все связи, в которых находится изучаемое явление, взвешивать соотносительную силу факторов, действующих на это явление, устанавливать те перспективы, в которых это явление должно рассматриваться. Кстати, он должен быть в состоянии — там, где это действительно нужно,— применять и приемы вероятностной статистики. Но эти трудности вознаграждаются тем, что он, хотя бы в отдаленном приближении, раскрывает реальную исключительно сложную картину языковой действительности. Его работа, как правило, не «закрывает» начатое им исследование, а открывает новые стороны изучаемых явлений и новые возможности применения разных методов изучения количественной стороны грамматических явлений, а также их качественной стороны.

Человечество имеет все основания гордиться тем, что им создана — в качестве языка — такая многоаспектная, многослойная система, в которой, в процессе ее изучения, обнаруживаются все новые стороны, все новые сплетения и сцепления, все новые тенденции, как это имеет место при изучении явлений природы. И только естественно, что при исследовании языка — в частности, в его количественной сфере — чрезвычайно большое значение должны иметь методы, позволяющие нащупать все новые и новые связи и тенденции в языковой системе [28].

---

[27] Ср.: В. Г. Адмони, «Языкознание на переломе», «Ин. яз. в шк.», 1968, 3.

[28] Недостаток места не позволяет нам затронуть здесь вопрос о том, что исследование количественной стороны грамматических явлений может представить интерес для общей проблематики соответствующих разделов математики. См.: В. Г. Адмони, Основы теории грамматики, стр. 103—104.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1970

В. Я. МЫРКИН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ РЕЧИ В КОРРЕЛЯЦИИ: ЯЗЫК — РЕЧЬ

Как известно, противопоставление языка и речи является одной из самых спорных проблем соссюровского наследия, порождающей вплоть до сегодняшнего дня полярные утверждения: от абсолютного разграничения языка и речи (на различных основаниях) до абсолютного их совмещения [1]. Причем центр дискуссии сосредоточен на понятии языка, в то время как понятие речи — наблюдаемого, чувственно воспринимаемого, словом, бесспорно реального феномена языковой деятельности — не вызывает особых разногласий и формулируется так: «...Каждый раз, когда один человек говорит что-либо другому, мы имеем дело с речевым, актом, или речью. Речь всегда конкретна, она приурочена к определенному месту и к определенному времени. Она предполагает наличие говорящего („отправителя"), слушателя („получателя") и предмета, о котором идет речь» [2]. Или короче так: «Речь — это использование языка отдельным лицом в конкретной ситуации, это — индивидуальный акт» [3].

Эти предельно отчетливые и недвусмысленные дефиниции речи не вызывают, надо полагать, принципиальных возражений в современной науке, хотя в каноническом «Курсе...» Ф. де Соссюра именно в таком виде они не даны.

Тем не менее в более подробном и конкретном толковании понятия речи встречаются некоторые разногласия, которые на фоне дискуссии о языке остаются как-то в тени. Эти разногласия и противоречивые суждения основываются, с одной стороны, на некоторых противоречивых формулах самого Ф. де Соссюра, имеющихся в «Курсе...», что по хорошо известным причинам вполне объяснимо, и, с другой стороны, на вольном или невольном игнорировании уточнений и разъяснений данного вопроса в научной литературе послесоссюровского языкознания.

Целью данной работы и является снятие таких неточных суждений о речи в дихотомии языка и речи, которые на современном этапе науки о языке в общем-то не должны быть, как мне представляется, дискуссионными.

1. Ф. де Соссюр, как известно, противопоставил в «Курсе...» язык и речь как социальное индивидуальному [4]. Однако для некоторых исследо-

[1] Ср. например: «Сами термины *язык* и *речь* являются абсолютными синонимами, которые своим содержанием определяют один и тот же объект — коммуникативную систему знаков» (А. Г. Волков, О теоретических основаниях дихотомической гипотезы *языка* и *речи* Ф. де Соссюра, «Вестник МГУ». Филология, журналистика, 1964, 2, стр. 53).

[2] Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 7. К этим трем факторам речи А. Гардинер прибавляет четвертый — актуальные слова (см.: A. H. Gardiner, The theory of speech and language, Oxford, 1932, стр. 20).

[3] S. Ullmann, Semantics. An introduction to the science of meaning, Oxford, 1962, стр. 20.

[4] Ср.: «Разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем 1) социальное от индивидуального; 2) существенное от побочного и более или менее случайного» (стр. 38);

вателей языка стало обыкновением утверждать, что это противопоставление неверно, что речь не индивидуальна, а социальна так же, как и язык, на основании того, что «определение речи как явления физического, индивидуального (логически „отдельного") лишено внутренней логики, если для осуществления *речи* необходимы минимум двое, то не только практически, но и теоретически речь оказывается явлением социальным; следовательно, понятие „*речь* — индивидуальное" лишено смысла» [5]. В качестве предварительного ответа на такой силлогизм заметим, что если так односторонне понимать социальность, то тогда неуместны и такие обычные речения, как: «индивидуальный подход к ученикам», «индивидуальный план работы», «индивидуальное соревнование», «индивидуальное обслуживание» и т. п., поскольку и здесь имеются в виду как минимум два лица. Но разве говорят вместо этого «социальное обслуживание» или «социальное соревнование»?! Ясно, что «индивидуальное» здесь употребляется в смысле «сольное исполнение», имеющее, разумеется, «социальное значение».

Впрочем надлежащее истолкование формулы: р е ч ь — и н д и в и д у а л ь н а было сделано еще А. Гардинером: «Факты, изложенные в последнем параграфе, показывают несомненно, что, говоря о социальном акте, я не имею в виду коллективный акт. Напротив, любой акт речи индивидуален в том смысле, что он исходит из импульса и воли со стороны одного лица» [6]. Предельно кратко и ясно данная ситуация разъяснена Т. П. Ломтевым: «И язык и речь имеют общественную, социальную природу. Но в акте общения социальная природа языка принимает форму индивидуальной речи. Язык в акте общения не существует иначе, как в форме индивидуального говорения» [7].

Теперь, когда мы имеем дополнительные материалы Ф. де Соссюра, изданные Р. Годелем [8], можно показать, как Ф. де Соссюр сам разъяснял понимание индивидуального в речи: «В исполнительной части 1) индивид остается хозяином; 2) исполнение никогда не может быть массовым; оно остается индивидуальным: это речь» [9].

Таким образом, речь социальна по значению и индивидуальна по исполнению. Язык социален (или коллективен) по его общности (идентичности) для всех членов языкового коллектива. Но, с известной точки зрения, язык также и индивидуален: он хранится в виртуальной форме в сознании отдельных индивидуумов. Значит, наряду с оппозицией языка и речи как социального индивидуальному в принципе возможна оппозиция языка и речи как индивидуального социальному. Это понимал и Ф. де Соссюр. При чтении своего первого курса в Женевском университете он говорил так: «Из этих двух сфер (т. е. речи и языка.—*В. М.*) сфера речи более социальна, вторая более индивидуальна. Язык — индивидуальный клад; все что входит в голову, т. е. в сознание, индивидуально» [10]. Впро-

---

«В речи нет ничего коллективного: проявления ее индивидуальны и мгновенны; здесь нет ничего, кроме суммы частных случаев, по формуле: $(1 + 1' + 1'' + 1''' + \ldots)$», (Ф. де С о с с ю р, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 43).

[5] А. Г. В о л к о в, указ. соч., стр. 53. Аналогично см.: Ю. М. С к р е б н е в, О разграничении и противоположении понятий «язык» и «речь», «Вопросы общего и германского языкознания», Уфа, 1964, стр. 9—10; так же: Н. Д. А н д р е е в, Л. Р. З и н д е р. О понятиях речевого акта, речи, речевой вероятности и языка, ВЯ, 1963, 3, стр. 19.

[6] A. H. G a r d i n e r, указ. соч., стр. 64.

[7] Т. П. Л о м т е в, Язык и речь, «Вестник МГУ», Филология, журналистика, 1961, 4, стр. 69.

[8] См.: R. G o d e l, Les sources manuscrites du *Cours de linguistique générale* de F. de Saussure, Genève — Paris, 1957.

[9] Там же, стр. 154.

[10] Там же, стр. 145.

чем тут же Ф. де Соссюр добавляет: «Все, что в действительности считается внутренней сферой индивида, всегда социально, ибо ничто не поступает сюда, не будучи прежде санкционировано общим употреблением во внешней сфере речи» [11].

Нетрудно понять, почему Ф. де Соссюр при последующих чтениях своего курса отдал предпочтение корреляции: «речь — индивидуальна, язык — социален». Именно эти черты имеют решающее лингвистическое значение: индивидуальность исполнения обеспечивает особенность, уникальность и актуальность речевого акта, социальность языка гарантирует взаимопонимание индивидуумов. Напротив, такие черты, как социальность речи (т. е. наличие говорящего и слушающего) и индивидуальность языка (т. е. способ хранения языка), оказываются лингвистически иррелевантными.

2. Другой ошибочной трактовкой речи является зачисление ее в некий «остаток» речевой деятельности. Автором этой мысли надо считать, видимо, А. Гардинера, который однажды выразился следующим образом: «Когда я говорю, что определенное явление в данном тексте принадлежит „речи", но не „языку", я разумею, что, если вы исключите из текста все те традиционные элементы, которые следует называть элементами языка, получится отстаток, за который говорящий несет полную ответственность, и этот остаток и является тем, что я понимаю под „фактами речи"» [12]. Из этого следует, что в тексте «сосуществуют» элементы языка и речи, которые при известном лингвистическом навыке можно механически разъединить. Едва ли с этим можно согласиться, как и с тем, чтобы речь — естественная форма существования языка — являлась в то же самое время «остатком» по отношению к языку.

Идея о речи как о некоем «остатке» приобрела популярность у некоторых исследователей языка и наиболее ярко представлена у А. И. Смирницкого, который пишет так: «Извлекая язык из речи как с р е д с т в о общения, применяемое в ней, мы получаем некоторый „сверхъязыковой остаток", который не есть нечто однородное и сам по себе не является предметом языкознания. В основном этот «остаток» составляется: а) из индивидуальных особенностей воспроизведения языка (особенностей в произношении, неполном или ошибочном понимании значений отдельных слов и пр.), б) из общественно выработанных особенностей использования тех или других фактов языка для достижения определенного эффекта, непосредственно не относящегося к основной функции языка (в частности, использование известных элементов звучания как такового в литературных целях: рифма, аллитерация, звукопись и пр.); в) из тех произведений, которые создаются в речи путем применения языка и как целые выходят уже за пределы языка, будучи выражениями мыслей, относящихся к той или иной жизненной сфере, обслуживаемой языком: ведь язык как таковой сам не принадлежит ни к одной из обслуживаемых им сфер человеческой деятельности» [13]. Здесь все вызывает недоумение. «Сверхъязыковой остаток» и «речь» — это одно и то же или нет? Или «остаток» у́же сферы речи, ибо последняя включает в себя и язык? Но почему тогда «остаток» состоит из «произведений, которые создаются в речи путем применения языка»? Ведь шире этого ничего нет в речевой деятельности, речь как раз и состоит из речевых произведений, иначе говоря, в пункте в)

[11] Там же, стр. 146.

[12] А. Г а р д и н е р, Различие между «речью» и «языком», в кн.: В. А. З в е г и н ц е в. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях, II, М., 1965, стр. 17.

[13] А. И. С м и р н и ц к и й, Объективность существования языка, М., 1954, стр. 29—30.

имеется в виду именно речь. Но если язык существует в речи, как это неоднократно утверждает и сам А. И. Смирницкий, то это значит, что язык существует в «сверхъязыковом остатке»!? Далее, почему в пункте а) смешаны столь различные вещи: индивидуальные особенности «воспроизведения языка», что является действительно непременной чертой речевого акта, способом существования общего в отдельном, единичном, и языковые ошибки разного характера, которые и впрямь можно назвать «сверхъязыковым остатком»?

Следует признать, что повод к толкованию языка и речи как каких-то комплементарных частей или «остатков» имеется у самого Ф. де Соссюра в одной из его парадоксальных формул: «Язык для нас — это речевая деятельность минус сама речь» [14].

Из того, что речь, как и язык, характеризуется своими особыми чертами, никоим образом не следует, что в речевом произведении (предложении, фразе, или высказывании) можно выделить элементы, относящиеся к языку, приписав все остальное мифическому «сверхъязыковому остатку». Язык как общее, как сущность существует в речевом акте как в отдельном, как в явлении, и не поддается механическому отделению от речи. Что касается термина «остаток», то при желании им можно назвать те явления в речи, которые считаются, с точки зрения языковой нормы, «неправильностями», «ошибками» и т. п., рассматриваемыми в стилистике или в «ортологии».

3. Как это ни странно, но именно упомянутое только что различение «правильного» и «неправильного», узуального и окказионального, кодифицированного и некодифицированного в речевой деятельности тоже стало основой для различения языка и речи, особенно в работах из области языковой нормы и культуры речи. Это может быть проиллюстрировано таким характерным высказыванием: «Не исключена возможность, что распространение предлогов, *о*, *за*, *на*, *по* и некоторых других (имеются в виду такие выражения, как *доказывать о чем-нибудь*, *характеристика на кого-нибудь* и т. п. — *В. М.*) из факта речи превратится в факт языка (разрядка наша — *В. М.*)» [15].

Я охотно допускаю, что, употребляя термины «язык» и «речь» в таком смысле, т. е. различая «литературное» и «нелитературное», «распространенное» и «нераспространенное» и т. п., иные авторы не имеют в виду соссюровскую дихотомию. Но ведь нужно уважать сложившуюся в науке терминологию или, по крайней мере, оговаривать свое индивидуальное употребление популярных терминов. Впрочем не исключено, что другие авторы, различая узуальное и окказиональное в речи, соотносят это прямо с традиционным различением языка и речи. Ведь сделал же сам Ф. де Соссюр в «Курсе...» такие, видимо, недвусмысленные высказывания как: «Исторически факт речи всегда предшествует факту языка» [16]; «Ничто не входит в язык, что не было бы раньше испытано в речи» [17]; «Надо отнести к языку, а не к речи все типы синтагм, построенных по правильным формам» [18] и т. п. Эти выражения Ф. де Соссюра, а также превратное истол-

---

[14] Ф. де Соссюр, указ. соч. стр. 86. Ср. толкование этой формулировки: W. Doroszewski, «Langue» et «parole», «Prace filologiczne», XIV, 1929, Warszawa, стр. 488. См. также критику идеи «сверхъязыкового остатка»: Ю. А. Жлуктенко, Язык и речь, «Вопросы теории и методики преподавания английского и немецкого языка. Сб. научных трудов Киевского инженерно-строительного института», 19, Киев, 1962.

[15] В. Г. Костомаров, Культура языка и речи в свете языковой политики, сб. «Язык и стиль», М., 1965, стр. 34.

[16] Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 42.

[17] Там же, стр. 156.

[18] Там же, стр. 122.

кование антиномии коллективного (социального) и индивидуального дали, с одной стороны, пищу для критики идеи о дихотомии языка и речи в виде, например, следующего замечания: «Прежде всего возникает вопрос, для скольких индвидуумов должно быть общим какое-либо явление, чтобы причислить его к „языку" (в смысле соссюровского коллективного языка), или по какому праву причислять к языку феномены, которые не принадлежат четверти или даже трети, а возможно даже половине индивидуумов» [19]. С другой стороны, тот же материал дал основание некоторым сторонникам Ф. де Соссюра для такой экспликации отношения языка и речи: «Я хотел бы сделать предварительное предложение считать langue такую часть данного языка, которая может быть эффектно описана в сравнительно малом количестве высказываний, из которых каждое имеет абсолютную релевантность или, по крайней мере, высокую статистическую релевантность, примерно 80—90%. Все за пределами этой системы лингвистических регулярностей можно рассматривать как принадлежащее p a r o l e» [20]. Это положение иллюстрируется следующим немецким материалом: предложения типа — *Er schrieb, er sei krank* и *er wußte, daß er krank war* принадлежат языку, а модели — *Er schrieb, daß er krank war* и *Er wußte, er sei krank* — речи. Причем автор утверждает, что такое понимание корреляции языка и речи соответствует соссюровской идее.

Важность статистического учета частотности тех или иных языковых явлений в тексте или распространенности в языковом коллективе не вызывает сомнения для теоретико-лингвистических, нормативно-инструктивных или учебно-методических целей. Но никакого отношения к принципиальному различению языка и речи это не имеет. Уместнее были бы здесь, по-видимому, традиционные термины «узуальное» — «окказиональное» или более современные термины «центральное» — «периферийное» [21].

4. Термином р е ч ь у разных исследователей покрываются иногда по крайней мере два явления, внешне сходные, но ведущие к парадоксально противоположным утверждениям. Так, одни считают, что «единственно первично данным в лингвистике является индивидуальное высказывание и всякое высказывание, строго говоря, уникально» [22]. Другие заявляют, что «речь не может считаться ни предметом, ни даже в собственном смысле материалом лингвистических исследований» [23].

Под широко понятой речью скрываются два смысла: во-первых, конкретный речевой акт, действительно уникальный и неповторимый, привязанный к личности говорящего, к месту и времени, иначе говоря, к ситуации; во-вторых, речевое произведение любой длины, как продукт речевого акта или актов, но изолированный от субъекта и ситуации, другими словами, нарочитое конструирование или воспроизведение чьего-либо конкретного речевого акта, но не в целях коммуникации, а, например, в познавательных, учебных и прочих целях. Скажем, предложение *Наш Миша мал*, будучи изолировано от ситуации, а прочитано, допустим, в букваре, теряет актуальную информацию речевого акта (т. е. например, возраст и пол говорящего, характер звуков и интонации, контекстуаль-

[19] K. R o g g e r, Kritischer Versuch über de Saussure's Cours général, Zfrom Ph, LXI, 1941, стр. 180. Ср. аналогично: K. M ø l l e r, Contribution to the discussion concerning «langue» and «parole», TCLC, V, 1949, стр. 87—94; J. L. P i e r s o n, Langue — parole? Signifié — signe?, «Studia linguistica», XVII, 1, 1963, стр. 14.

[20] B. U l v e s t a d, Statistik und Sprachbeschreibung, сб. «Das Ringen um eine neue deutsche Grammatik», Darmstadt, 1962, стр. 62—63.

[21] Ср. название и содержание чешского сборника: «Les problèmes du centre et la périphérie du système de la langue» («Travaux linguistiques de Prague», 2) Prague, 1966.

[22] T. B. W. R e i d, Linguistics, structuralism and philology, «Archivum linguisticum», 8, 1, 1956, стр. 28.

[23] Ю. М. С к р е б н е в, указ. соч., стр. 12.

ное содержание и т. п.), сохраняя, однако языковую информацию. Ясно, что если то и другое явление одинаково называть речью, значит смешивать разные вещи.

Надо сказать, что на различие двух феноменов в составе широко понятой речи указывалось неоднократно. Так, Л. В. Щерба различал в числе трех аспектов языковых явлений, с одной стороны, «речевую деятельность», под которой понимал процессы (или акты) говорения и понимания, с другой стороны, «языковый материал» — «совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или иную эпоху жизни данной общественной группы. На языке лингвистов это тексты; в представлении старого филолога это литература, рукописи, книги» [24]. А. И. Смирницкий различал «речевой акт» и «речевое произведение». Первый «характеризуется не только тем, какое произведение он собой представляет, но и самими данными конкретными процессами произнесения и осознания этого произведения», для второго же «вся конкретность этих процессов оказывается несущественной» [25].

Наиболее полно различение речи и абстрагированного из речи внеситуативного объекта было сделано Э. Бюиссансом, который предложил «назвать функциональную часть речи discours и расположить это понятие как средний термин в оппозиции langue — parole... La langue есть, следовательно, абстракция по отношению к le discours, который, в свою очередь, представляет собой абстракцию по отношению к la parole» [26]. Дальнейшее уточнение этого среднего звена между речью и языком, которое по-русски лучше всего назвать термином «текст», было сделано К. Гаузенблазом, который считает, в частности, что текст (discourse) есть феномен языка (language) как «высшая единица речи (speech)» [27] и указывает на ряд черт, характеризующих текст как феномен языка и отличающих его от пограничных феноменов, в том числе от актов речи. По мысли К. Гаузенблаза, дисциплина, занимающаяся классификацией текстов — это традиционная стилистика.

Из сказанного следует с достаточной очевидностью, что в корреляции «язык — речь», если мы хотим оставить второй термин неизменным, речь — это речевой акт во всей его конкретности как действительная языковая реальность, а не текст.

В «речь — речевой акт» включены иррелевантные для языкознания черты: это ситуация, или контекст в самом широком смысле. В таком виде речь не может служить непосредственно материалом для языкознания. Речь должна быть прежде переведена в текст, т. е. следует устранить все иррелевантные (нефункциональные) для языка черты речи. Текст есть основа лингвистического исследования для извлечения языковой системы. Нетрудно заметить, что практически лингвисты всегда только так и поступали и поступают. Например, изучая фонемный инвентарь языка, мы отметаем черты звуков, отличающие одного индивидуума от другого, характерные для шепота или для крика и т. п., но останавливаемся на различиях в звуках, связанных не с ситуацией, а с произносительными усло-

---

[24] Л. В. Щерба, О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании, в кн: В. А. Звегинцев, указ. соч., стр. 363.

[25] А. И. Смирницкий, Синтаксис английского языка, М., 1957, стр. 9.

[26] E. Buyssens, De l'abstrait et du concret dans les faits linguistiques: la parole — le discours — la langue, AL (Copenhague), III, 1, 1942—43, стр. 21. См. также: его же, Les langages et le discours, Bruxelles, 1943, стр. 24 и сл.

[27] K. Hausenblas, On the characterization and classification of discourses, «Travaux linguistiques de Prague», 1, 1964, стр. 70.

виями в слове, на стыке слов и т. п., т. е. на текстовых различиях звуков (вариации и варианты фонем) [28].

Итак, «лингвистика, предметом которой является я з ы к, извлекает сведения о я з ы к е из т е к с т а. Эти сведения могут быть обогащены наблюдениями над процессом речи, хотя специальное исследование р е ч и является задачей других наук» [29].

Таким образом, р е ч ь в отношении «язык — речь» — это актуальный, индивидуальный по исполнению (и социальный по значению) акт общения, не являющийся ни «сверхъязыковым остатком», ни периферийным (или окказиональным) явлением речевой деятельности, ни продуктом речевой деятельности, изолированным от субъекта и ситуации, т. е. текстом. Непременным условием изучения языка как системы является транспонирование речи в текст — конструкт, служащий базой, материалом лингвистики.

---

[28] Ср. разграничение ступеней абстракции звуков Д. Джоунзом: абстракция первой степени — произнесение звука [u:] одним лицом в разные отрезки времени; абстракция второй степени — произнесение звука [u:] в словах [fu:d], [tju : n], [ru : l], а также разными индивидуумами и т. д. (см.: D. J o n e s, Concrete and abstract sounds, «Proceedings of the III International Congress of phonetic sciences», Ghent, 1938, стр. 1 и сл.).

[29] А. Е. С у п р у н, Язык — речь — текст, «[Казахская] республиканская межвузовская конференция по вопросам методики преподавания и теории иностранных языков, посвященная 50-летию советской власти (тезисы докладов)», Алма-Ата, 1966, стр. 252.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1970

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Г. А. КЛИМОВ

К ЧТЕНИЮ ДВУХ ПАМЯТНИКОВ АГВАНСКОЙ (КАВКАЗСКО-АЛБАНСКОЙ) ЭПИГРАФИКИ

Обнаружение азербайджанскими археологами первых памятников агванской (кавказско-албанской) письменности, восходящих к V—VIII вв. н. э., можно сказать без преувеличения, явилось одним из наиболее значительных открытий в изучении культуры древнего Азербайджана. Между тем, в настоящее время, т. е. более чем через двадцать лет после первых эпиграфических находок, состояние дешифровки этой письменности находится еще в своей начальной стадии. Ведущееся исследование сильно затруднено фрагментарностью, а главное — очень ограниченным объемом самого корпуса материала, в общей совокупности не составляющего и двухсот знаков. Как и на аналогичном этапе в истории любой дешифровки, для современной агванистики характерна большая свобода рабочих чтений, ограниченная главным образом рамками полета фантазии исследователя. Это в известной мере и понятно, если учесть, в частности, что при легко определимом направлении письма слева направо до сих пор не установлен даже порядок чтения строк в нескольких памятниках [1]. Задачей этой заметки является определение порядка чтения строк в двух агванских граффити, известных в специальной литературе как надписи на подсвечниках № 1 и № 2, а также частичная интерпретация последней.

Первым объектом рассмотрения является небольшая надпись на подсвечнике № 2, содержащая всего пятнадцать знаков, из которых девять записаны круговым способом (как показывает площадь сбитой поверхности подсвечника, первоначально здесь имелся еще один знак), а шесть — по три на разных гранях — вертикально [2].

Очевидной особенностью всей круговой последовательности знаков является то, что она состоит из девяти неповторяющихся графем. Ее другая специфическая черта заключается в том, что она включает начальные (точнее — входящие в первую десятку единиц) для всех трех закавказских алфавитов (армянского, грузинского и агванского) графемы: 𐔰 a, 𐔱 b, 𐔴 e и 𐔵 z, фонетическое значение которых поддерживается рабочими чтениями других агванских текстов [3]. Наконец, имеется основание полагать, что рассматриваемая последовательность начинается знаком 𐔰 a, так как он выписан значительно крупнее остальных. Уже этих фактов достаточно для предположения, что в данной надписи воспроизводится в порядке следования букв агванский алфавит.

Такое предположение подкрепляется дополнительными аргументами при сопоставлении круговой последовательности знаков этой надписи с первыми десятью буквами обоих списков агванского алфавита, сохранившихся в известных армянских рукописях учебного характера, восходящих к XV и XVI столетиям [4]. Это с достаточной очевидностью может быть продемонстрировано помещаемой ниже табл. 1, в первой строке которой приведены в принятой в специальной литературе «транслитерации» знаки круговой последовательности памятника (из существующих прорисей надписи наиболее адекватной фотографиям самого памятника приходится признать

---

[1] Подробнее о состоянии проблемы см.: Г. А. Климов, К состоянию дешифровки агванской (кавказско-албанской) письменности, ВЯ, 1967, 3.

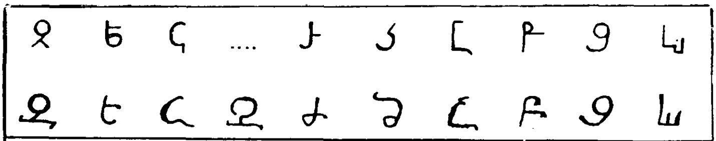
[2] См. Р. М. Ваидов, Археологическая характеристика эпиграфических памятников Мингечаура, «Изв. АН Азерб. ССР». Серия обществ. наук, 4, 1958, стр. 112—113 (на азерб. яз.).

[3] Ср.: А. Г. Абрамян, Дешифровка надписей кавказских агван, Ереван, 1964, стр. 43, 60; Г. А. Климов, указ. соч., стр. 77—78.

[4] См.: А. Г. Шанидзе, Новооткрытый алфавит кавказских албанцев и его значение для науки, «Изв. ИЯИМК [Груз. филиала АН СССР]», IV, 1, 1938, стр. 28—30; см. также: H. Kurdian, The newly discovered alphabet of Caucasian Albanians, JRAS, April, 1956, стр. 82.

прорись, выполненную Р. М. Ваидовым), во второй — начальные буквы рукописных списков агванского алфавита, в третьей — фонетические значения букв, как они реконструируются в исследовании этих рукописных списков, предпринятом А. Г. Шанидзе и особенно — А. Г. Абрамяном (некоторое исключение составляет значение седьмой буквы) [5].

Таблица 1



a	*b*	*g*	*d*	*e*	*z*	*ẹ*	*ə*	*t*	*ž*

Типологическое сходство сравниваемых здесь величин (невозможно сравнение лишь для сбитого четвертого по порядку знака надписи), равно как и тождественная позиция каждого из знаков в своей последовательности, едва ли могут вызвать серьезные сомнения. Конечно, вряд ли возможно говорить и об идентичности единиц сравнения: так, например, в написаниях букв из рукописных списков алфавита отчетливо выступают черты курсивности, вообще характерные для жанра рукописей. Однако в последней для приводимого доказательства и нет необходимости, поскольку рукописные списки агванского алфавита, отстоящие от наиболее поздней эпохи употребления самой письменности (т. е. от VIII столетия) [6] на несколько столетий, оказались существенно деформированными в ходе неоднократной переписки средневековыми писцами [7], и именно они должны быть верифицированы на эпиграфическом материале.

Если предложенная здесь интерпретация надписи адекватна (мы не касаемся остальных шести знаков, записанных по вертикали и пока не поддающихся толкованию), то в ней мы имеем дело с аутентичным списком десяти первых букв агванского алфавита, который относится самое позднее к VIII в. и о находке которого при общей малочисленности известных к настоящему времени памятников агванского письма не приходилось и думать. Вероятно, подсвечник № 2, содержащий список начальных букв агванского алфавита, призван был играть роль своего рода учебного пособия. Этот список важен прежде всего как некоторая опора для дальнейшего прогресса дешифровки данной письменности. Так, поскольку предлагаемая интерпретация составляет рабочее чтение надписи, она дает возможность гипотетического соотнесения еще нескольких агванских графем с определенными звукотипами: *g*, *ẹ* (ср. фарингализованный *ẹ* в удинском языке), *ə*, *t* и *ž*. С другой стороны, этот список ценен и как дополнительное (на этот раз в отличие от всех других — непосредственное) подтверждение подлинности списков агванского алфавита, сохранившихся в двух упомянутых выше армянских рукописях. Думается поэтому, что сомнения, высказанные Л. М. Меликсет-беком в подлинности этих рукописных списков [8], должны быть окончательно оставлены.

Другое четырехгранное граффито содержит в сумме сорок девять знаков, из которых: на I (по условному определению Р. М. Ваидова, которому следует и А. Г. Шанидзе [9]) грани налицо семнадцать, на II — десять, на III — семь и на IV — пятнадцать. Как свидетельствует прилагаемая ниже прорись надписи (см. фото), выпол-

[5] Ср.: А. Г. Шанидзе, Порядок букв грузинского, армянского и албанского алфавитов, «Материалы по истории Азербайджана», Баку, 1957 («Труды Музея истории Азербайджана», II), стр. 38—43; А. Г. Абрамян, указ. соч., стр. 27—29.

[6] Так, например, армянский автор VIII в. Гевонд свидетельствует о том, что оригинальная письменность еще в это время была у агван в ходу,— см. «История халифов вардапета Гевонда, писателя VIII века» [перевод С. К. Патканова], СПб., 1862, стр. 44.

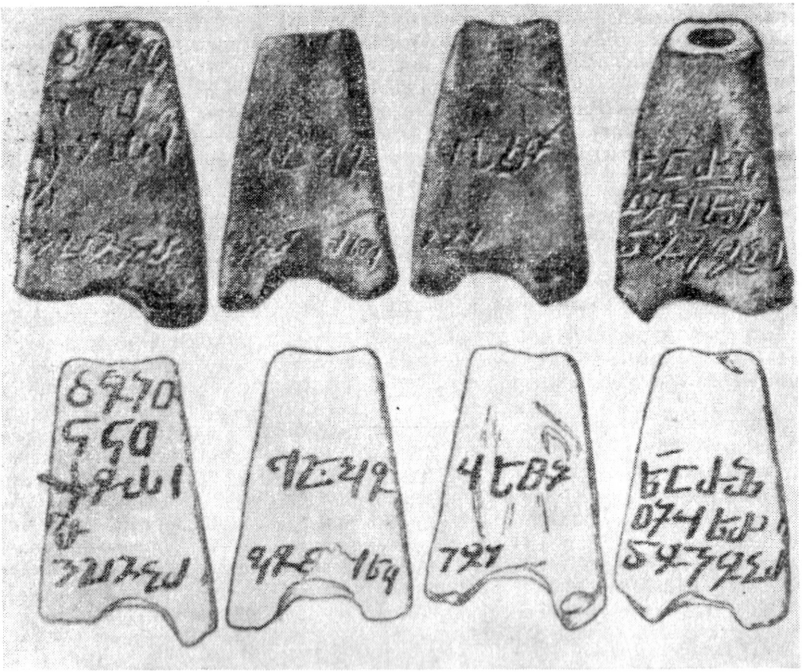
[7] Это показано в работах: А. Г. Шанидзе, Новооткрытый алфавит кавказских албанцев, стр. 27—40; Г. Ворошил, О древнеагванском алфавите и удинском языке, «Изв. АН Азерб. ССР», Серия обществ. наук, 1962, 1, стр. 79—90 (на азерб. яз.); А. Г. Абрамян, указ. соч., стр. 25—37.

[8] См.: Л. М. Меликсет-бек, К вопросу о генезисе армянского, грузинского и албанского алфавитов, «Материалы по истории Азербайджана», стр. 61—62.

[9] См.: Р. М. Ваидов. Фрагмент глиняного подсвечника с албанской надписью, «Доклады [АН Азерб. ССР]», VII, 2, 1951, стр. 83; А. Г. Шанидзе, Новые данные об алфавите кавказских албанцев (второй список албанского алфавита), «Труды 1-й конференции закавказских университетов», Баку, 1959, стр. 203.

ненная по фотографии памятника, из пяти потенциальных строк каждой грани текстом занята лишь часть из них.

Поскольку две первых строки (при общем направлении агванского письма слева направо и сверху вниз) заполнены только на I грани, напрашивается интуитивное предположение, что начало надписи находится именно на ней: это обстоятельство,



по-видимому, и привело к подобному условному решению Р. М. Ваидова, впервые опубликовавшего памятник. Однако в пользу такого предположения можно привести и некоторые аргументы формального порядка, используемые обычно в практике дешифровки.

Конец надписи без труда определим на пятой строке III грани ввиду незаполненной ее правой части. Ему, однако, не может предшествовать третья строка этой же грани, поскольку в этом случае необъясним был бы пропуск здесь всей четвертой строки. Напротив, имеются все основания считать, что заключительному фрагменту предшествовала пятая же строка соседней II грани. Дело в том, что, во-первых, при такой последовательности чтения возникает сочетание знаков 4647Я7, повторяющееся и в двух других надписях (ср. группу ..6479.. черепка № 3, а также группу 46479Я74 на каменном постаменте алтарного креста), а во-вторых, именно эта группа является заключительной во всяком случае и для надписи на постаменте (думается, что данная последовательность сыграет немаловажную роль в процессе дешифровки агванских текстов вообще). Принятие кругового принципа написания пятой строки приводит начало последней на IV грань, где за отсутствием выбора ей могли предшествовать только четвертая и далее — третья строки грани. Следуя единственно возможному в этом положении круговому принципу, мы приходим к I грани, единственной с заполненными первой и второй строками, что, по-видимому, подтверждает правильность всего остального хода рассуждения. В его пользу говорит еще один аргумент: четвертая строка I грани была начата знаком неясной конфигурации и далее уже не продолжалась, причиной чего могли быть либо описка, либо слияние с ним знака вышестоящей строки.

Таким образом, построчный по началу принцип написания был выдержан на I грани лишь до третьей строки, после чего он был заменен круговым.

Уже то обстоятельство, что в настоящее время порядок чтения одного и того же памятника агванской эпиграфики варьирует у разных авторов и что эти памятники

интерпретируются совершенно различным образом [10], достаточно красноречиво свидетельствует о том начальном этапе, который сейчас переживает агванистика.

Несомненно, что над корпусом агванской эпиграфики предстоит проделать еще большую работу, прежде чем состояние его дешифровки можно будет признать удовлетворительным. Думается, что несмотря на принципиальную простоту задачи агванистики (буквенный характер письма, возможность применения этимологического метода дешифровки с ориентацией на материал удинского языка, наличие рукописных списков алфавита в армянской традиции и т. п.) без существенного увеличения объема самого текста сколько-нибудь заметный прогресс исследования будет едва ли возможным. В сложившейся ситуации, когда прирост эпиграфического материала временно прекратился (до сих пор не удалось обнаружить даже шестистрочную надпись, вывезенную петербургскими учеными еще в 1906 г. из древней столицы Агвании Кабалы [11]), дальнейшие успехи будут зависеть исключительно от повышения строгости самой исследовательской методики.

---

[10] Так, например, А. Г. Абрамяном, принимающим иной порядок чтения первой надписи и при транскрипции текста *eč gətä žaʔē abä ibi*, здесь, по его собственной же оценке, «удачно расшифровывается» фраза «Да будут отпущены грехи Гюта» (см.: А. Г. Абрамян, указ. соч., стр. 56—58, 69).

[11] Сведениями о последней автор обязан любезному сообщению В. Л. Гукасяна.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1970

А. А. ДАРБЕЕВА

О ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЯХ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

При изучении языков, занимающих островное положение в иноязычной среде, обнаруживается своеобразие их развития. Именно в таких языках дольше сохраняются элементы более древнего состояния языка, и в то же время эти языки развиваются, активно реализуя потенциальные возможности своего родного языка, а также вбирая в себя элементы из языка окружающей среды. В этом отношении заслуживают внимания современные монгольские языки, носители которых расселены на территории СССР, МНР, КНР и Афганистана. Монголоязычные народы живут и компактно и изолированно. К группе изолированных монгольских языков относятся баоаньский, дунсянский монгорский, дагурский в Китае и могольский в Афганистане. Из них только могольский язык выходит из употребления [1] — моголы, оказавшиеся на территории Афганистана, ассимилировались с местным населением и потому утрачивают свой язык.

Развитие изолированных языков складывается по-разному, в зависимости от численного состава их носителей и их общественно-экономического положения среди иноязычной среды, культурно-образовательного уровня носителей языка и т. д.; в то же время существование в отрыве от основного массива монголоязычных народов способствует возникновению в их языке тех или иных явлений под влиянием функционально соседствующего языка иной системы.

В частности, пример подобного развития можно наблюдать в области личных местоимений. Во всех монгольских языках имеются местоимения 1 и 2-го лиц обоих чисел (см. табл. 1).

Как видим из табл. 1, местоимения 1 и 2-го лиц ед. числа и 2-го лица мн. числа являются общими почти во всех монгольских языках [2]. Корневая морфема инклюзивного местоимения 1-го лица мн. числа тоже является общей для всех монгольских языков. Различие между монгольскими языками обнаруживается в личных местоимениях 3-го лица.

В большинстве современных монгольских языков нет местоимений 3-го лица [3]. Их функцию выполняют указательные местоимения: *энэ* «этот», *тэрэ* «тот» [4], в современном монгольском языке — *едегер*, *тедегер* и *еденер*, *теденер* «они». Вместе с тем монголисты отмечают наличие специальных местоимений 3-го лица в старописьменном монгольском языке еще в XIII—XIV вв. По их мнению, от личных местоимений 3-го лица ед. числа *i* «он», мн. число *a* «они» сохранились только формы род. падежа *iнӱ*, *ану*, употребляемые ныне в качестве лично-притяжательных частиц и показателей подлежащего [5]; их называют иногда недостаточными, или дефектными, местоимениями 3-го лица [6]. По мнению Т. А. Бертагаева, показатели род. и вин. падежей представляют собой фонетическую модификацию одной праформы **-in* > **-ini*, которая сближается с местоимением 3-го лица *īn* «он» в дагурском языке [7].

---

[1] См.: Л. Лигети, О монгольских и тюркских языках и диалектах Афганистана, «Acta orientalia Hung.», IV, 1—3, 1955, стр. 100.

[2] См.: Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, I, М., 1953, стр. 145, 151.

[3] Отсутствие местоимений 3-го лица не является особенностью только монгольских языков. В ряде языков мира функцию местоимения 3-го лица выполняют указательные (см. например: К. Е. Майтинская, Местоимения в мордовских и марийских языках, М., 1964). В некоторых же языках, наряду со специальными местоимениями 3-го лица в их значении употребляются указательные местоимения (см.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, М.— Л., 1962, стр. 230).

[4] Ц. Б. Цыдендамбаев, Местоимения в монгольских языках. Автореф. канд. диссерт., М., 1951, стр. 7, 8.

[5] Г. Д. Санжеев, Старописьменный монгольский язык, М., 1964, стр. 74.

[6] Н. Н. Поппе, Грамматика письменно-монгольского языка, М.— Л., 1937, стр. 81.

[7] Т. А. Бертагаев, К генезису некоторых падежей в монгольских языках, «Краткие сообщения Ин-та народов Азии», 83 — Монголоведение и тюркология, М., 1964, стр. 42, 44.

Таблица 1

Языки	Ед. число		Мн. число	
	1-е лицо «я»	2-е лицо «ты»	1-е лицо «мы»	2-е лицо «вы»
Классический	*бі*	*чі*	*бідє ~ бідa* (*біден ~ бідан*)	*та*
Современный монгольский	*бї ~ б'і*	*чі*	*бід, бід(е)н*	*тā*
Бурятский	*б'ї ~ б'і*	*ші*	*бідэ, бідэнэр* *мāнар, мāнад*	*тā*
Калмыцкий	*б'ї ~ б'і*	*чі*	*бідң, мадң*	*тā*
Дагурский	*б'ї ~ б'і*	*ші*	*бā, бэд*	*тā*
Монгорский	*бу*	*чі*	*будангула, будасгэ,* *ндангула, ндāсгe,* ***будансе,*** *будаңтаң, дасе,* ***датан***	*тасге, тасе*
Дунсянский	*бі*	*чы*	*біджіэн, матан*	*тā*
Баоаньский	*бэ*	*чэ*	*бэдэ* — инклюз. ф. *маңгэ* — эксклюз.	*та*
Могольский	*бі*	*чі*	*бідa*	*то ~ тот* *~тод*

Из-за недостаточной разработанности истории монгольских языков сейчас трудно сказать, были ли местоимения *і* «он», *а* «они» в прошлом присущи всем монгольским языкам и диалектам. Из современных монгольских языков только в дагурском встречаются личные местоимения 3-го лица *їн* «он», *āн* «они». Дагурский язык занимает особое место среди других монгольских изолированных языков: значительная часть дагуров проживает в автономном районе Внутренней Монголии — Хулунбуирском аймаке (Северный Китай), т. е. в непосредственной близости с другими монголоязычными народами; другая часть — преимущественно в провинции Хэйлунцзян [8]. В целом дагуры контактировали с маньчжурами, так как по старому административному делению они проживали на территории Северной Маньчжурии. Это оставило определенные следы в их языке — Б. Я. Владимирцов считал дагурский «особым наречием монгольского языка, смешанным с маньчжурскими элементами» [9]. В самом маньчжурском языке много общего с монгольскими языками именно в области личных местоимений ед. числа, например: *бі* «я», *сі* «ты», *і* «он» [10] (формы числа не совпадают). Можно предположить поэтому, что наличие местоимения *і* «он» в маньчжурском языке объясняется влиянием монгольских языков.

В области личных местоимений наблюдается сходство монгольских языков с нивхским, который, по мнению В. З. Панфилова, типологически и материально тяготеет к алтайским языкам. Во всяком случае, «в говорах амурского наречия западного побережья Сахалина наряду с местоимением *иф* „он" употребляется также местоимение *и* „он"... В остальных говорах амурского наречия это местоимение выступает только в некоторых косвенных формах» [11].

[8] Б. Х. Тодаева, Монгольские языки и диалекты Китая, М., 1960, стр. 9.
[9] Б. Я. Владимирцов, Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия, Л., 1929, стр. 8.
[10] Б. К. Пашков, Маньчжурский язык, М., 1963, стр. 30.
[11] В. З. Панфилов, указ. соч., стр. 230, см. также стр. 3, 58—59, 213—214. Ср. с соответствующими монгольскими также нивхское местоимение 2-го лица ед. числа *ч'и*.

Таким образом, личные местоимения 3-го лица *і* «он», *а* «они», встречавшиеся в старописьменном монгольском языке XIII—XIV вв., сохранились только в дагурском языке, а из языков других систем — в нивхском и маньчжурском употребляется местоимение 3-го лица ед. числа *і* «он».

В других изолированных монгольских языках, например, в дунсянском и баоаньском тоже есть местоимения 3-го лица, например: в дунсянском *hə* «он», *həla* «они» и в баоаньском *нджаң*, *ногэ* (*ңгаң*) «он», *нджасэ*, *ногэлэ* (*ңгаңлэ*) «они» [12]. Личные местоимения 3-го лица в дунсянском и баоаньском языках не совпадают с местоимениями в других монгольских языках. По-видимому, процесс развития личных местоимений 3-го лица в дунсянском и баоаньском происходил вне связи с другими монгольскими языками, так как дунсяне и баоане живут изолированно от основных групп монгольских народов на территории Китая (провинции Ганьсу и Цинхай) примерно с XIII в. По данным Б. Х. Тодаевой, баоане и дунсяне прекрасно владеют китайским, тибетским, дунганским языками, среди носителей которых они живут в течение ряда веков. При такой языковой ситуации вполне вероятно влияние иноязычной среды. Однако происхождение личных местоимений 3-го лица в дунсянском и баоаньском языках пока еще не ясно. Т. А. Бертагаев полагает, что дунсянское личное местоимение *hə* «он» (<**э*), *həni* (<**эні*) является фонетической разновидностью дагурского местоимения 3-го лица *ĩn* «он», *ĩnĩ* «его», причем оба они произошли от указательного местоимения *ə-нэ* «этот» (<**э*) [13].

В баоаньском местоимения *нджаң*, *ногэ* (*ңгаң*) «он» различаются «по пространственному признаку: *нджаң* указывает на близкое, а *ногэ* и *ңгаң* — на далекое» [14]. Соотнесенность по пространственному признаку является семантическим свойством указательных местоимений, к которым во многих языках исторически восходят местоимения 3-го лица; возможно, местоимения 3-го лица в баоаньском имеют непосредственную связь с указательными местоимениями.

В баоаньском местоимении *ңгаң* «он» примечателен инициальный *ң*, поскольку в монгольских языках заднеязычный *ң*, как правило, не употребляется в начале слова. В баоаньском *ң* в начальной позиции наблюдается в основном в заимствованиях из тибетского языка, где *ң* может употребляться и в начальной и в конечной позициях; в дунганском языке, с носителями которых постоянно контактируют баоане и дунсяне, заднеязычный *ң* встречается только в начале слова [15]. Во всяком случае, звуковой облик местоимения 3-го лица в баоаньском языке свидетельствует о влиянии фонетической структуры немонгольских языков.

Иначе складывалось местоимение 3-го лица ед. числа в одном из говоров бурятского языка. Нижнеудинский говор бурятского языка, носители которого живут в СССР (в Иркутской области), можно считать изолированным говором: нижнеудинские буряты уже около четырехсот лет живут обособленно в окружении русской языковой среды. Сто с лишним лет тому назад Кастреном зафиксировано в языке нижнеудинских бурят особое личное местоимение 3-го лица *ôhôң*, мн. число *ôhöm* [16]. Однако местоимение *өөһэң* «сам», которое рассматривалось Кастреном как местоимение 3-го лица ед. числа, фактически совмещало в себе функции двух местоимений: 1) определительного местоимения («сам»: *Баабаэмнаэ өөһэң банйбаа оржаэна* «Сам наш отец моется в бане») и 2) местоимения 3-го лица («он»: *Өөһэң бэгэрээ ябыт'т'оо* «Он сам ушел»). Местоимение *өөһэң* выполняет такие же функции в ряде западных говоров бурятского языка.

В нижнеудинском говоре нами обнаружена новая форма личного местоимения *өөң* «сам», образовавшаяся от местоимения *өөһэң* в результате выпадения звонкого фарингального *h* в интервокальной позиции. Опущение отдельных фонем и даже слогов в слове представляет нередкое явление в монгольских языках; в результате выпадения звуков в начале, середине и в конце слова возникают фонетические варианты слов [17]. В ряде говоров бурятского языка наблюдается опущение *h* в слове на стыке разных морфем, например, вместо *гэр-һэ* «из дома», *хаана-һаа* «откуда» бурятского литературного языка в аларском, боханском, нижнеудинском говорах произносится *гэр'ээ*, *хаан'аа* [18]. Опущение *h* в подобных случаях оставалось фонетическим факто-

---

[12] Б. Х. Тодаева, Дунсянский язык, М., 1961, стр. 27; ее же, Баоаньский язык, М., 1964, стр. 40.

[13] Т. А. Бертагаев, указ. соч., стр. 42.

[14] Б. Х. Тодаева, Баоаньский язык, стр. 44.

[15] См.: А. Калимов, Дунганский язык, «Языки народов СССР», V, Л., 1968, стр. 476.

[16] M. A. Castren, Versuch einer burjätischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichnies, St.-Pb., 1857, стр. 26.

[17] Т. А. Бертагаев, Морфологическая структура слова в монгольских языках, М., 1969, стр. 131.

[18] См., например: И. Д. Бураев, Некоторые фонетические особенности говора аларо-унгинских бурят, «Исследование бурятских говоров», 2, Улан-Удэ, 1968, стр. 131.

ром, не затрагивающим другие уровни языка. Однако выпадение *h* в слове *өөhэң* в нижнеудинском говоре показывает вторжение этой фонетической тенденции в сферу грамматической системы, а именно образование новой, специализированной формы местоимения 3-го лица, отделившейся от определительного местоимения *өөhэң* «сам». Здесь, таким образом, наблюдается грамматикализация фонетического явления [19]. Так появилось новое местоимение 3-го лица ед. числа, материально и функционально отличное от местоимения *өөhэң* «сам». В настоящее время можно считать, что *өөң* почти отпочковалось от *өөhэң*: последнее очень редко употребляется в функции личного местоимения 3-го лица в языке современных нижнеудинских бурят, хотя в речи старшего поколения у одного и того же информанта может встретиться и *өөң* и *өөhэң* в значении местоимения 3-го лица. Так, в сказке «Оногой hокор» («Слепец Оногой») функцию местоимения 3-го лица выполняет *өөhэң*: *Өөhэң kаркаар обор б'ээгаа* «Он был слаб зрением», *Оного hокор тоже бидэршэ б'ээна өөhэдөөр* «Оного hокор тоже ищет с ними вместе». А в сказке «Кор'оодой өбгөң» («Старик Кор'оодой»), записанной от того же информанта, употребляется только *өөң*: *Өөң hаэң буурладаа унаат, шонуушыы улдыжы ябыытиба* «Он, оседлав хорошего чалого скакуна, полетел вслед за волками»; *Ну-ка, бии өөни тыhы нырйитикам* «Ну-ка, я его вдребезги разнесу»; *Кор'оодой өбгөн б'ээш, б'ээш буудыыш өөнийэ* «Старик Кор'оодой постоял, постоял да как стрельнет!». И все же в бытовой речи лиц разных возрастов чаще всего употребляется *өөң*. Кроме того, личное местоимение *өөң* «он», утратив смысловую связь с определительным местоимением *өөhэң* «сам», не употребляется в значении местоимения «сам», например: *Өөң балаэ шальбаа быын, но бар'аадаараа hаэң мытка, зугаалkа* «Он не очень большой знаток языка, но по-бурятски понимает и разговаривает»; *Өөндэ шинэ костюмш уу* «Ему широк новый костюм»; *Бии өөни kараам* «Я видел его»; *Өөң тынды бээнааң* «Он был там»; *Өөнийэ стөөли урда асраат кхуулгаба* «Привели его и посадили за стол»; *Өөндэ наоборот мангаар зугаалkаш* «С ним, наоборот, по-русски разговариваешь».

Определительное местоимение *өөhэн* «сам», утратив функцию личного местоимения, употребляется преимущественно в своем собственном значении, нередко в сочетании с местоимением *өөң*; например: *Өөң өөhэң ерээ* «Он сам пришел»; *Өөң өөhэң кылээ* «Он сам сказал»; *Павел Семенович өөhэң тынды ошоо* «Павел Семенович сам ходил туда». Специализация местоимения 3-го лица *өөң* и определительного местоимения *өөhэң* внесла изменения в характер сочетаемости последнего. В нижнеудинском говоре наряду с *өөhэң* функционировало определительное местоименное слово *бэгэрээ* «сам»; раньше, когда *өөhэң* могло выступать в функции местоимения 3-го лица, были допустимы сочетания типа *өөhэң бэгэрээ* «он сам». В современном языке *бэгэрээ* чаще всего употребляется в сочетании с местоимением 3-го лица *өөң* «он»; например: *өөң бэгэрээ ошнааң* «Он давеча сам пошел»; *Өөң бэгэрээ kон'оо бар'аа* «Он сам заколол овцу». В остальных случаях функционирует преимущественно определительное местоимение *өөhэң*, поскольку слово *бэгэрээ* имеет ограниченное применение в языке. Происходит как бы функциональное замещение слова *бэгэрээ* местоимением *өөhэң* после утраты последним роли личного местоимения 3-го лица.

Форма мн. числа личного местоимения *өөң* будет *өөт*. Например: *Өөт hаэң буурлым ыдынбээр муу буурлым ыдээт ябыт'т'ээ гыны* «Он говорит, что они съели не хорошего чалого скакуна моего, а плохого»; *Өөшыйи hаэң бууралдаа унаат нидэшыын' тыhыр кушлаат kайит'т'им* «Я, сев на хорошего чалого скакуна, догнал их (ворон) и выколол им глаза».

Функциональная дифференциация определительного местоимения *өөhэң* и личного местоимения 3-го лица *өөң* произошла под влиянием русского языка, в котором имеется местоимение *он*. Постоянное функциональное взаимодействие русского и бурятского языков создало благоприятную почву для распространения бурятско-русского двуязычия среди нижнеудинских бурят. Появление личного местоимения *өөң* в нижнеудинском говоре мы хронологически связываем с распространением двуязычия среди носителей этого говора. Когда двуязычному буряту понадобилось создать в своем языке такую форму личного местоимения 3-го лица, которая соответствовала бы местоимению *он* в русском языке, для этого были использованы внутренние возможности родного языка, в том числе фонетическая тенденция — выпадение фарингального *h* в интервокальной позиции. В результате частого употребления местоимения *өөhэң* (в функции местоимения 3-го лица) выпал целый слог и образовалось *өөң*, функционально соответствующее русскому местоимению *он* и в известной степени даже

[19] Э. А. Макаев, рассматривая взаимодействие разных уровней языка, отмечает, что «на любом этапе развития любого языка можно наблюдать развертывание фонетических явлений в грамматические, синтаксических в морфологические, лексических в грамматические, причем наиболее характерными оказываются процессы грамматизации и лексикализации» (см. его статью «Понятие системы языка», «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», XI, 1957, стр. 12).

созвучное ему [20]. Таким образом, русский язык оказался катализатором [21] по отношению к нижнеудинскому говору, в котором были предпосылки для отпочкования местоимения 3-го лица от определительного местоимения *өөһэң*.

Итак, изучение развития личных местоимений 3-го лица в изолированных монгольских языках и говорах показывает, что эволюционные процессы в них продолжаются не только за счет заимствований, но при этом используются и внутренние возможности языка. В этом смысле можно говорить о гармоничном взаимодействии внешних и внутренних факторов в развитии языка [22].

[20] В период посещения Кастреном нижнеудинских бурят в 1845 г. в их языке еще не было местоимения *өөң*.

[21] Э. А. Макаев пишет: «Если предпосылки имеются уже в самом языке, то язык, который оказывает влияние, может оказаться катализатором, помогающим развернуться соответствующему явлению, уже заложенному в данном языке» (Э. А. Макаев, Вопросы синтаксиса индоевропейских языков, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», VII, 1955, стр. 24).

[22] О взаимодействии внешних и внутренних факторов см.: J. Vachek, On the interplay of external and internal factors in the development of language, «Lingua», XI, 1962, стр. 433—448.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1970

Н. И. ХРЕНОВА

СОВМЕСТИМОСТЬ ФЛЕКСИЙ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН МУЖСКОГО РОДА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVII—XVIII вв.

Задача предлагаемой работы состоит в том, чтобы определить парадигматические характеристики имен существительных муж. рода, выявляя различительные возможности флексий. Существующие описания именного склонения существительных русского языка XVII—XVIII вв. не уделяют достаточного внимания совместимости флексий в словоформах. В нашей работе предлагается попытка выявить различительные возможности флексий, основываясь на исследовании их совместимости в пределах одного слова.

К концу XVII — началу XVIII в. в русском языке у существительных мужского рода единственная флексия *-ом/-ем* наблюдается в твор. падеже ед. числа, все же остальные падежные формы обнаруживают более чем одну флексию (см. табл. 1).

Таблица 1

Флексии существительных мужского рода

Ед. число				Мн. число				
род.	дат.	твор.	местн.	им.	род.	дат.	твор.	местн.
-а, -у, -и	*-у, -ови, -и*	*-ом*	*-у, е, -и*	*-а, -ы -е, -ове*	*-ов, -ей,* согл.	*-ам, -ом*	*-ами, -ы, -ьми*	*-ах, -ех*

При этом: а) не каждая флексия данного падежа может употребляться в каждом слове б) в одном и том же слове только некоторые из имеющихся флексий данного падежа совместимы с некоторыми флексиями других падежей; оказывается, например, что наличие флексии *-у* в местн. падеже ед. числа несовместимо с наличием флексии *-и* в род. падеже ед. числа.

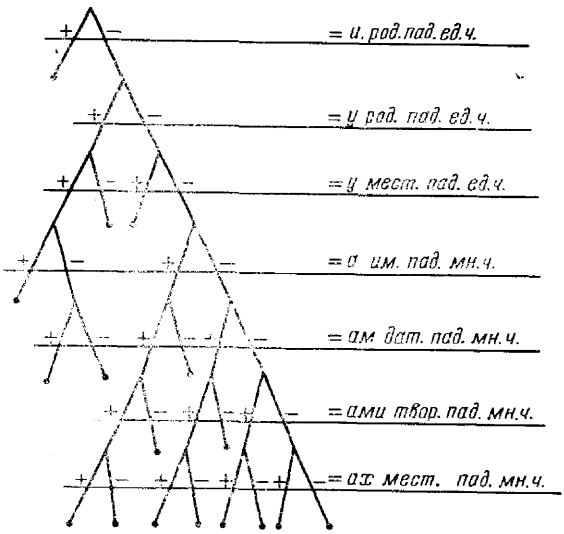
Возникает вопрос, имеются ли какие-то правила, по которым из нескольких для данного падежа флексий выбирается определенная флексия. Для решения этого вопроса необходимо определить, какие типы совместимости флексий наблюдаются в русском языке XVII — начала XVIII в. Положив в основу классификации совместимость флексий разных падежей, мы будем определять каждый тип склонения, указывая те соотношения флексий падежных форм, которые отличают данные типы друг от друга. Может оказаться, что некоторый тип отличает всего одна флексия, которая не встречается в парадигмах других типов, или же некоторый тип склонения будет определяться несколькими флексиями, совместимость которых возможна в данном типе, но невозможна в других типах.

В падежных формах, где наблюдается более одной флексии, можно выделить старые и новые флексии. Принимая во внимание, что значительное большинство существительных муж. рода восходит к типу склонения на **ŏ* [1], мы будем условно рассматривать флексии, восходящие к типу на **ŏ*, как старые, а флексии, восходящие к типам на **ŭ* и **ĭ*, как новые. Если рассмотреть аффиксацию по принципу противопоставления старых и новых флексий, т. е. в качестве положительного признака взять наличие новых флексий, то можно представить типы аффиксации существительных муж. рода в виде дерева (см. рис. 1).

Существительное *ворота* имеет следующее сочетание флексий, зафиксированное по памятникам: *-а* в им. падеже мн. числа, *-ам* в дат. падеже мн. числа, *-ы* в твор. падеже мн. числа. На рис. 1 один из векторов обозначает подобную совместимость флексий. Но мы не считаем целесообразным выделять эту совместимость флексий в самостоятельный тип склонения ввиду того, что это слово относится к классу pluralia tantum и оно одно единственное имеет подобную совместимость флексий.

[1] См., например: Н. Дурново, Очерк истории русского языка, М.—Л., 1924, стр. 264—293.

Как видим по окончаниям векторов, имена существительные муж. рода могут иметь 16 типов аффиксации при корреляции по новым флексиям. В классификации участвуют только те падежи, где имеются новые флексии и где они создают оппозицию старым флексиям. Так, например, в местн. падеже ед. числа в памятниках встретилась новая флексия *-и*, но она не создает оппозицию ни новой флексии *-у*, ни старой флексии *-е*.



Изображенное выше дерево типов аффиксации можно представить в виде таблицы (см. табл. 2), в которой знаком + отмечено наличие какой-либо различающей новой флексии, а знаком — ее отсутствие. Знак 0 означает позицию нейтрализации. Знаки 0 парадигмы указывают, что морфологические характеристики, скрывающиеся за этими знаками, не существенны для выявления типов склонения существительных.

Таблица 2

Типы аффиксации имен существительных мужского рода

Тип	Ед. число			Мн. число			
	род.		местн.	им.	дат.	твор.	местн.
	-*и*-	-*а*-	-*у*-	-*а*-	-*ам*-	-*ами*-	-*ах*-
1	+	0	0	0	0	0	0
2	—	+	—	0	0	0	0
3	—	—	+	0	0	0	0
4	—	+	+	+	0	0	0
5	—	+	+	—	+	0	0
6	—	+	+	—	—	0	0
7	—	—	—	+	—	0	0
8	—	—	—	—	+	—	0
9	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	+
11	—	—	—	+	+	+	+
12	—	—	—	+	+	+	—
13	—	—	—	—	+	+	+
14	—	—	—	—	+	+	—
15	—	—	—	—	—	+	+
16	—	—	—	—	—	+	—

Приступим к описанию вышеозначенных типов аффиксации имен существительных муж. рода ед. и мн. числа, иллюстрируя их примерами.

1-й тип склонения. Сюда относятся имена существительные, имеющие флексию *-и* в род. падеже ед. числа. Остальные морфологические характеристики не являются существенными для определения этого типа аффиксации имен.

Род. ед.: *дни* (Соб. ул.[2], гл. І, рпІ об.), *пути* (Изм. л. 4 об.), *ячмени* (Дом. стр. 43), *ячменя* (Частн. пер. 27—32, II), *рубли* (Соб. ул., гл. І, реІ об.), *рубля* (Соб. ул. л. І, тІ об.)[3].

Флексия *-и-* не получила широкого распространения в склонении муж. рода. При этом флексия *-и-* наличествует у существительных, преимущественно не принадлежащих к склонению с основой на **ŭ* (*путь* — склонение на **ĭ*, *день*, *ячмень* — склонение на согласный; только существительное *рубль*, восходящее к склонению на **ŭ*, принимает эту флексию).

2-й тип склонения существительных включает имена, которые не имеют флексии *-и-* в род. падеже, но имеют флексию *-у-* в этом падеже; в местн. падеже флексия *-у-* отсутствует: род. ед. *-у*, местн. ед. *-е*.

Род. ед. *броду* (Частн. пер. 7—185, II), местн. ед. *броде* (Частн. пер. 7—186); род. ед. *бунту* (Частн. пер., 26—236), местн. ед. *бунте* (Вед. 1703 № 5); род. ед. *выбору* (Вед. 1704 № 15), местн. ед. *выборе* (Соб. ул. гл. ке, за); род. ед. *выкупу* (Вед. 1703 № 20), местн. ед. *выкупе* (Соб. ул. гл. зІ, ле); род. ед. *договору* (Вед. 1704 № 11), род. ед. *договора* (Вед. 1704 № 32); местн. ед. *договоре* (Вед. 1703 № 3), род. ед. *допросу* (Частн. пер. 129, I), местн. ед. *допросе* (Соб. ул. гл. иІ, ле); род. ед. *закона* (Изм. л. 1 об.), местн. ед. *законе* (Дом. стр. 10); род. ед. *закладу* (Соб. ул. гл. I, рме), местн. ед. *закладе* (Соб. ул. гл. зІ, ск); род. ед. *народу* (Вед. 1703 № 14), местн. ед. *народе* (Вед. 1703 № 15); род. ед. *наряду* (Stang 12, 101), местн. ед. *наряде* (Вед. 1703 № 32); род. ед. *обиходу* (Дом. стр. 55), местн. ед. *обиходе* (Дом. стр. 57); род. ед. *обозу* (Вед. № 23), род. ед. *обоза* (Вед. 1703 № 28), местн. ед. *обозе* (Вед. 1704 № 27); род. ед. *оброку* (Дом. стр. 59), род. ед. *оброка* (Вед. 1704 № 15), местн. ед. *оброке* (Соб. ул. гл. І, л); род. ед. *ответу* (Соб. ул. гл. рп об.), род. ед. *ответа* (Вед. 1703 № 27); род. ед. *отводу* (Соб. ул. гл. ка, ти об.), местн. ед. *отводе* (Вед. 1704 № 18); род. ед. *пожару* (вед. 1703 № 23), род. ед. *пожара* (Вед. 1703 № 22,), местн. ед. *пожаре* (Вед. 1703 № 34); род. ед. *переводу* (Частн. пер. 76—56, II), местн. ед. *переводе* (Соб. ул. гл. І, рѣе); род. ед. *перевозу* (Соб. ул. гл. о, п), местн. ед. *перевозе* (Соб. ул. гл. о, пз об.); род. ед. *плоту* (Вас. стр. III, Кн. степ. 592), местн. ед. *плоте* (Вас. стр. III, Лет. 51); род. ед. *побегу* (Соб. ул. гл. к, сѣг), местн. ед. *побеге* (Вед. 1704 № 25); род. ед. *покою* (Частн. пер. 45, II), род. ед. *покоя* (Соб. ул. гл. зІ, сла), местн. ед. *покое* (Частн. пер. 64—42, I); род. ед. *посаду* (Частн. пер. 225, II), род. ед. *посада* (Вед. 1704 № 13), местн. ед. *посаде* (Соб. ул. гл. І, зІ), род. ед. *походу* (Вед. 1704 № 10), род. ед. *похода* (Вед. 1704 № 3), местн. ед. *походе* (Вед. 1703 № 3); род. ед. *правежу* (Соб. ул. гл. І ка), местн. ед. *правеже* (Соб. ул. гл. І рѣе); род. ед. *приводу* (Соб. ул. гл. к, спи), местн. ед. *приводе* (Соб. ул. гл. ка, ие); род. ед. *приезду* (Частн. пер. 70—52, II), местн. ед. *приезде* (Вед. 1704 № 19); род. ед. *приказу* (Частн. пер. 53—37, I), местн. ед. *приказе* (Соб. ул. гл. аІ, ке об.); род. ед. *приступу* (Вед. 1703 № 4), род. ед. *приступа* (Вед. 1703 № 3), местн. ед. *приступе* (Вед. 1703 № 18); род. ед. *приходу* (Частн. пер. 70—46, I), местн. ед. *приходе* (Вед. 1703 № 30); род. ед. *разбою* (Соб. ул. гл. ка, таІ), местн. ед. *разбое* (Соб. ул. гл. ка, из); род. ед. *расходу* (Частн. пер. 181, II), местн. ед. *расходе* (Дом. стр. 26); род. ед. *уезду* (Вед. 1704 № 20), местн. ед. *уезде* (Вед. 1703 № 24); род. ед. *указу* (Вед. 1703 № 32), местн. ед. *указе* (Соб. ул. гл. ка, ид).

3-й тип склонения — имена существительные, имеющие флексию *-а* (*-я*) в род. падеже ед. числа и флексию *-у* в местн. падеже ед. числа. Совместимость этих флексий в словах данного типа отличает его от других типов аффиксации и является достаточной для выделения 3-го типа: род. ед. *-а*, местн. ед. *-у*.

---

[2] В статье приняты следующие сокращения: Дом.— «Домострой по Коншинскому списку и подобным», кн. 1—2, М., 1908—1910; Вед. 1703—1704 — «Ведомости времени Петра Великого», вып. 1—2, Моск. синод. типогр., 1903—1906; Соб. ул.— «Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649»; Изм.— Измарагд, ГБЛ, О. Р., ф. 304/1, 202 (1573); Kip.— V. Kiparsky, Der Wortakzent der rüssischen Schriftsprache, Heidelberg, 1962; Stang — Chr. S. Stang, Slavonic accentuation, Oslo, 1957; Частн. пер. I — «Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII—начала XVIII в.», М., 1964; II—«Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия», М., 1965; Вас.—Л. Л. Васильев, О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII вв. К вопросу о произношении звука *о* в великорусском наречии, Л., 1929; Станг — Chr. Stang, La langue du livre «Учение и хитрость ратнаго строения пехотных людей» 1647. Une monographie linguistique, Oslo, 1952.

[3] В некоторых случаях наблюдается дублетность в употреблении старой и новой флексии в одном и том же падеже, что демонстрируется примерами.

Род. ед. *вершка* (Дом. стр. 30), местн. ед. *вершку* (Частн. пер. 38—28); род. ед. *веса* (Кір. 55, Magn. I, 27a), местн. ед. *весу* (Частн. пер. 2—151, II); род. ед. *вечера* (Вед. 1704 № 25), местн. ед. *вечеру* (Вед. 1703 № 22); род. ед. *листа* (Вед. 1704 № 22), местн. ед. *листу* (Stang, стр. 14,5, 22); род. ед. *пира*, местн. ед. *пиру* (Вед. 1703 № 7); род. ед. *списка* (Соб. ул. гл иI, сме), местн. ед. *списку* (Соб. ул. гл. зI, ек); род. ед *стога* (Частн. пер. 5—122, I), местн. ед. *стогу* (Дом. стр. 61); род. ед. *суда* (Соб. ул. гл. I, чг об.), местн. ед. *суду* (Соб. ул. гл. еI, рпе); род. ед. *ума* (Изм. л. 47 об.), местн. ед. *уму* (Stang, стр. 14, 28), род. ед. *венца* (Изм. л. 40), местн. ед. *венцу* (Частн. пер. 10—124, I).

4-й тип склонения существительных охарактеризован тремя морфологическими характеристиками — флексия *-у* в род. и местн. падежах ед. числа и флексия *-а* в им. падеже мн. числа. Совместимость этих флексий позволяет выделить данный тип склонения: род. ед. *-у*, местн. ед. *-у*, им. мн. *-а*.

Род. ед. *лесу* (Вед. 1704 № 27), местн. ед. *лесу* (Соб. ул. гл. I, рпг), им. мн. *леса* (Вед. 1703 № 28); род. ед. *лугу* (Частн. пер. 4—263), местн. ед. *лугу* (Частн. пер. 9—31), им.-вин. мн. *луга* (Частн. пер. 72—112, II), им.-вин. мн. *луги* (Соб. ул. гл. д).

5-й тип склонения включает существительные, имеющие следующую совместимость флексий: *-у* в род. и местн. падежах, в им. падеже мн. числа новая флексия *-а* не зафиксирована, в дат. падеже мн. числа имеется флексия *-ам*; итак: род. ед. *-у*, местн. ед. *-у*, им. мн. *-ы*, дат. мн. *-ам*.

Род. ед. *жеребью* (Частн. пер. 84—216, II), местн. ед. *жеребью* (Частн. пер. 12—257, II), им.-вин. мн. *жеребьи* (Соб. ул., гл. зI, оеI), дат. мн. *жеребьям* (Соб. ул. гл. зI esI об.); род. ед. *полку* (Вед. 1704 № 20), местн. ед. *полку* (Вед. 1704 № 27), им. мн. *полки* (Соб. ул. гл. з, п об.), дат. мн. *полкам* (Вед. 1704 № 11); род. ед. *ряду* (Соб. ул. гл. I, I), местн. ед. *ряду* (Stang 41), им.-вин. мн. *ряды* (Соб. ул. гл. I, р), дат. мн. *рядам* (Stang 19, 79d, 139g); род. ед. *дому* (Соб. ул. гл. кг, ие), местн. ед. *дому* (Вед. 1703 № 37), им.-вин. мн. *домы* (Изм. л. 11), дат. мн. *домам* (Вед. 1704 № 14); род. ед. *мосту* (Дом. стр. 36), местн. ед. *мосту* (Вед. 1704 № 15), им.-вин. мн. *мосты* (Вед. 1704 № 27), дат. мн. *мостам* (Вед. 1704 № 16).

6-й тип склонения существительных муж. рода—последний тип, имеющий в род. или местн. падежах флексию *-у*. От 5-го типа 6-й тип отличается только отсутствием флексии *-ам* в дат. падеже мн. числа, т. е. в нем представлена совместимость: род. ед. *-у*, местн. ед.*-у*, им. мн. *-ы*, дат. мн. *-ом*.

Род. ед. *году* (Вед. 1704 № 3), местн. ед. *году* (Соб. ул. гл. I, рзд), им.-вин. мн. *годы* (Соб. ул. гл. I, рза), дат. мн. *годом* (Соб. ул. гл. ил. сме об.); род. ед. *корму* (Вед. 1704 № 16), местн. ед. *корму* (Соб. ул. гл. к, иа), им.-вин. мн. *кормы* (Соб. ул. гл. е), дат. мн. *кормом* (Соб. ул. гл. з, па); род. ед. *обыску* (Дом. стр. 35), местн. ед. *обыску* (Соб. ул. гл. I, рле), им.-вин. мн. *обыски* (Соб. ул. гл. ка, тд), дат. мн. *обыском* (Соб. ул. гл. I, че); род. ед. *промыслу* (Вед. 1704 № 18), местн. ед. *промыслу* (Stang 14, 46g, 73 d, 163 d), им.-вин. мн. *промыслы* (Stang 17, 12g), дат. мн. *промыслом* (Соб. ул. гл. оI, спб); род. ед. *торгу* (Вед. 1703 № 20), местн. ед. *торгу* (Соб. ул. гл. I, ркг), им.-вин. мн. *торги* (Вед. 1703 № 11), дат. мн. *торгом* (Соб. ул. гл. I, рзв); род. ед. *чину* (Соб. ул. гл. I об.), местн. ед. *чину* (Дом. стр. 11), им.- вин. мн. *чины* (Вед. 1703 № 25), дат. мн. *чином* (Соб. ул. гл. иI, сме); род. ед. *следу* (Соб. ул. гл. ка, та), местн. ед. *следу* (Соб. ул. гл. ка, таI), дат. мн. *следом* (Кір. 76, р. g. 277); род. ед. *запасу* (Дом. стр. 55), местн. ед. *запасу* (Частн. пер. 43—102, II), им.-вин. мн. *запасы* (Вед. 1703 № 10), дат. мн. *запасом* (Соб. ул. гл. з, па).

Итак, описаны пять типов склонения существительных, имеющих в род. и местн. падежах ед. числа флексию *-у-*.

Приступаем к рассмотрению типов склонения, не имеющих в ед. числе новых флексий и поэтому различающихся только во мн. числе. В предыдущих типах новые флексии имелись только в 4,5 и 6-м типах и лишь в двух падежах (им. и дат.), в остальных же падежах была нейтральная позиция. Теперь же в различениях участвуют только новые флексии мн. числа: *-а* — им. падеж, *-ам* — дат. падеж, *-ами* — твор. падеж, *-ах* — местн. падеж.

7-й тип склонения. Это существительные, имеющие такую совместимость флексий: флексию *-а* в им. падеже мн. числа, в остальных падежах ед. и мн. числа старые флексии, в твор. и местн. падежах позиция нейтрализации, т. е.: род. ед. *-а*, местн. ед. *-е*, им. мн. *-а*, дат. мн. *-ом*/*-ем*.

Им.-вин. мн. *внучата* (Кір. 137, Wb. 1794), дат. мн. *внучатом* (Соб. ул. з, ое об.); им.-вин. мн. *граждане* (Вед. 1703 № 10); дат. мн. *гражданом* (Вед. 1703 № 14); род. ед. *мужа* (Соб. ул. гл. аі, род об.), местн. ед. *мужи* (Дом. стр. 11), им.-вин. мн. *мужья* (Соб. ул. гл. ei, сиз об.), дат. мн. *мужьем* (Изм. л. 15 об.).

Таков список существительных, входящих в 7-й тип склонения. Как видим, он немногочислен, наличие флексии *-а* в им. падеже и отсутствие флексии *-ам* в дат. падеже в языке XVII—XVIII вв. не было распространенным явлением.

8-й тип склонения. Сюда относятся существительные, имеющие новую флексию только в дат. падеже. В им. и твор. падежах представлена флексия *-ы/-и*. В местн. падеже позиция неразличения. Совместимость этих флексий отличает 8-й тип от всех других.

Род. ед. *иноземца* (Соб. ул. гл. і͡, р͡че), местн. ед. *иноземце* (Соб. ул. гл. д͡і, р͡пд), им.-вин. мн. *иноземцы* (Дом. стр. 68), дат. мн. *иноземцам* (Соб. ул. гл. д͡і, р͡пд); род. ед. *порутчика* (Вед. 1704 № 26), им.-вин. мн. *порутчики* (Соб. ул. гл. і͡, р͡ді), дат. мн. *порутчикам* (Частн. пер. 4—253, II), им.-вин. мн. *сенаторы* (Вед. 1703 № 26), дат. мн. *сенаторам* (Вед. 1703 № 11); род. ед. *помещика* (Соб. ул. гл. к͡а, т͡sі об.), им.-вин. мн. *помещики* (Частн. пер. 31—340, II), дат. мн. *помещикам* (Соб. ул. гл. а͡л, р͡ои об.).

В некоторых случаях к 8-му типу склонения с полной определенностью можно отнести существительные, не представляющие данных о флексиях в род. или местн. падежах ед. числа. Основанием для этого служит то, что в 8-й тип входят одушевленные существительные, которые не имеют флексий *-у* в род. и местн. падежах ед. числа.

9-й тип склонения существительных значительно отличается от предыдущих и последующих типов аффиксации. В этом типе налицо совместимость только старых флексий. К тому же это первый тип, в котором все падежи представляют позицию различения. Флективные характеристики 9-го типа следующие: род. ед. *-а*, местн. ед. *-е*, им.-вин. мн. *-ы*, дат. мн. *-ом/-ем*, твор. мн. *-ы/-и*, местн. мн. *-ех*.

Род. ед. *жидовина* (Изм. л. 35), им. -вин. мн. *жиды* (Изм. л. 44), дат. мн. *жидом* (Станг 71, Корм. 1650), твор. мн. *жиды* (Изм. л. 21 об.), местн. мн. *жидех* (Станг 71, Корм. 1650); род. ед. *помысла* (Изм. л. 100 об.), им. -вин. мн. *помыслы* (Дом. стр. 17), дат. мн. *помыслом* (Вас. стр. 123, Сб. 140 об.), твор. мн. *помыслы* (Станг, 73, the Bible 1663), мест. мн. *помыслех* (Вас. стр. 40, Сб. 22 об.).

10-й тип склонения. Совместимость флексий 10-го типа незначительно отличается от совместимости флексий 9-го типа. Лишь в местн. падеже мн. числа вместо старой флексии *-ех* наличествует новая флексия *-ах*. Все остальные флексии совпадают с флексиями 9-го типа.

Род. ед. *вотчинника* (Соб. ул. гл. з͡і, е͡ке), им.-вин. мн. *вотчинники* (Соб. ул. гл. з͡і, е͡ді об.), дат. мн. *вотчинником* (Соб. ул. гл. и͡і, с͡лз об.), твор. мн. *вотчинники* (Соб. ул. гл. а͡і, р͡о об.), местн. мн. *вотчинниках* (Соб. ул. гл. і͡, р͡и); род. ед. *комисара* (Вед. 1704 № 12), им.-вин. мн. *комисары* (Вед. 1703 № 24), дат. мн. *комисаром* (Вед. 1703 № 11), твор. мн. *комисары* (Вед. 1703 № 20), местн. мн. *комисарах* (Вед. 1704 № 9); род. ед. *монастыря* (Вед. 1703 № 28), местн. ед. *монастыре* (Соб. ул. гл. з͡і, с͡ла об.), им.- вин. мн. *монастыри* (Вед. 1704 № 30), дат. мн. *монастырем* (Изм. л. 94), твор. мн. *монастыри* (Соб. ул. гл. і͡, к͡в об.), местн. мн. *монастырях* (Вед. 1704 № 29); род. ед. *ответчика* (Соб. ул. гл. к͡а, и͡з), местн. ед. *ответчике* (Соб. ул. гл. і͡, р͡иі об.), им.-вин. мн. *ответчики* (Соб. ул. гл. і͡, р͡з і об.), дат. мн. *ответчиком* (Соб. ул. гл. і͡, ч͡з об.), твор. мн. *ответчики* (Соб. ул. гл. і͡, р͡ко), местн. мн. *ответчиках* (Соб. ул. гл. и͡і, с͡ме); род. ед. *коня* (Вед. 1704 № 18), местн. ед. *коне* (Kip. 83, Ved. 1705, 42), им.-вин. мн. *кони* (Изм. л. 66 об.), дат. мн. *конем* (Kip. 31, С 1554), твор. мн. *коньми* (Частн. пер. II), местн. мн. *конях* (Вед. 1703 № 8); род. пад. ед. ч. *языка* (Вед. 1703 № 16), им.-вин. мн. *языки* (Дом. стр. 52), дат. мн. *языком* (Изм. л. 49 об.), твор. мн. *языки* (Соб. ул. гл. к͡а, т͡д), местн. мн. *языках* (Kip. 182).

11-й тип склонения. Если 9-й тип склонения представляет целиком аффиксы старых словоформ именной парадигмы, то 11-й тип склонения также целиком состоит во мн. числе из словоформ, имеющих новые аффиксы. Итак, флексии форм 11-го типа: им. -вин. мн. *-а/-я*, дат. мн. *-ам/-ям*, твор. мн. *-ами/-ями*, местн. мн. *-ах/-ях*.

Род. ед. *брата* (Изм. л. 76), местн. ед. *брате* (Соб. ул. гл. з͡, ѳ͡ об.), им.-вин. мн. *братья* (Вед. 1704 № 14), дат. мн. *братьям* (Соб. ул. гл. s͡i, р͡чѳ), твор. мн. *братьями* (Вед. 1703 № 17), местн. мн. *братьях* (Вед. 1704 № 14); род. ед. *крестьянина* (Соб. ул. гл. а͡і, р͡ог, об.), местн. ед. *крестьяне* (Соб. ул. гл. к͡а, т͡ді об.), им.-вин. мн. *крестьяня* (Соб. ул. гл. ѳ͡і, с͡ид), дат. мн. *крестьянам* (Частн. пер. 10—69, II), твор. мн. *крестьянами* (Частн. пер. 81—117, II), местн. мн. *крестьянах* (Частн. пер. 32—240, II).

12-й тип склонения. Совместимость флексий 12-го типа склонения незначительно отличается от совместимости флексий 11-го типа — *-ех* вместо *-ах* в местн. падеже мн. числа. Род. ед. *друга* (Изм. л. 52 об.), местн. ед. *друге* (Stang 42, 16d), им.-вин. мн. *друзья* (Соб. ул. гл. і͡, р͡лг), дат. мн. *друзьям* (Stang 19, 217g), твор. мн. *друзьями* (Частн. пер. 9—123, I), местн. мн. *друзьех* (Изм. д. 64).

Таковы типы склонений, имеющие новую флексию в им. падеже мн. числа. Их насчитывается пять, причем только 4-й тип имеет новые флексии и в ед. числе. Исходя из количественных соотношений, можно сделать наблюдение, что между флексией *-у* в род. и местн. падежах ед. числа и флексией *-а* в им. падеже мн. числа существуют в какой-то мере взаимоисключающие отношения. Только четыре слова (*лес, луг, бег, отпуск* — последние два предположительно—имеют флексию *-а* в им. падеже мн. числа) имеют обе флексии. На материале исследуемых памятников конца XVII — начала XVIII в. это явление можно в какой-то мере объяснить тем, что подавляющее большинство существительных, представленных словоформой с флексией *-а* в им. падеже мн. числа, являются одушевленными, что исключает наличие в них флексии *-у* в род.-местн. падежах. Впоследствии же это правило взаимоисключения вышеназванных флексий, видимо, по аналогии распространится и на неодушевленные имена существительные.

13-й тип склонения имеет те же аффиксы, что и 10-й тип, за исключением им. падежа мн. числа. В 13-м типе здесь представлена флексия *-ы/-и*. Совместимость флексий *-ы* в им. падеже мн. числа, *-ам* в дат. падеже, *-ами* в твор.,*-ах* в местн. падеже мн. числа отличают этот тип от остальных.

Род. ед. *батальона* (Вед. 1703 № 6), им.-вин. мн. *батальоны* (Вед. 1704 № 27), дат. мн. *батальонам* (Вед. 1704 № 27), твор. мн. *батальонами* (Вед. 1704 № 34), местн. мн. *батальонах* (Вед. 1704 № 27); род. ед. *вора* (Соб. ул. гл. ка, та1 об.), им.-вин. мн. *воры* (Соб. ул. гл. ка, счз), дат. мн. *ворам* (Соб. ул. гл. ка, тв), твор. мн. *ворами*, местн. мн. *ворах* (Соб. ул. гл. ка, сче); род. ед. *живота* (Изм. л. 2), местн. ед. *животе* (Изм. л. 92 об.), им.-вин. мн. *животы* (Вед. 1704 № 29), дат. мн. *животам* (Соб. ул. гл. а, рои); твор. мн. *животами* (Соб. ул. гл. а1, рои об.), местн. мн. *животах* (Соб. ул. гл. к, мо об.); род. ед. *корабля* (Вед. 1703 № 4), местн. ед. *корабле* (Вед. 1703 № 37), им.-вин. мн. *корабли* (Вед. 1703 № 28), дат. мн. *кораблям* (Вед. 1703 № 5), твор. мн. *кораблями* (Вед. 1703 № 2), местн. мн. *кораблях* (Вед. 1704 № 33); род. ед. *министра* (Вед. 1704 № 31), им.-вин. мн. *министры* (Вед. 1703 № 37), дат. мн. *министрам* (Вед. 1704 № 25), твор. мн. *министрами* (Вед. 1703 № 6), местн. мн. *министрах* (Вед. 1703 № 3); род. ед. *стрельца* (Частн. пер. 41—10, I, II); местн. ед. *стрельце* (Соб. ул. гл. кг, пе об.),им.-вин. мн. *стрельцы* (Соб. ул. гл. и, смз), дат. мн. *стрельцам* (Частн. пер. 114—66, II), твор. мн. *стрельцами* (Частн. пер. 8—132, I); местн. мн. *стрельцах* (Соб. ул. гл. кг, пе об.); род. ед. *человека* (Соб. ул. гл. і, рязз), местн. ед. *человеке* (Соб. ул. гл. кг, пе об.), им.-вин. мн. *человеки* (Соб. ул. гл. і, чо об.), дат. мн. *человекам* (Частн. пер. 71—112, II), твор. мн. *человеками* (Вед. 1703 № 18), местн. мн. *человеках* (Вед. 1703 № 36); род. ед. *шведа* (Вед. 1704 № 14), им.-вин. мн. *шведы* (Вед. 1703 № 19), дат. мн. *шведам* (Вед. 1703 № 8), твор. мн. *шведами* (Вед. 1704 № 34), местн. мн. *шведах* (Вед. 1704 № 33); род. ед. *товарища* (Соб. ул. гл. і, рмн об.), им.-вин. мн. *товарищи* (Соб. ул. гл. ка, ин), дат. мн. *товарищам* (Частн. пер. 16—86, II), твор. мн. *товарищами* (Дом. стр. 70), местн. мн. *товарищах* (Частн. пер. 16—259, II); род. ед. *города* (Вед. 1703 № 29), местн. ед. *городе* (Вед. 1704 № 1), им.-вин. мн. *городы* (Вед. 1703 № 24), дат. мн. *городам* (Вед. 1703 № 20), твор. мн. *городами* (Вед. 1704 № 14), местн. мн. *городах* (Вед. 1703 № 14); род. ед. *двора* (Дом. стр. 58), местн. ед. *дворе* (Соб. ул. гл. к. об.), им.-вин. мн. *дворы* (Соб. ул. гл. і, о1), дат. мн. *дворам* (Соб. ул. гл. а1, ров), местн. мн. *дворах* (Вед. 1703 № 6).

14-й тип склонения существительных имеет следующие морфологические характеристики: флексия *-ы/-и* в им. падеже мн. числа, флексия *-ам* в дат. падеже мн. числа, флексия *-ами/-ями* в твор. падеже мн. числа и флексия *-ех* в местн. падеже мн. числа. Совместимость этих флексий выделяет данный тип аффиксации.

Им.-вин. мн. *полоняники* (Соб. ул. гл. к, соа об.), дат. мн. *полоняникам* (Вед. 1703 № 6), твор. мн. *полоняниками* (Вед. 1703 № 6), местн. мн. *полоняниках* (Соб. ул. гл. к, спа); род. ед. *сторожа* (Stang 42, 212 g), местн. ед. *стороже* (Соб. ул. гл. і рязз об.), им.-вин. мн. *сторожи* (Соб. ул. гл. о1, сиа об.), дат. мн. *сторожам* (Частн. пер. 45, II); твор. мн. *сторожами* (Частн. пер. 221, II), местн. мн. *сторожех* (Соб. ул. гл. ка, пз об.)

15-й тип склонения характеризуется следующей совместимостью флексий: флексия *-ы/-и* в им. падеже мн. числа, флексия *-ом/-ем* в дат. падеже мн. числа, флексия *-ами/-ями* в твор. падеже мн. числа и флексия *-ах/-ях* в местн. падеже мн. числа. Этот тип близок к 13-му типу, где в дат. падеже вместо старой имеется новая флексия, и к 16-му типу, где в местн. падеже вместо новой представлена старая флексия. Значительное количество существительных, которые представлены в памятниках не всеми флексиями во мн. числе, можно отнести одновременно к 13 и 15-му типам склонения или к 15 и 16-му типам. Приведем существительные, имеющие все морфологические характеристики 15-го типа.

Род. ед. *исца* (Соб. ул. гл. ка, чз), местн. ед. *исце* (Соб. ул. гл. і, ри об.), им.-вин.

мн. *исцы* (Соб. ул. гл. ка, и об.), дат. мн. *исцом* (Соб. ул. гл. і, рѧ об.), твор. мн. *исцами* (Kip. 147, Ul. 18a), местн. мн. *исцах* (Соб. ул. гл. і, ча, об.), им.-вин. мн. *казаки* (Вед. 1703 № 15), дат. мн. *казаком* (Соб. ул. гл. кдѧ), твор. мн. *казаками* (Вед. 1704 № 15), местн. мн. *казаках* (Соб. ул. гл. кдѧ).

В 16-м типе склонения морфологические характеристики следующие: флексия *-ы/-и* в им. падеже мн. числа, флексия *-ом/-ем* в дат. падеже мн. числа, флексия *-ами/-ями* в твор. падеже мн. числа, флексия *-ех* в местн. падеже мн. числа. Совместимость этих флексий отличает его от остальных типов склонения.

Род. ед. *гостя* (Дом. стр. 43), им.-вин. мн. *гости* (Вас. стр. 26), дат. мн. *гостем* (Соб. ул. гл. зі, слв об.), твор. мн. *гостями* (Частн. пер. 47—42), местн. мн. *гостех* (Дом. стр. 64), им.-вин. мн. *мастеры* (Соб. ул. гл. єѧ, оѳ. об.), дат. мн. *мастером* (Дом. стр. 70); твор. мн. *мастерами (ам)* (Станг, 20, 172), местн. мн. *мастерех* (Соб. ул. гл. ка, ин); род. ед. *солдата* (Вед. 1703 № 19), им.-вин. мн. *солдаты* (Вед. 1704 № 26), дат. мн. *солдатом* (Вед. 1704 № 9), твор. мн. *солдатами* (Частн. пер. 78—57, II); местн. мн. *солдатех* (Вед. 1703 № 20); род. ед. *дьяка* (Соб. ул. гл. і, чѕ об.), местн. ед. *дьяке* (Соб. ул. гл. і, чѕ об.), им.-вин. мн. *дьяки* (Соб. ул. гл. і, ргв); дат. мн. *дьяком* (Соб. ул. гл. і, чз), твор. мн. *дьяками* (Частн. пер. 36), местн. мн. *дьяцех* (Соб. ул. гл. і, чѕ).

Подавляющая часть существительных не представлена в исследуемых памятниках полной парадигмой склонения. Эти существительные приходится одновременно относить к двум и более типам аффиксации. Обширные списки этих существительных здесь не приводятся.

Итак, описаны 16 типов склонения существительных в русском языке конца XVII—начала XVIII в. Взяв в качестве коррелянтов новые флексии, мы получили типы склонения, противопоставленные по комбинациям старых и новых флексий. Предложенная классификация не является единственно возможной, но у данной классификации имеются определенные преимущества: во-первых, она охватывает все виды флексий, представленные в обследованных памятниках, во-вторых, несмотря на простоту этой классификации, она позволяет одновременно дать детальное описание материала. В результате описания можно сделать вывод о том, что несмотря на обилие типов флексий в русском языке XVII—XVIII вв. и кажущееся их бессистемное употребление, не каждая флексия того или иного падежа совместима с каждой флексией другого падежа.

Описанная классификация, систематизируя материал, позволит сопоставить морфологический уровень языка с другим уровнем изучения, например, с уровнем морфонологии.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1970

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

«Исследования по общей теории грамматики», под ред. В. Н. Ярцевой. — М., изд-во «Наука», 1968, 291 стр.

Научный совет по теории советского языкознания при Институте языкознания АН СССР выпустил интересный сборник, объединяющий следующие работы: В. Н. Ярцева «Взаимоотношение грамматики и лексики в системе языка»; Н. Д. Арутюнова «О значимых единицах языка»; М. М. Гухман «Грамматическая категория и структура парадигм»; Т. В. Булыгина «Грамматические оппозиции»; В. Г. Адмони «Типология предложения». Уже самый состав авторов обеспечивает высокий теоретичесий уровень статей, глубину разработки поставленных в них проблем.

В статье В. Н. Ярцевой центральным является положение о том, что разным уровням языка присущи разные структурные типы моделей. Эта мысль опирается на убедительный тезис, согласно которому уровни языка не есть «восходящие ярусы», но «замкнутая цепь», отдельные звенья которой связаны последовательно друг с другом (стр. 14). Соответственно уровни различаются не по участию простейших единиц одного уровня в организации простейших же единиц другого, следующего уровня, а по типам строения моделей и по их наборам (стр. 26): самый «языковой тип слагается из применения в нем... разнохарактерных моделей» (стр. 55). Выделяются три типа строения моделей: «жесткое», «относительно жесткое или полужесткое» и «нежесткое». Морфологический уровень характеризуется «жестким» типом строения моделей; признаком «жесткого моделирования» являются ограниченность и определенность 1) порядка следования морфем, 2) форм их соединения и 3) самого количества морфем в составе формы слова. Кроме того, морфологии присущ и «жесткий» тип соотношения моделей, т. е. строгие правила организации парадигм, их строгая противопоставленность и невозможность для парадигмы инородных включений. Синтаксический уровень характеризуется наличием как «жестких», так и «полужестких» моделей: если организация «бинармы» вполне определенна («жесткое моделирование»), то возможности ее расширения и, как следствие, дистантного расположения компонентов демонстрируют уже факт «полужесткости» соответствующей модели. «Полужестким» является в синтаксисе и тип соотношения моделей: в то время как в морфологии формы противопоставляются в пределах «однопорядкового ряда» (парадигмы), «в синтаксисе возникают соотношения по признаку сходства или контрастности значения между моделями, различными по своей структуре» (стр. 28). В лексике тип строения моделей — «полужесткий», а тип соотношения моделей — свободный. «Нежесткие» модели в статье не определяются и не рассматриваются.

Это в целом интересное построение вызывает следующие соображения. Прежде всего, представляется, что те аргументы, которые приводятся в пользу действия в синтаксисе «полужесткого» моделирования, могут быть оспорены. То, что В. Н. Ярцева приводит в качестве основного признака «полужесткого моделирования бинарм» (оставляем в стороне не столь уже бесспорный тезис о бинарме как о простейшей единице синтаксиса; см. об этом ниже),— возможность их расширения и изменения порядка следования элементов, по-видимому, относится уже не к моделированию структуры, а к ее функционированию, к возможностям того, что смоделировано. Бесспорно, что единица, образованная по «жесткой» модели на морфологическом уровне, в рассматриваемых автором языках нечленима, порядок морфем строго закреплен; в синтаксисе так образованная единица членима. Однако говорит ли это об относительной свободе, «нежесткости» моделирования в синтаксисе? Самые правила строения единиц здесь не менее строги, чем в морфологии, а взаимодействие с лексикой (лексически ограниченное и лексически свободное моделирование) не делает менее «жесткой» самую грамматическую модель. Ведь лексические ограничения действуют и на уровне морфологии и словообразования: общеизвестны случаи закрытости списков слов для некоторых дублетных флексий

в русском языке или ограниченности сочетания очень многих словообразующих аффиксов с тем или другим видом основ именно как мотивирующих лексем.

Другой аргумент в пользу «полужесткости» моделирования в синтаксисе — отсутствие в нем парадигматических отношений, подобных парадигматическим отношениям в морфологии (на стр. 38 В. Н. Ярцева вводит понятие «синтаксической парадигмы»; однако при этом имеются в виду «модели минимальных синтаксических контекстов», т. е. синтагматика). И этот тезис также следует признать спорным. Как бы ни были несхожи и несовершенны определения синтаксической парадигматики в ряде работ последних лет, сейчас уже нельзя отрицать самый факт существования принадлежащих языку парадигматических изменений синтаксических моделей в соответствии с определенными — и весьма «жесткими» — грамматическими правилами. Поэтому утверждение, что парадигматическим отношениям на уровне морфологии противостоят «соотношения по признаку сходства или контрастности значения» на уровне синтаксиса, звучит как очень неточное. Помимо всего прочего, соотношение «по сходству или контрастности значений» можно найти и на других уровнях, в том числе и на морфологическом.

Неясно, что имеется в виду под «типом строения моделей» в лексике. Это не словообразование: оно, по всем признакам, включается в морфологию. Тезис о «полужестком» моделировании в лексике доказывается: 1) «лексикализацией сочетаний, очень разнообразных по своему строению» и 2) «заимствованием лексем, имеющих строение, не свойственное лексике данного языка» (стр. 28). Но очевидно, что пополнение лексики по первому каналу может быть названо моделированием лишь условно, только по отношению к каким-то типам сочетаний; что же касается ее пополнения по второму каналу, то оно вообще не имеет отношения к языковому моделированию. Если пользоваться понятием «модели» по отношению к лексическим заимствованиям, то понятие это, усилиями лингвистов и так уже ставшее достаточно неопределенным, окончательно расплывется.

Еще два относительно частных замечания по статье В. Н. Ярцевой. На стр. 43 и сл. развивается тезис о том, что «сама по себе синтаксическая модель всегда выступает как всеобщая и стопроцентно охватывающая лексический материал языка», что она «изначально» обладает свойством «всеобщности»; примеры приводятся на согласование, которое, действительно, обладает таким свойством. Однако в приведенной формулировке этот тезис опровергается огромным количеством лексически несвободных и лексически закрытых синтаксических моделей, подробно описанных для разных языков и в особенности для русского. Он вступает в противоречие с другим тезисом той же статьи, согласно которому «в отдельных случаях можно наблюдать лексические ограничения в наполнении синтаксических моделей» (стр. 32; приводятся примеры из немецкого языка).

Излагая интересные соображения о минимальном синтаксическом окружении лексем, В. Н. Ярцева пишет, что «сдвиги» в лексических значениях слов создаются «содержанием» присоединяемого слова (ср.: *to walk the streets* и *to walk the horse*; *Peasants sell wheat* и *The wheat sells well* и т. п.; стр. 39). Утверждается, что «решающим фактором» в изменении значения слова «оказывается место, занимаемое словом, его позиция по отношению к другому» (стр. 40). Широко известны споры о том, что первично: появление у слова новой сочетаемости, влекущее за собой изменения в его значении и, следовательно, в его семантической структуре, или появление нового значения, влекущее за собой изменения в сочетаемости. Как бы ни решать этот вопрос, исторически сформировавшееся значение принадлежит слову; это значение не возникает каждый раз в зависимости от окружения, от места слова в минимальном контексте, от «содержания прямого дополнения» (стр. 39). Вероятно, эту неточность следует отнести к собственно изложению; ведь очевидно противоречива и следующая формулировка: «Мена позиций влечет за собой мену значений или, можно сказать, что желаемое значение требует определенной позиции элементов бинома» (стр. 45). То же противоречие можно усмотреть между первыми двумя абзацами на стр. 40.

Статья Н. Д. Арутюновой посвящается проблеме лингвистических единиц, критериев их выделения и определения. Объектом исследования является соотношение в знаке означающего и означаемого (плана выражения и плана содержания, формы и функции) и их роль в процедуре выделения и отождествления сущностей знака. Автор подробно рассматривает различные концепции, касающиеся степени и характера участия сторон знака в лингвистическом моделировании. С новых сторон показывается асимметрия отношений между означаемыми и означающими и тот факт, что нечленимость формы не свидетельствует о монолитности содержания. Показав, что членимость на единицы двух языковых планов не совпадает, что структура плана выражения существенно отлична от структуры плана содержания, Н. Д. Арутюнова устанавливает пять типов синтагматических отношений между элементами этих двух планов: 1) одной единице содержания соответствует один элемент выражения; 2) нескольким элементам содержания соответствует одна неделимая единица вы-

ражения; 3) одной единице содержания соответствует несколько единиц выражения; 4) смешанные отношения; 5) элемент выражения не соотнесен с элементом содержания (см. стр. 74—75).

Вслед за Ельмслевом Н. Д. Арутюнова развивает и обосновывает тезис о необходимости раздельного моделирования систем двух языковых планов. Установив, что принципом построения системы является «минимальность различий между непосредственно соотносимыми единицами» (стр. 101), автор приходит к выводу о том, что при моделировании языковых систем необходимо разобщение сторон знака, раздельное описание системы выражения и системы содержания. Такое разобщение приводит к противопоставлению системы языка и его структуры: «отношения между означаемыми образуют функциональную систему языка; воплощение этой системы в означающих составит структуру языка, его реальное строение» (стр. 103—104). Такие понятия, как «избыточность», «недостаточность», «дополнительная дистрибуция», могут быть отнесены только к языковой структуре. Само понятие лингвистической единицы должно быть расчленено: к системе языка относится только одна сторона знака — означаемое. Но и сама эта сторона знака неоднородна: она может или обладать референтной функцией (т. е. быть единицей системы), или участвовать в организации единиц (т. е. быть выразителем их синтагматических отношений). Однако конкретного разграничения «единиц и отношений» автор не дает, справедливо отмечая сложность задачи в связи с большим количеством промежуточных явлений.

Обращаясь к вопросу о единицах структуры, Н. Д. Арутюнова показывает исторические изменения в системе дистинктивных средств («регрессивные» и «прогрессивные сдвиги»). Будучи элементами структуры, эти средства распадаются на элементы, распределенные между разными уровнями; они часто выступают в сложных комбинациях.

В статье Н. Д. Арутюновой много интересных мыслей, отчасти развивающих и углубляющих идеи других лингвистов (автор, как всегда, обнаруживает прекрасную осведомленность в самой современной литературе), но в большинстве случаев оригинальных. Таковы, например, мысли о критериях выделения самостоятельных единиц значения (стр. 65), установление трех видов отношений между элементами языка: отношений вариативности, оппозитивности и манифестации (хотя можно сомневаться в правомерности рассмотрения последних в одном ряду с двумя первыми; см. стр. 100).

Статья М. М. Гухман посвящена грамматическим категориям и структуре парадигм. Эти два вопроса тесно связаны, так как грамматическая категория вполне обоснованно рассматривается как микросистема форм, существующая только в парадигме. Одним из центральных в статье является тезис о двумерности грамматических единиц. Сам по себе не новый, этот тезис последовательно распространяется автором не только на морфологические, но и на синтаксические категории; соответственно пересматривается традиционное для западноевропейских грамматик понимание соотношения морфологии и синтаксиса как сфер формы и значения. Это очень важно, так как если по отношению к морфологическим категориям тезис о их двумерности как будто бы уже ни у кого не вызывает сомнений, то по отношению к категориям синтаксическим его еще приходится доказывать и защищать. В этом направлении работа М. М. Гухман — значительный шаг вперед. Показательно, что почти все те признаки и свойства, которые автор устанавливает как характерные для морфологических категорий, могут быть «спроецированы» и на категории синтаксические: синтаксис, как и морфология, является иерархической системой; синтаксическая категория, как и морфологическая, должна рассматриваться как класс, существующий на уровне парадигматики; так же, как и в морфологии, анализ категорий в синтаксисе опровергает искусственный тезис об обязательной бинарности привативных оппозиций: синтаксическая категория может быть представлена многочленной парадигмой — с минимальной границей двучленности; и и те и другие категории обладают своими системами «маркеров», т. е. минимальных различительных единиц плана выражения. Естественно, полного и абсолютного параллелизма здесь быть не может. Так, автор справедливо отмечает, что «средства морфологического и специально словоизменительного маркирования более ограничены, чем синтаксические средства» (стр. 133). Однако развиваемый далее тезис о «потенциальной независимости словоформ по отношению к лексическому характеру тех слов, от которых они образуются», звучит несколько прямолинейно: известны случаи ограниченности и даже закрытости списков слов, образующих те или иные формы (см. работы Л. В. Копецкого, А. А. Зализняка). Интересно, что и по отношению к синтаксическим категориям — и на уровне не только словосочетаний (что хорошо известно), но и на уровне структурных схем предложения — нельзя говорить о потенциальной независимости категории от лексического материала как об универсальном признаке: здесь также наблюдаются случаи лексической несвободности. Так, в русском языке при независимом, конситуативно не обусловленном употреблении (т. е. именно в первичной, «парадигматической» функции) лексически несвободны структурные схемы предложе-

ний Vf_{3_s} (*Светает*), N_{N_1} (*Ночь*) и некот. др.; на уровне синтагматики, т. е. в условиях конситуации, лексическое ограничение для этих схем снимается.

В связи со сказанным — несколько замечаний о понимании минимальных единиц синтаксиса. М. М. Гухман (так же, как и некоторые другие авторы рецензируемого сборника) считает, что в синтаксисе минимальной, элементарной единицей является словосочетание, максимальной единицей — предложение (см. стр. 122, 144); конструкции типа *Я пишу* (*Я писал*) рассматриваются как «свободное словосочетание» (стр. 150). Прежде всего, исходя из тех позиций, на которых стоит сам автор статьи, нельзя рассматривать отношения между словосочетанием и предложением как отношения количественные: у того и другого — свои категориальные значения, свои формы и свои парадигматические ряды; это единицы внутренне глубоко различные, наглядно демонстрирующие иерархическую устроенность синтаксиса. Поэтому и соединение типа *Я пишу* (*Я писал*) нельзя называть словосочетанием: по всем своим грамматическим признакам это минимальная единица уровня предложения, со свойственной предложению (но никак не словосочетанию) грамматической организацией, системой форм, грамматическим значением, функциями. Именно поэтому нельзя ставить в один ряд «обязательную сочетаемость» с глаголом сильноуправляемой формы и «сочетаемость» именительного падежа (подлежащего) со сказуемым (см. ниже).

В связи с вопросом о смысловой структуре грамматической категории в статье М. М. Гухман подробно рассматривается весьма важный вопрос об инвариантном значении категории, о смысловом инварианте словоизменительных форм. Справедливо отмечая, что в парадигматическом значении грамматической категории имеет место сложность смысловой структуры и что далеко не все словоформы обладают единым простейшим значением как постоянной величиной (стр. 158), М. М. Гухман подчеркивает, что для категорий со сложной смысловой структурой характерна иерархия значений: попытки вывести для таких категорий единый дифференциальный признак «приводят к отвлеченным и неопределенным формулировкам» (стр. 158). Это особенно ясно обнаруживается в разных трактовках значений падежей. Очевидно, что те предельно абстрактные формулировки, которые нам часто предлагают в качестве определения значения того или иного падежа, выводятся их авторами в результате последовательного неразличения значения собственно падежной формы как грамматической категории и ее вторичных функций. Падеж как грамматическая категория формирует свои значения в системе словосочетаний, на уровне синтаксиса слова. Поэтому его основные «парадигматические» значения должны выводиться из отношений между словами, предсказанных категориальными свойствами этих слов. Падежная форма, входящая в структурную схему предложения в качестве ее обязательного компонента (форма, реализующая обязательную сочетаемость слов, таким компонентом, на наш взгляд, считаться не может), должна быть выведена из системы значений данного падежа, так как в этом случае она реализует одну из его вторичных функций, которая не может быть включена в его инвариантное значение. Точно так же не может включаться в основное значение падежа его функция как распространителя структурной схемы предложения. Если в сочетании *Сообщить отцу новость* форма дательного падежа выступает в своем основном значении адресата, принадлежащем падежу на уровне словесных связей, то в предложениях *Отцу сегодня не до расспросов* или *Отцу этот климат губителен* та же форма выступает в своей вторичной функции субъектно-объектного детерминанта, и это ее значение не имеет отношения к «парадигматическим» значениям дательного падежа, к его смысловой структуре как формы словоизменения. М. М. Гухман, таким образом, совершенно права в своем утверждении, что парадигматическое значение грамматической категории беднее суммы его функций и что «в аспекте грамматической категории только парадигматические значения... релевантны» (стр. 159).

Не касаясь многих других вопросов, которые нашли интересное освещение в статье М. М. Гухман, остановимся кратко на проблеме «грамматического поля». Под «грамматическим полем» в статье понимается неодноуровневая область взаимодействия центральных грамматических категорий (ядро поля) и тех периферийных структур, которые с этой категорией взаимодействуют. Сама идея выделения «поля» интересна, однако хотелось бы найти в статье более определенный ответ на вопрос о том, как оно соотносится с моделированием на разных уровнях языковой системы. Между тем, в статье читатель сталкивается как будто бы с взаимоисключающими формулировками: с одной стороны, «грамматическое поле не является моделью структур определенного уровня» (стр. 173); с другой стороны, поле выделяется «как особая структурная единица грамматического моделирования» (стр. 174; подчеркнуто нами. — *И. Ш.*).

Статья Т. В. Булыгиной посвящена проблеме грамматических оппозиций. Рассмотрев разные определения оппозиции вообще и грамматической оппозиции в частности, Т. В. Булыгина предлагает следующее определение грамматической оппозиции: это «отношение между

двумя грамматическими единицами, имеющими общий интегральный признак и различающимися при помощи одной дистинкции» (стр. 189). Подчеркивается и убедительно показывается, что оппозитивными элементами всегда являются не сами знаки, а их односторонние элементы — минимальные единицы означающего либо означаемого (стр. 191), причем оппозициям единиц означаемого соответствуют не оппозиции, а лишь различия единиц означающих. Далее, выделив такие элементы плана выражения, как фонема, слог и фонологическое слово, автор переходит к вопросу о том, что́ аналогично этим единицам в плане содержания. Рассмотрев точки зрения ряда исследователей, Т. В. Булыгина предлагает следующую концепцию иерархии грамматических единиц: фонеме в плане содержания соответствует граммема, т. е. совокупность не встречающихся одно без другого элементарных грамматических значений; слогу соответствует сочетание граммемы и лексемы (лексема—совокупность элементарных лексических значений); «при этом граммема функционально сходна с гласной, а лексема с согласной фонемой» (стр. 202). Граммема — обязательный, центральный компонент означаемого, лексема — не обязательный. Этот последний тезис, основывающийся на том, что местоимениям отказывается в лексическом значении, кажется нам неубедительным, так как анализом семантических структур ряда многозначных местоимений можно легко доказать, что лексические значения у них присутствуют. Однако это не колеблет общих основ той системы соотношений, которую строит автор статьи. Т. В. Булыгина устанавливает сложную систему аналогических соответствий между единицами плана выражения и плана содержания (см. таблицу на стр. 208). Это построение, хотя и не во всем одинаково убеждающее, представляет большой теоретический интерес. В заключительной части статьи, продемонстрировав процедуру установления инвентаря граммем и рассмотрев вопрос о их семантической структуре, автор излагает свое понимание маркированности — немаркированности членов грамматической оппозиции. Т. В. Булыгина приходит к заключению, что это противопоставление в том, что «в тех случаях, когда противопоставление должно быть снято..., в роли „обобщающего" обозначения выступает один из членов грамматической оппозиции, а именно тот, который в силу этой своей функции и признается нами немаркированным» (стр. 231).

Работа Т.В. Булыгиной является ценным вкладом в грамматическую теорию; приходится только сожалеть, что автор обнаруживает пристрастие к чрезвычайной и во многих случаях излишней затрудненности изложения.

В статье В. Г. Адмони вновь излагается типология предложения, предложенная автором в 1935 г. Выдвигаются семь «аспектов» предложения: логико-грамматический, модальный, аспект полноты предложения, места предложения в развернутой речи, познавательной установки говорящего, коммуникативной задачи и степени эмоциональности. После подробного рассмотрения ряда немецких грамматик последних десятилетий автор обращается к вопросам об утвердительности и отрицательности в их отношении к модальности предложения и об актуальном членении предложения.

Выделенные семь аспектов предложения (как справедливо замечает сам автор, их могло бы быть и восемь, а может быть и больше), несомненно, являются реальными планами, под углом зрения которых могут быть рассмотрены самые разнообразные высказывания. Все эти аспекты существуют, все они принадлежат языку,— и все они глубоко различны по своей природе. И дело здесь не в том, что какие-то из этих «аспектов» принадлежат языку, а какие-то (какие же именно? см. стр. 235) будто бы «бесспорно» — речи. Прежде всего, названные «аспекты» отражают разные ступени синтаксической организации и не могут быть выстроены в один ряд: иерархический характер синтаксической системы при таком подходе затемняется, и тезис о «глубинности логико-грамматического аспекта» остается лишь декларированным. Между тем, трактовка в статье этого аспекта остается неясной.

Прежде всего следует возразить против самого термина «логико-грамматический аспект»: ведь очевидно, что в этом термине соединяются вещи совершенно различные: грамматическая основа предложения (его структурная схема, «формула», собственно грамматическая модель) и то, что современные последователи В. Матезиуса (к сожалению, В. Г. Адмони не ссылается на их работы) называют семантической структурой предложения, его семантической моделью. Объединение этих двух сторон предложения — и чисто номинальное и, тем более, в самом анализе — на наш взгляд, неправомерно. Подробно излагая немецкие грамматики, в которых формальная устроенность предложения и его логико-семантический план никак не разграничиваются, автор почему-то не информирует своих читателей о других направлениях в изучении того же объекта, о тех исследованиях, в которых делаются попытки последовательно, шаг за шагом, разграничить устройство предложения по разным ступеням грамматической абстракции — путем выделения в предложении его отвлеченной грамматической схемы, его семантической структуры и тех элементов, которые появляются в нем по правилам расширения и развер-

тывания схемы (см. работы самого В. Матезиуса, М. Докулила, Фр. Данеша, К. Гаузенбласа, М. Грепля, Прж. Адамца и ряда других исследователей).

Что же включается В. Г. Адмони в понятие «логико-грамматического типа предложения?» Это —«формальные различия по морфологическому облику необходимых членов предложения, причем каждый такой формальный тип обладает своим особым обобщенным грамматическим значением» (стр. 233; см. аналогичное определение на стр. 241). В этом определении неясны оба его элемента: что понимать под «необходимым членом предложения» и что такое «обобщенное грамматическое значение» предложения? Как и во всех работах, авторы которых рассматривают (на наш взгляд, неправомерно) валентные свойства глагола как фактор структуры предложения, В. Г. Адмони в качестве примеров необходимых членов предложения привлекает конструкции, отражающие сильную связь — беспредложный падеж прямого объекта при переходном глаголе; автор даже включает этот падеж в состав «расширенного сказуемого» (см. стр. 243; как будто в построении *Я несу чемодан* связь глагола с винительным падежом чем-нибудь отличается от случая *Нести чемодан—нелегкое дело*, где никакого сказуемого усмотреть нельзя). Зная о тех аргументах, которые выдвигаются против включения распространителей глагола в структуру предложения, В. Г. Адмони пишет о том, что в предложении при этом происходят преобразования связей, переход словоформ из разряда зависимых элементов при слове в разряд необходимых членов предложения (см. стр. 242 и др.). Однако строго грамматически этот тезис в статье не доказывается, и как он может быть доказан — неясно. Что же касается «обязательной сочетаемости» именительного падежа со сказуемым или абсолютного винительного с наречием (см. стр. 244), то эти связи (как и ряд других) действительно принадлежат только предложению; но они не имеют отношения к связям, предопределенным категориальными свойствами слов.

Известно, что сильные связи на уровне синтаксиса слова («обязательная сочетаемость») далеко не ограничиваются «дополнением при переходном глаголе» (из последних работ см. исследования Ю. Д. Апресяна). Кроме того, четкие границы между сильной и слабой связью в теоретическом плане не установлены, и попытки такого установления пока еще далеко не во всем удовлетворяют. Таким образом, вопрос о том, какие же словоформы, появляющиеся при глаголе (а сказуемое может организоваться и именем, и имя в этом случае тоже будет реализовать свои валентные свойства), являются необходимыми компонентами структуры предложения, остается открытым, а следовательно остается нерешенным и вопрос о том, обозрим ли вообще круг тех «типов предложения», которые действуют как отвлеченные образцы в данном языке на данном этапе его развития. Если вспомнить при этом, что В. Г. Адмони пишет не только о типах, но и о «подтипах», о «переходных, промежуточных и пограничных случаях», об основных и «периферийных типах» (см. стр. 261 и сл.), если согласиться с самим автором, что общая картина намечаемых им логико-грамматических типов предложения «чрезвычайно пестра и противоречива», «полна переходов, подтипов и т. д.» (стр. 264), то спрашивается, как же, вооружившись таким инструментом, приступить грамматисту к конкретному и полному описанию типов предложения в конкретном языке? Выполнить такую задачу мы можем, только строго определив для себя, что такое минимальная структурная схема предложения, каковы ее собственные грамматические признаки и правила ее распространения и как эти правила взаимодействуют с системой валентных свойств слов, заполняющих схему при ее конкретной реализации.

Не менее неопределенным оказывается в трактовке В. Г. Адмони и понятие обобщенного грамматического значения предложения, отвлекаемое, с одной стороны, от отношений конкретных слов внутри предложения, с другой стороны, от «фактического значения конструкции» (см. стр. 263); оттенков грамматического значения, оказывается, может быть «бесчисленное множество» (там же).

Можно было бы выдвинуть и ряд возражений против принятого в статье В. Г. Адмони понимания модальности. Однако большая сложность этого вопроса не позволяет рассмотреть его в рамках краткой рецензии. Скажем только, что мы не разберемся в вопросе о том, что такое модальное значение предложения, пока не разграничим, во-первых, модальность как обязательный признак любого предложения (грамматически выражаемое отношение сообщаемого к действительности), во-вторых, модальность как характеристику сообщения (разнообразно выражаемое отношение говорящего к сообщаемому), и, в-третьих, модальность лексическую, т. е. присущие определенным семантическим группам полнозначных слов значения желания, волеизъявления и т. п. Смешение всех этих «модальностей» не дает удовлетворительного результата.

Кроме того, на наш взгляд, необходимо разграничивать житейские понятия и понятия грамматические, хотя бы они и назывались одинаково. Так, на стр. 266 В. Г. Адмони пишет, что от так называемых номинативных бытийных предложений нельзя образовать формы побудительности («побудительные предложения»), так как нельзя «превратить

предмет, существование которого здесь выражается, в адресат». Но для синтаксической побудительности обращение к адресату как к реальному исполнителю — лишь элемент общего волеизъявительного значения, диапазон которого колеблется от конкретно адресованного побуждения до принятия, согласия, допущения. И поэтому формы побудительности (только с частицей или с частицей в сочетании с *будет*) от так называемых номинативных предложений в русском языке представляют собой нормальное синтаксическое образование; ср. некоторые из очень многих возможных примеров: «„Ну-ка, где ты, боль?". Он стал прислушиваться. „Да, вот она. Ну что ж, *пускай боль*"» (Л. Толстой, Смерть Ивана Ильича); «Порою шум из-за дверей Доносится неясный, И по ошибке этот шум Мы песнею зовем И утешаемся: „*Пусть шум*! Бывает шум прекрасный"» (Н. Матвеева, Все сказано на свете); «Утомился я достаточно от этой игры со стрельбой. *Пускай будет любой конец*» (П. Нилин, Жестокость); «Пусть он счастливо живет до глубокой старости. *Пусть будет мир и лад в его доме*» (К. пр., 21 III 69).

Что касается вопроса об актуальном членении предложения, то в его общем понимании мы во многом согласны с В. Г. Адмони и с его критикой работ И. П. Распопова. Вряд ли только верно, что «коммуникативное членение... присутствует в каждом предложении» (стр. 290). Жаль, что автор не знаком с интересными работами И. И. Ковтуновой, которая убедительно показала, что существуют целые классы высказываний, лишенных актуального членения.

В заключение следует подчеркнуть, что наше критическое отношение к системе, которую строит В. Г. Адмони, объясняется принципиально иным пониманием того, что такое грамматический метод и как следует применять грамматический метод к грамматическому объекту. Это нисколько не означает, что всякое другое понимание задачи полагается нами ошибочным. Хотелось бы только в любом построении видеть определенность избранного метода, необходимую для грамматики строгость и четкость определений, а также внимание к другим точкам зрения, из которых можно почерпнуть (пусть в чисто негативном смысле) много полезного.

В целом рецензируемый сборник представляет значительное явление в области грамматической науки. В нем нет ни одной работы, которая не отражала бы определенную, продуманную концепцию. Авторы дают ответы на самые сложные вопросы теории, знакомят читателей с новейшими научными системами и взглядами. Этот сборник, несомненно, войдет в фонд наиболее ценных работ, выпущенных в последние годы советскими языковедами.

Н. Ю. Шведова

V. Z. Panfilov. Grammar and logic.— The Hague — Paris, Mouton, 1968, 106 стр.

Хорошо известно, что исследования зарубежных лингвистов систематически переводятся на русский язык. Это дает возможность советским языковедам широко знакомиться с различными направлениями современной лингвистики. Значительно хуже обстоит дело с переводом на другие языки работ отечественных языковедов. Даже фундаментальные лингвистические сочинения, написанные на русском языке, не переведены на английский, французский и немецкий языки. Поэтому нельзя не приветствовать появление монографий советских языковедов на английском языке в переводах издательства Mouton. Среди других работ в малой серии вышла книга В. З. Панфилова (перевод Н. А. Владимирского). Английский перевод довольно точно доносит до читателя содержание и направленность русского текста книги того же автора «Грамматика и логика. Грамматическое и логико-грамматическое членение простого предложения», изданной АН СССР в 1963 г.

Книга состоит, кроме введения и заключения, из пяти исследовательских глав. В них детально рассматриваются следующие проблемы: 1) структура предложения и структура логической фразы, выражаемой предложением (стр. 19—29); 2) логико-грамматический уровень предложения (стр. 30—55); 3) предикативность и сказуемость, модальность и наклонение (стр. 56—82); 4) члены предложения и компоненты логической фразы (стр. 83—90); 5) грамматическая категория залога и категория субъекта (носителя) действия, объекта действия и собственно действия (стр. 91—100). Сравнительно с русским текстом для английского перевода автор сделал ряд дополнений и разъяснений. Наиболее важными из них являются: разграничение объекта и предмета лингвистики в связи с критикой методологического принципа гомогенности[1]

[1] Автор считает, что объектом лингвистики (как и ряда других наук — физиологии, психологии и т. д.) является

(стр. 16—18), вопрос о соотношении структуры предложения и структуры логической фразы в связи с работами П. В. Чеснокова (стр. 40—45), дополнительные замечания о разграничении предикативности и сказуемости (predicativity proper and grammatical predicativity, стр. 57—63), учение о модальности и ее двух типах (стр. 65—67 и 74—82), критическое замечание в адрес сторонников гипотезы Сепира — Уорфа (стр. 105—106).

Выбор для перевода именно книги В. З. Панфилова надо признать целесообразным и правильным. Эта книга в сжатой форме излагает основные теоретические проблемы логико-грамматического направления, которое широко представлено в отечественном языкознании. Из разных школ логико-грамматического направления автор отдает предпочтение той, которая считает, что предложение как синтаксическая единица связано планом содержания с логическими формами мышления, а планом выражения — с морфологической характеристикой слов. Соотношение логики и грамматики понимается прежде всего как фиксация структуры мысли особыми языковыми средствами в составе выражающего ее предложения.

Еще Ф. И. Буслаев писал, что связь языка и мышления противоречива, что в синтаксисе мы обнаруживаем не только законы логического мышления, но и правила управления и согласования слов, правила использования частей речи. Эти аспекты подчеркивались также в типологической концепции И. И. Мещанинова. Как известно, сторонники психологического и формального направления не только отметили слабые стороны логико-грамматического направления, но придали отрицательный эмоционально-оценочный смысл самому названию «логическая грамматика». Очень хорошо изложив основные недостатки ранних школ логического направления (см. стр. 8—9), В. З. Панфилов справедливо замечает, что истолкование логической концепции как старой логистики, непонимание сложного характера взаимоотношения языка и мышления ведет к еще более ошибочным трактовкам проблем логической структуры мышления и грамматики.

Книга В. З. Панфилова является основательной защитой современного логико-грамматического направления в языкознании в его противопоставлении не только психологическому направлению, но и логико-математическим и семиотическим школам внутри самого логического языкознания. В. З. Панфилов правильно, на мой взгляд, подчеркивает, что между языком и мышлением нет прямолинейной и однозначной зависимости, что содержание, выражаемое в акте речи, не является простой суммой значений единиц языка, что структура нашей мысли обуславливает прежде всего структуру предложения, которое передает и выражает эту мысль.

Центральной идеей в концепции В. З. Панфилова, думается, является учение о двух уровнях структуры предложения — синтаксическом и логико-грамматическом. Это учение возникло в результате логической интерпретации так называемого психологического суждения и актуального членения предложения. Автор исходит из того, что с лингвистической точки зрения важно выделить единую форму мышления, которая выражается одной и той же языковой единицей, т. е. предложением. Единой формой мышления является логическая фраза (или логема), разновидностями которой выступают суждение, вопрос, побуждение. Логическая фраза (или суждение в широком смысле) характеризуется двумя общими признаками — субъектно-предикатной структурой и соотнесенностью соответствующих мыслей с действительностью (стр. 19—20) [2]. Что касается однословных безличных и номинативных предложений (типа *Вечереет*, *Зима*) и одночленных двусоставных фраз (типа *Грачи прилетели* — *The rooks came*), то они выражают какую-то иную форму мысли, чем суждение, которая до сих пор не выявлена и не определена логикой (стр. 49).

Субъект и предикат суждения находят языковые средства своего выражения, причем логический субъект нередко выделяется негативно — лишь тем, что специальными средствами языка выражается логический предикат. Предикатное оформление члена предложения может осуществляться специальными морфемами и служебными словами (например, в нивхском языке предикативным суффиксом *-та* ~ *-ра*~*-да*) или интонацией (логическим ударением) и — дополнительно — порядком слов, которые также являются формальными средствами языка.

Поскольку предложение является единством своего состава, интонации и порядка слов, постольку возможно двоякое членение предложения, выявление двух уровней предложения. На синтаксическом уровне мы имеем дело с членами предложения. Например, в предложении *Он приехал поездом* выделяется подлежащее, сказуемое и обстоятельство образа действия. На другом уровне, который автор

речевая деятельность в целом. Предмет же лингвистики включает только такие компоненты речевой деятельности, при помощи которых мы осуществляем акты общения и мышления, но которые являются частными для речевой деятельности в целом.

[2] См.: П. В. Копнин. Природа суждения и формы выражения его в языке, в кн.: «Мышление и язык», М., 1957, стр. 300—322; П. В. Чесноков. Логическая фраза и предложение, Ростов-на-Дону, 1961, стр. 11—28.

называет логико-грамматическим, при сохранении синтаксического членения, выделяется еще логико-грамматический субъект и логико-грамматический предикат. Например, в двучленной фразе *Он приехал — поездом* логико-грамматический предикат *поездом* связан с логическим субъектом *он приехал* (стр. 52—54). Естественно, что противопоставленность синтаксического и логико-грамматического членений предложений бóльше в синтетических языках, где члены предложения морфологизованы. В изолирующих языках из-за отсутствия четко выраженной морфологизации членов предложения между логико-грамматическим и синтаксическим членением имеет место бóльшее соответствие.

Думаю, что В. З. Панфилов прав, когда он утверждает, что актуальное членение предложения обусловлено субъектно-предикатным членением логемы. Действительно, при формально-логическом членении предложения, при выявлении психологического субъекта и психологического предиката, при актуальном членении предложения на «данное» и «новое» мы имеем одну и ту же форму мысли. Между логическим субъектом и предикатом, с одной стороны, и членами актуального членения, с другой стороны, никакого принципиального различия нет (стр. 40). Автор прав и тогда, когда подчеркивает, что на логико-грамматическом уровне используются особые грамматические средства (стр. 52).

Однако термин «особые грамматические средства» (specific grammatical means) не определен с достаточной четкостью. Как уже отмечено ранее, кроме морфем и служебных слов, модальных глаголов, среди особых грамматических средств указываются интонация и порядок слов. Термин «синтаксический уровень» употребляется для обозначения членов предложения, имеющих морфологические признаки, а слово «грамматика» нередко наполняется содержанием: «синтаксис, изучающий неморфологизованные члены предложения». Если это так (а это, видимо, так), то с точки зрения содержания синтаксический и логико-грамматический уровень на самом деле оказывается одним логико-синтаксическим (логико-грамматическим) уровнем предложения, противостоящим формальному уровню конструкций. С точки зрения средств выражения, «синтаксический уровень» является скорее всего морфолого-синтаксическим подуровнем того же логико-синтаксического уровня, поскольку логико-синтаксическая структура здесь выражается формами слов (морфемами).

Что же касается «логико-грамматического уровня», то он выступает как лексико-синтаксический подуровень того же логико-синтаксического уровня, поскольку логическое ударение и порядок слов распространяется не на морфемы и пустые формы слов, а на сами слова, т. е. на лексемное наполнение позиций синтаксических моделей. В связи с этим надо подчеркнуть справедливость замечания автора о том, что при логико-синтаксическом членении предложений выделяются не только слова, но и словосочетания и синтаксические группы, которые, хотя и членятся на уровне словосочетания, на уровне предложения не членятся, выступая как единые логико-синтаксические компоненты суждения. «Языковая, или, точнее говоря, словесная расчлененность выражения логического субъекта и предиката,— пишет В. З. Панфилов на стр. 13,— характеризует внутреннюю структуру понятия, способ образования его и обозначения его в предшествующих актах мышления, т. е. своего рода понятийную этимологию» [3].

Предложенное терминологическое замечание ни в коей мере не умаляет правильности самой идеи о логической основе двоякого членения предложения. Более того, именно такой подход к членению предложения и организующей роли глагола дал возможность автору высказать ряд интересных соображений о предложении в целом и его морфологическом ядре. Так как суждение в широком смысле слова (логическая фраза) обладает двумя общими признаками, которые указаны ранее, то изучение соотнесенности логико-грамматической предикативности и модальности с синтаксической предикативностью и модальностью является дальнейшим развитием основной идеи книги. Именно здесь становится убедительнее интерпретация синтаксического уровня как морфолого-синтаксического.

Наличие двух уровней членения предложения требует различения двух видов предикативности — собственно предикативности как явления логико-грамматического уровня, и сказуемости (термин А. М. Пешковского, по-английски он передан: grammatical predicativity) как явления синтаксического уровня. Хотя предикативность и сказуемость соотносятся друг с другом и в частных случаях могут перекрещиваться, предикативность и сказуемость принципиально отличаются друг от друга. Предикативность как обязательное свойство любого предложения характеризует отнесенность его содержания как относительно законченного акта мысли к действительности; предикативность не привязана ни к какому отдельному члену предложения. Сказуе-

[3] См. также: Г. Паулъ, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 165—167; Л. В. Матвеева-Исаева, Словосочетания и их семантическое значение в составе предложения, «Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена]», 59, 1948; А. В. Бельский, Грамматическое определение как средство реализации мысли, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», 5, 1953.

мость является свойством сказуемого как члена предложения и есть лишь в тех предложениях, где имеется этот член предложения. Члены предложения и компоненты логической фразы (суждения) не совпадают. Субъект суждения есть понятие о предмете суждения, а предикат суждения — это признаки (в широком смысле), которые определяются как присущие или не присущие предмету мысли. Подлежащее и сказуемые — это главные, организующие члены предложения, и они выделяются только там, где находят свое морфологическое оформление.

Поэтому не только в односоставных, но и в некоторых двусоставных предложениях подлежащее и сказуемое могут не выделяться. Это наблюдается, например, в таких предложениях тождества, как *Грушницкий — юнкер* и *Юнкер—Грушницкий*, *Младшая дочь была самая красивая* и *Самая красивая была младшая дочь*, *Мечта моего сына — стать художником* и *Стать художником — его заветная мечта*. В этих предложениях грамматическая оппозиция между подлежащим и сказуемым как главными членами отсутствует, она нейтрализована, хотя в других предложениях она находит четкое морфологическое выражение (стр. 57—58 и 86—87). Такие предложения, по мнению В. З. Панфилова, не могут последовательно и непротиворечиво анализироваться на синтаксическом уровне по главным членам предложения, допуская лишь актуальное членение предложения на субъект и предикат суждения.

Это верно, если понимать синтаксис как актуализованную морфологию, а части речи — как морфологические категории. Если же признать, что части речи являются лексико-грамматическими разрядами слова, а синтаксический строй языка располагает системой (типологией) моделей предложений, то омонимичные конструкции, о которых здесь идет речь, должны рассматриваться как варианты основных моделей и анализироваться по аналогии, так как они обнаруживают только нулевые грамматические признаки. Например, в предложении *Воспитание— важная вещь, очень важная вещь* (Тургенев) подлежащим является первый член предложения, хотя он характеризуется негативно — через признаки сказуемого *важная вещь* (*очень важная вещь*). Признаками сказуемого являются: 1) второе место в модели предложения, 2) абстрактность существительного *вещь*, которое, занимая место сказуемого, требует определения, наполняющего позицию сказуемого нужной семантикой. В предложении *Я не вор какой* (Лермонтов) подлежащим выступает местоимение *Я* (именительный падеж личного местоимения обычно является подлежащим); признаки сказуемого *не вор* следующие: 1) второе место в предложении, 2) наличие при сказуемом отрицания. Естественно, что в приведенных примерах синтаксическое и актуальное членения могут совпадать и могут не совпадать. Не совпадают они тогда, когда логическое ударение падает на первое слово, выделяя его как предикат суждения, хотя оно по грамматическим признакам является подлежащим. На уровне актуального членения возможна также перестановка слов, которая нарушает обычную для синтаксического уровня модель предложения.

Признание отрицательных грамматических признаков модели предложения так же необходимо, как признание утверждения о том, что у русского существительного *зуб* имеется шесть падежных форм (при этом всем хорошо известно, что формы именительного и винительного падежей омонимичны).

Кроме *предикативности*, предложению присуща модальность. Понимание модальности, ее отношения к предикативности и логической модальности, виды модальных значений и средства их выражения — все это находит различное освещение в специальной литературе и вызывает многие дискуссии. В книге рассматриваются различные аспекты проблемы, в том числе в связи с двояким членением предложения. Автор подчеркивает, что модальные значения на синтаксическом и логическо-грамматическом уровнях могут быть гомогенными и гетерогенными. Если модальные значения, выражаемые на синтаксическом и логико-грамматическом уровне, являются гетерогенными, то оба эти значения выступают как элементы модальной характеристики предложения. Если же модальные значения, выражаемые на этих уровнях, являются гомогенными, то модальное значение глагола-сказуемого содержится в предложении как бы в снятом виде и актуальным для модальной характеристики предложения является лишь значение, выражаемое на логико-грамматическом уровне. Например, в предложении *Zu Hause. würde ich mich gewiss besser fühlen* наклонение глагола выражает модальное значение нереализованной возможности, тогда как модальное слово *gewiss* выражает модальное значение категорической достоверности (стр. 78).

Поскольку различные виды субъективной модальности указывают на характер соотнесения мысли с действительностью, они представляют собой различные виды предикативности, дифференцируя ее и образуя формальный парадигматический ряд: *Он пришел*; *Он, может быть, пришел*; *Он, конечно, пришел*. Первое предложение выражает модальное значение простой достоверности, второе — модальное значение проблематической достоверности, а третье — модальное значение категорической достоверности (стр. 75).

Как предикативность и сказуемость могут перекрещиваться, так перекрещиваются модальности синтаксическая и логико-грамматическая, наклонение и модальность. Как предикативность шире сказуемости, так и категория модальности шире категории наклонения, хотя в ходе исторического развития языка наклонение возникает как средство выражения модальности. Модальность логико-грамматического уровня является предикативной категорией, т. е. такой категорией, которая характеризует предложение в целом. Наклонение же глагола следует рассматривать как категорию сказуемости, а не предикативности.

Признавая вслед за И. И. Мещаниновым, что объектные отношения являются универсальными, как и субъектно-предикативные отношения, В. З. Панфилов останавливается на залоге как синтаксико-морфологической категории. Между логическими категориями субъекта (носителя) действия и объекта действия, с одной стороны, и грамматическими категориями подлежащего и дополнения, с другой стороны, не существует однозначного соответствия. Категория залога дает возможность выразить более разнообразные отношения между субъектом, объектом и действием.

Стремление установить соответствие между синтаксическим уровнем (грамматической формой) и логико-грамматическим уровнем (коммуникативной нагрузкой) предложения реализуется различно. Одна тенденция, реализуемая в номинативном строе предложения индоевропейских языков, состоит в том, что подлежащее как член предложения выражает субъект логической фразы [несовпадение субъекта суждения и носителя (субъекта) действия приводит к возникновению страдательных конструкций]. Другая тенденция реализуется в ряде палеоазиатских и кавказских языков, в которых нет страдательной конструкции, но есть эргативная конструкция. Эта вторая тенденция состоит в том, чтобы превратить в подлежащее член предложения, который выражается одним из косвенных падежей, но который обозначает субъект действия, выраженного переходным глаголом.

Таким образом, в книге В. З. Панфилова последовательно, с одной и той же точки зрения исследуются важнейшие вопросы современного синтаксиса и логики, учения о связи языка и мышления, рассматриваются важнейшие грамматические категории (модальность, наклонение, залог и т. п.). Соотношение логико-грамматических и формально-синтаксических категорий автор рассматривает как типологическую проблематику, на протяжении всей книги приводя и анализируя примеры из языков разного морфологического и синтаксического строя. В. З. Панфилов обращает внимание на то, что субъектно-предикатная форма мышления является универсальной (общечеловеческой), тогда как грамматические формы, в том числе синтаксические, носят более частный (национальный) характер. Автор подчеркивает, что тождество логико-грамматического членения предложения при возможном различии их синтаксического членения указывает на относительную самостоятельность языка и определяющую роль мышления. Несмотря на значительное расхождение в соотносительных единицах языков, идентичное содержание может быть передано средствами любого языка.

Содержательная сторона речи и единицы языка, употребляемые в речи, не совпадают. Поэтому наши мысли всегда могут превышать содержание языковых единиц и могут влиять на появление и развитие единиц языка.

В. И. Кодухов

Л. Л. Касаткин. **Прогрессивное ассимилятивное смягчение задненёбных согласных в русских говорах.** — М., изд-во «Наука», 1968. 136 стр.

Рецензируемая монография посвящена исследованию одного из наиболее ярких и заметных диалектных явлений русского языка. После известного труда Д. К. Зеленина [1], спорность ряда выводов которого не раз отмечалась уже в литературе предмета [2], тема эта во всем ее объеме не привлекала внимания ученых. Между тем огромный материал, накопленный русской диалектологией за последние полвека, настоятельно требовал осмыс-

[1] Д. К. Зеленин, Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации, СПб., 1913.

[2] Ср., например: А. А. Шахматов, Рец. [Д. К. Зеленин. Великорусские говоры... СПб., 1913], ИОРЯС, XX, кн. 3, 1915; С. С. Высотский, Развитие русской диалектологии в конце XIX—начале XX в., в кн. «История русской диалектологии», М., 1961, стр. 49—51.

ления и обобщения, а развитие теории и методов лингвистической географии, описательной и исторической диалектологии и диахронической фонологии открывало широкие возможности для решения еще не решенных вопросов и пересмотра некоторых из тех выводов, которые до сих пор казались бесспорными. В исследовании Л. Л. Касаткина эти возможности использованы полно и умело.

Работа основана на обширном, тщательно собранном фактическом материале, который отчасти получен путем личных наблюдений автора, отчасти же извлечен из многочисленных описаний русских говоров, из ответов на «Программу...» Диалектологического атласа и ответов на специальную, составленную самим автором программу. Этот огромный материал не только детально описан и картографирован (девять безукоризненно выполненных карт дают зримое представление о типологии и распространении исследуемого явления), но и интерпретирован на основе единой, последовательно проведенной концепции, дающей полное и непротиворечивое объяснение всему многообразию фактов применительно к различным эпохам и разным структурно-территориальным разновидностям русского языка. Все это, вместе с широкой и разносторонней эрудированностью автора, ясностью и четкостью его лингвистического мышления, обеспечило успех предпринятого им труда.

После краткого предисловия (в нем излагаются общие сведения об исследуемом ассимилятивном процессе и истории его изучения, формулируются задачи исследования и определяется фонологическое кредо автора) Л. Л. Касаткин приступает к анализу диалектного материала, посвящая первую главу работы (стр. 7—72) исследованию результатов прогрессивного ассимилятивного смягчения задненебных в современных русских говорах. Следует подчеркнуть, что речь здесь идет именно о результатах, а не о самом этом фонетическом процессе. Это не случайно и имеет принципиальное значение.

Как убедительно показывает автор, смягчение задненебных не является сейчас живым фонетическим процессом; вызвавший его закон давно прекратил уже свое действие, и в современном языке — с различной для разных говоров сохранностью — представлены лишь его готовые результаты, зафиксированные в лексическом составе и морфологическом инвентаре и отраженные в соответствующих моделях. Эти модели (фонетическая, фонологическая, морфологическая и словообразовательная) продолжают предписывать правила выбора определенных звукосочетаний, пути и средства освоения инодиалектного (иноязычного) материала, правила образования новых слов и форм. Возникающие по этим правилам факты могут внешне ничем не отличаться от тех, какие в предшествующий период были вызваны действием фонетического закона, и это дает иногда основания для ложного вывода, будто закон является живым и продолжает действовать (ошибки такого рода встречаются нередко и у опытных диалектологов). Важно учитывать, однако, что сохраняемая по традиции модель предписывает правила не обязательного, а лишь предпочтительного характера, в связи с чем оказываются возможными также и факты, противоречащие модели. Таковы, например, нередкие в современных говорах случаи сосуществования в речи одних и тех же лиц вариантов типа *Вань*[*к'*]*я* и *Вань*[*к*]*а*, *день*[*г'*]*ям* и *день* [*г*]*ам* и т. п. (стр. 63) или вариантов типа *Нин*[*к*]*а* и *Нин*[*к'*]*я*, *рыб*[*к*]*а* и *рыб*[*к'*]*я* и т. п. (стр. 10—13). В этой ситуации создаются условия для взаимодействия моделей (например, словообразовательной и фонетической), которые, накладываясь друг на друга, могут вызывать к жизни факты, совершенно невозможные при естественном фонетическом развитии (ср., например, случаи типа *де*[*ф'к'*]*я*, *кошо*[*л'к'*]*я*, *бли*[*с'т'*]*о* «близко», анализируемые на стр. 15—17). В связи с этим выдвигается идея о трех стадиях, трех последовательных этапах фонетических изменений (стр. 61—62), идея, которая имеет важное значение для дальнейшего развития диахронических исследований.

Сознательно ограничиваясь синхронным анализом, Л. Л. Касаткин в самом современном материале находит данные, позволяющие отграничивать действительные результаты переходного смягчения от сходных с ними результатов аналогического выравнивания или заимствований при междиалектном взаимодействии, а случаи, не затронутые в прошлом действием фонетического процесса,— от тех, какие обязаны позднейшему отходу от результатов смягчения. Ср., например, анализ случаев с [к'] и [к] после звуков на месте этимологического *ч* в некоторых среднерусских и южнорусских говорах (стр. 23—28), анализ случаев с [к'] и [к] после [j] (стр. 29—32) и др. под., потребовавшие от автора преодоления целого ряда специфических трудностей, связанных с необходимостью интерпретации материалов чужих записей (стр. 34—35) или с пересмотром некоторых устоявшихся, но ошибочных взглядов. В этой связи достаточно отметить хотя бы как имеющее и принципиальное значение проведенное автором определение частотности в русском языке сочетаний мягких согласных с [к], что позволило ему опровергнуть не раз выдвигавшийся наблюдателями и как будто подтверждаемый массовыми материалами атласа ложный тезис о якобы имеющей место зависимости произношения [к'] от того, после ка-

кого именно парного мягкого согласного он стоит (стр. 38—39).

Весьма важной представляется также проделанная автором работа по установлению случаев лексикализации и морфологизации результатов ассимилятивного смягчения задненебных. Подобные явления (ср., например, сохранение мягких [к'], [г'] в словах *зерькело*, *зерьгело* или в формах им. падежа ед. числа прилагательных жен. рода типа *маленькия*), связанные с фонетическим процессом имликативной связью, имеют, как известно, исключительно важное значение для исторической диалектологии, так как могут указывать на действие фонетического процесса в прошлом, если другие, непосредственные его результаты по тем или иным причинам не сохранились. Круг такого рода явлений, известных науке, еще очень невелик, и расширение сведений о нем нельзя не поставить в заслугу автору [3]. Особый интерес в этом отношении вызывает исследование истории собственного имени *Олья*(<*Ольга*), широко распространенного в такой форме на территории северного ареала прогрессивного ассимилятивного смягчения задненебных, а также на соседних территориях, не знающих сейчас этого явления, но, возможно, знавших его в прошлом. Тесно связанное с общей темой и предпринятое ради нее, это частное исследование имеет несомненную самостоятельную ценность, представляя образец изящного анализа целого комплекса собственно лингвистических и экстралингвистических проблем.

Следует отметить вообще, что автор не ограничивается узкими рамками исследуемого им явления, но, последовательно учитывая его многочисленные и разнообразные связи и опосредования, выходит в смежные области, предлагая новые, иногда спорные, но всегда интересные решения многих трудных проблем. Таковы, например, вопросы о фонологическом статуте [γ] в литературном языке и севернорусских говорах (стр. 45—49), о соотношении фонем [γ] и [j] в современных говорах и в древнерусском языке и связанных с этим особенностях их графического обозначения (стр. 51—52), вопрос о происхождении севернорусских форм типа *пе*[*ко*]*т*, *т*[*ко*]*м* (стр. 64—66) и мн. др.

Во второй главе работы (стр. 72—123) автор обращается к истории прогрессивного ассимилятивного смягчения задненебных и выдвигает ряд обоснованных положений о сущности, механизме и условиях этого процесса, о времени, когда он действовал, и о факторах, определивших различное его течение в разных говорах русского языка или вообще препятствовавших его осуществлению. Л. Л. Касаткин справедливо считает, что ни одно из выдвигавшихся ранее толкований прогрессивного ассимилятивного смягчения задненебных не объяснило ни истории, ни особенностей результатов этого изменения. Иначе и не могло быть, так как те общие артикуляторно-физиологические особенности человеческой речи и социально-исторические факторы (внешние влияния, мода и пр.), указанием на которые обычно и ограничивались при объяснении этого явления, представляют собой лишь общие возможности изменения и распространения его результатов. Реализуется ли та или иная возможность и если реализуется, то как и в каком направлении, зависит от специфических особенностей данной фонологической системы [4]. Именно здесь, на фонологическом, а не на фонетическом уровне, нужно, по мысли автора, искать ответ на все принципиальные вопросы, связанные с ассимилятивными изменениями.

В основе фонологических взглядов Л. Л. Касаткина лежит концепция московской школы, основные понятия которой (а также заимствованное у пражцев понятие архифонемы) осмыслены им в свете положений двухступенчатой теории фонем С. К. Шаумяна. Таким образом, фонема, архифонема и гиперфонема понимаются здесь как конструкты, т.е. как абстрактные единицы моделируемой системы языка, обладающие определенным набором различительных признаков («диф-

[3] В этой связи следует указать и на одну упущенную автором благоприятную возможность — исследовать сам процесс лексикализации в его течении на примере приимперативной частицы *к'а*, которая, судя по некоторым свидетельствам, обнаруживает тенденцию к консервации ассимилятивной мягкости (см.: Ф. П. Филин, Говор д. Селино Дубенского района Тульской области, «Материалы и исследования по русской диалектологии», I, М., 1949, стр. 309.

[4] Это справедливо, разумеется, и в отношении обычных объяснений многих других конкретных изменений в истории конкретных языков и диалектов. Последним по времени и чрезвычайно ярким образцом такого подхода к ассимиляции как панхроническому и универсально-языковому изменению, объясняющемуся общечеловеческой тенденцией к экономии и облегчению произносительных усилий, может служить изложение вопроса в книге: Б. А. Серебренников, Об относительной самостоятельности развития системы языка, М., 1968, стр. 42—55. Ср. также недавнее утверждение У. Ш. Байчуры о том, что «ассимиляции, диссимиляции, метатезы звуков...— результаты влияния анатомии и физиологии» («О некоторых факторах языкового развития», в сб. «Проблемы языкознания», М., 1967, стр. 104).

ференторов») и воплощаемые в звуках языка («фонемоидах»)[5]. Эти последние также характеризуются определенным набором признаков («дифференто-идов»), одни из которых воплощают дифференторы фонем и потому являются фонологически существенными, а другие нет.

Основываясь на соображениях А. Мартине и М.И. Стеблина-Каменского, Л. Л. Касаткин определяет ассимиляцию как «замену фонологически несущественного признака α звука [а] парным признаком β соседнего звука [m]» (стр. 89) и, проверив это определение на ряде широко распространенных в русском языке результатов различных ассимилятивных изменений, использует его затем для объяснения ассимилятивного смягчения задненебных. Результаты этого исследования представляются интересными и обнадеживающими.

Рассматривая сочетания типа [t'к], возникшие в русском языке в результате процесса падения редуцированных, автор показывает, что твердость заднеязычного звука [к] в таких случаях была фонологически несущественной, поскольку фонема [к] не обладала дифференторомм «палатальность». В то же время мягкость предшествующего согласного, воплощавшего «мягкую» фонему, была фонологически существенной. Именно поэтому мягкость этого согласного переносилась на следующий за ним задненебный, который, таким образом, подвергся прогрессивному смягчению (стр. 72—73). Так же обстояло дело и с другими задненебными, если их твердость, как и у [к], была фонологически несущественной. Однако в древнерусском языке были говоры, в которых — по особенностям их фонологических систем — фонемы /γ/ и /х/ обладали дифференторомм «твердость», поскольку им были противопоставлены коррелятивные «мягкие» фонемы. В таких говорах твердость звуков [γ] и [х] оказывалась фонологически существенной, и потому, в отличие от [к], эти согласные не подверглись ассимилятивному смягчению.

По определению фонологического механизма ассимиляции, смягчение твердых задненебных не должно было иметь места и в тех говорах, где предшествующие мягкие согласные воплощали фонемы, лишенные дифференторома «палатальность». Такими, например, во всех древнерусских говорах были мягкие шипящие [ш'] и [ж'], впоследствии отвердевшие. И действительно, после этих шипящих, даже в говорах, где они сохранили исконную мягкость, произносятся обычно твердые задненебные (стр. 97). То же — в положении после других согласных, например, после [j], если их мягкость, как и мягкость шипящих [ш'] и [ж'], не была фонологически существенной.

Однако были и такие говоры, где мягкость звука [j] оказывалась фонологически существенной, поскольку фонема /j/ входила в коррелятивную пару с /γ/ и противопоставлялась ей как «мягкая» — — «твердой». В таких говорах, естественно, твердые задненебные (собственно только [к], поскольку твердость [γ] и [х] оказывалась здесь фонологически существенной) должны были ассимилятивно смягчаться и после [j] (стр. 104). Сходная ситуация определяла судьбу твердых задненебных и после звуков, выступающих в соответствии исконным *ч* и *щ* (стр. 97—104).

Таким образом, автору действительно впервые удалось объяснить и редкое для русского языка прогрессивное направление этой ассимиляции, и обусловленные особенностями диалектных фонологических систем различные по говорам структурные разновидности ее результатов. Вполне достоверной представляется также и устанавливаемая автором относительная хронология ассимилятивного смягчения задненебных (после возникновения аканья, но на раннем этапе его развития), а новая датировка этого процесса (XIII в.), основанная на соображениях структурного и лингвогеографического характера, оказывается гораздо более убедительной, чем та, которая получила признание после работы Д. Е. Зеленина. Не вызывает сомнений и вывод автора о независимом происхождении ассимилятивного смягчения задненебных в севернорусских говорах (стр. 120), вопреки поддержанному А. А. Шахматовым и принятому в науке мнению Д. К. Зеленина о южнорусском происхождении этого явления, якобы занесенного на север переселенческой, колонизационной волной.

Первый исследователь этого диалектного явления Д. К. Зеленин, подводя итог своим наблюдениям и признаваясь, что особых доказательств в пользу предложенного им объяснения «часто совсем не имеется», писал: «Приходится довольствоваться тем, что наша гипотеза более или менее удовлетворительно объясняет всю сумму известных нам фактов и нигде не противоречит этим фактам. Когда будет дано лучшее объяснение тех же фактов, тогда предложенное нами объяснение само собою отпадет»[6]. Рецензируемая книга действительно дает это предсказан-

[5] Следует отметить, однако, что наряду с пониманием фонемы как конструкта в книге, хотя и имплицитно, присутствует и другое понимание фонемы — как единицы, интуитивно осознаваемой носителями языка и, следовательно, имеющей психический коррелят в их языковом сознании.

[6] Д. К. Зеленин, указ. соч., стр. XVI.

ное полвека назад «лучшее объяснение тех же фактов». Важно подчеркнуть, что ассимилятивное смягчение задненебных рассматривается не как изолированное изменение, но как развитие в одном из звеньев фонологической системы. Все это позволяет оценить работу Л. Л. Касаткина как ценный вклад в русскую описательную и историческую диалектологию.

Однако содержание ее значительно шире — и если диалектолог примет ее как диалектологическое исследование, выполненное фонологическими методами, то фонолог обратится к ней как к фонологическому исследованию, выполненному на диалектном материале.

Не останавливаясь подробно на частных вопросах, хотя и они представляют несомненный интерес (ср., например, устанавливаемые автором различия в фонологическом содержании звука [j] по говорам русского языка или вывод о том, что коррелятивные фонемы /ч/ и /ц/ противопоставлены в части русских говоров не как «шипящая»— «свистящей», а как «мягкая» — «твердой», стр. 97—99), следует выделить несколько положений, имеющих принципиальное общефонологическое значение.

Таков прежде всего вывод, опровергающий общепринятое представление о возможности фонологизации позиционно обусловленных вариаций фонем при устранении причин позиционного варьирования. Как показывает Л. Л. Касаткин, если фонема /А/ воплощалась в позиции P_1 в звуке $[a_1]$, а в позиции P_2 в звуке $[a_2]$, а затем позиция P_2 в результате фонетического изменения совпала с позицией P_1, то это должно автоматически повлечь за собой замену в средствах воплощения фонемы: звук $[a_2]$ должен замениться звуком $[a_1]$. Если этого не происходит, если звук $[a_2]$ сохраняется в данной словоформе, переходя в новую для него позицию $P_1 < P_2$, то это значит, что еще до изменения позиции $P_2 > P_1$ звук $[a_2]$ стал представителем другой фонемы (стр. 66).

В связи с этим формулируется утверждение, что фонемы могут возникать в языке раньше, чем появляются их физические субстраты, что в фонологической системе могут существовать единицы, которые на данном этапе развития языка не получают реального воплощения в речи. Такие единицы не удается обнаружить известными нам приемами и методами синхронного анализа, и лишь последующие звуковые изменения своими результатами свидетельствуют о их предсуществовании, которое может быть установлено только ретроспективно-диахронически. Так, синхронный анализ позволяет установить для южнорусских говоров определенной эпохи коррелятивную пару /γ/ — /j/ и тем самым обнаруживает «твердость» /γ/ как дифференциальный признак этой фонемы. Для фонемы /к/ и /х/ синхронный анализ такого вывода сделать не позволяет и заставляет считать, что в наборе их дифференциальных признаков «твердость» отсутствует. Однако это заключение оказывается справедливым лишь в отношении /к/. То, что /х/ отличается от /к/ по этому признаку, показывают различия в изменениях, которые пережили воплощающие их звуки на следующем этапе развития: [к] подвергся прогрессивному ассимилятивному смягчению, а [х] нет. Следовательно, твердость [х] была фонологически существенной. Подтверждение этому автор видит в поведении [х'] в процессе развития яканья, которое не повлекло за собой мены [х'] (вместо [ф'] в заимствованной лексике) на [х] ([*х'е*]*дбс* > > [*х'а*]*дбс*, а не [*ха*]*дос*, [*х'е*]*дбт* > [*х'а*]*дбт*, а не [*ха*]*дот* и т. п.), что было бы неизбежным, если бы до развития яканья в фонологической системе этих говоров не существовала уже «мягкая» фонема /х'/[7].

К сожалению, автор, постулируя возможность языкового предбытия не реализуемых в речи фонем, не дает строгого определения того, что представляют собой эти фонологические единицы. Это, конечно, затрудняет обсуждение его идеи. Тем не менее можно было бы предположить, что Л. Л. Касаткин имеет в виду так называемые потенциальные или виртуальные фонемы, мысль о которых неоднократно высказывалась в последние годы. Она, однако, не получила широкого признания и не нашла применения в практике лингвистических исследований, поскольку при реляционно-физическом понимании фонемы как класса звуков понятие виртуальной фонемы по существу ничем не отличается от понятия пустой клетки и является излишним[8].

У Л. Л. Касаткина, хотя он и не говорит об этом прямо, понятия пустой клетки и не реализуемой в речи фонемы явно не совпадают. Так, имея в виду определен-

[7] Ср. подобное развитие в некоторых юго-западных русских говорах, где мы находим как раз [*ха*]*дбс*, [*ха*]*дбсья*, [*ка*]*ббск* «киоск», *ла́*[*га*]*рь* «лагерь» и т.п. Следует, впрочем, заметить, что в изложении этого вопроса автор отступает от им же установленного принципа и описывает поведение [х'] в условиях развивающегося яканья в терминах традиционной, отвергаемой им концепции (стр. 95—96, 114).

[8] Ср., например, полное совпадение этих понятий в работах: А. П. Евдошенко, Проблемы структуры языка, Кишинев, 1967, стр. 10 и др.; В. В. Иванов, Историческая фонология русского языка, М., 1968, стр. 337—338. Существует, впрочем, и иное понимание виртуальности как инвариантности, как общего свойства единиц «эмического» ряда.

ную группу древнерусских говоров эпохи до развития яканья и ассимилятивного смягчения задненебных согласных, можно, основываясь на материалах автора, восстановить следующий фрагмент их консонантной системы: /γ/ — /j/, /х/ — /х'/, /к/ — /j/, где представлены реализуемые (актуализируемые) фонемы /γ/, /j/, /х/, /к/, не реализуемая в речи фонема /х'/ и пустая клетка, которую впоследствии — много позже — займет фонема /к'/. И если пустая клетка, в понимании Л. Л. Касаткина,—это лишь скрытая возможность фонологической системы, лишь потенциальная точка пересечения системных признаков, то нереализуемая фонема — это реальность, столь же объективная, так же интуитивно осознаваемая носителями языка и так же индуктивно выводимая исследователем из наблюдаемых фонетических фактов, как и реализуемые фонемы.

Оба рассмотренных выше тезиса естественно вытекают из взглядов автора на соотношение фонетического и фонологического уровней в процессах языкового развития и изменения. Справедливо считая звуковую сторону языка единственной данностью, из которой могут быть выведены наши знания о фонологической системе, и строя свое исследование как цепь индуктивных обобщений, Л. Л. Касаткин отказывает, однако, фонетической субстанции в возможности автономного развития и обратного воздействия на фонологическую систему. Отношения между этими двумя уровнями понимаются как отношения односторонней зависимости, а не взаимообусловленности. Исходя из этого решается и центральная для рецензируемой книги проблема ассимилятивных изменений.

Действительно, если сущность ассимиляции определяется как перенесение фонологически существенного признака данного звука на соседний звук, парный признак которого является фонологически несущественным, то это значит, что фонологически заданы и предопределены и самая возможность, и направление, и результаты ассимиляции. Это значит также, что фонологически задан и определенным образом ограничен круг консонантных сочетаний, в которых могут иметь место ассимилятивные изменения. Очевидно, что, с этой точки зрения, ассимиляция возможна лишь в сочетаниях типа $[a^{\alpha+}\ b^{\beta\circ}]$ и $[a^{\alpha\circ}\ b^{\beta+}]$, члены которых ($a$, b) обладают парными признаками (α, β), различными по существенности — несущественности в фонологическом отношении (+, 0).

Это позволяет рассматривать ассимилятивные изменения как однозначное и необходимое отражение определенных особенностей фонологической системы и привлекать результаты ассимиляции для реконструкции фонологической системы языка или диалекта определенной эпохи [9]. При этом оказывается возможным полностью устранить неопределенность традиционного артикуляторно-физиологического объяснения ассимилятивных изменений и установить точные закономерности там, где до этого видели лишь случайность. Плодотворность такого подхода к ассимиляции трудно переоценить.

Вместе с тем следует отметить, что последовательное его проведение наталкивается на ряд трудностей и вызывает некоторые сомнения.

Сомнения вызывает прежде всего именно абсолютная точность и строгость устанавливаемых таким образом закономерностей, не допускающих вообще никаких случайностей и признающих для фонетики каждый раз лишь одну законную возможность развития, та абсолютная необходимость, с которой из фонетической данности следует каждый раз лишь один, единственно возможный фонологический вывод. Возникает опасение, что при таком подходе, исходя из наблюдаемого по говорам восточнославянских языков чрезвычайного многообразия результатов ассимиляции и основываясь на различиях в судьбе одних и тех же консонантных сочетаний, окажется необходимым в ряде случаев постулировать такие диалектные фонологические особенности и, соответственно, такие диалектные фонологические системы в целом, реальность которых, по-видимому, не может быть подтверждена ни для современного их состояния, ни для их исторического прошлого. Ср., например, фонологические выводы, которые, следуя указанному принципу, пришлось бы сделать из фактов ассимиляции в группах [дн > нн], [вн > мн], [жц > зц] и мн. др. под. в одних говорах и отсутствия ассимиляции в других, или из фактов различия в судьбе сочетания [шс'], которое в одних говорах сохранилось без изменения, тогда как в других изменилось либо с регрессивной, либо с прогрессивной ассимиляцией ([шш < шс' > с'с']). Выводы такого рода можно найти, как кажется, и в рецензируемой книге.

Приступая к анализу прогрессивного ассимилятивного смягчения задненебных, автор показывает, что распределение фонетических признаков мягкости и твердости в сочетаниях, где осуществлялось это изменение, ничем не отличалось от распределения тех же признаков в сочe-

[9] Используя эту возможность, автор доказывает, например, что в эпоху непосредственно после падения редуцированных в древнерусском языке еще существовали фонемы /дж/ и /дз/, утраченные впоследствии в большинстве русских говоров, но сохраняющиеся в украинском и в белорусском (стр. 91—92).

таниях, где происходило регрессивное отвердение мягких согласных. «Изменение типа [t't > t't'] и типа [t't > tt] происходило в одних и тех же говорах и в одну и ту же эпоху» (стр. 92). Различие между этими типами сочетаний было не фонетическим, а фонологическим. В сочетаниях мягких согласных с твердыми твердость задненебных звуков была фонологически несущественной, так как они воплощали фонемы, не обладавшие дифферентором «твердость». В то же время твердость незадненебных согласных звуков была фонологически существенной, поскольку они воплощали «твердые» фонемы, противопоставленные «мягким». Это совершенно бесспорно, и приводимые автором примеры типа *Ва[н'к]а* и *стра[н'н]ый* вполне подтверждают это заключение.

Однако различие между названными типами сочетаний автор усматривает не только в фонологическом различии вторых их членов, но также и в фонологическом различии их первых — мягких — членов. Утверждается именно, что мягкость согласных, оказавшихся после падения редуцированных перед твердыми задненебными, была фонологически существенной, тогда как мягкость согласных, оказавшихся перед твердыми незадненебными, была признаком фонологически несущественным. Объяснение этому различию (а оно устанавливается на основании различия в направлении ассимилятивных изменений, пережитых этими сочетаниями) Л. Л. Касаткин ищет в тех отношениях, которые сложились в древнерусском языке еще до падения редуцированных, когда твердость и мягкость согласных, стоявших перед согласными, были фонологически несущественными.

Едва ли это справедливо. Фонологические отношения, сложившиеся до падения редуцированных, в результате этого процесса во многих случаях изменились, и притом изменились так, что мягкость согласных, оказавшихся перед твердыми (в том числе и перед твердыми задненебными), освободилась от позиционной обусловленности и превратилась в самостоятельный, необусловленный признак. Тип сочетаний, однородных по твердости — мягкости (имея в виду и те, что сохранились от предшествующей эпохи, и те, что возникли вновь), мог, вероятно, как модель оказывать воздействие на противоречившие ей неоднородные сочетания, подталкивая ассимилятивные процессы, но он не мог, по-видимому, определять и изменять фонологические отношения в неоднородных сочетаниях [10]. Таким образом, следовало бы, вероятно, признать, что среди сочетаний мягких согласных с твердыми, наряду с сочетаниями типа $[a^{\alpha+}b^{\beta\circ}]$ и сочетаниями типа $[a^{\alpha\circ}b^{\beta+}]$, которые и рассматриваются в работе Л. Л. Касаткина (ведь только в таких сочетаниях могла, с точки зрения автора, иметь место ассимиляция, прогрессивная в первых и регрессивная во вторых), существовали также и сочетания типа $[a^{\alpha-}b^{\beta+}]$, где фонологически существенными являются парные признаки обоих членов.

Дальнейшее развитие в сочетаниях такого типа могло, вероятно, осуществляться тремя теоретически возможными путями: 1) с сохранением сложившейся фонетической неоднородности признаков; 2) с устранением неоднородности в процессе регрессивной ассимиляции; 3) с устранением неоднородности в процессе прогрессивной ассимиляции.

Реальный языковой материал как будто бы подтверждает все эти три гипотетических возможности, обнаруживая различную по диалектам их группировку для разных сочетаний. Ср., например, обычное для русских говоров сохранение фонетической неоднородности в сочетаниях мягких переднеязычных с твердыми губными (*сва[д'б]а*, *ре[з'б]а*, *тю[р'м]а*, *пи[с'м]о* и т. п.) при диалектном устранении неоднородности с регрессивной ассимиляцией (*сва[дб]а*, *пи[см]о*, *тю[рм]а*) [11]; устранение неоднородности с регрессивной ассимиляцией в случаях типа *ве[рб]а*, *ца[рств]о* и т. п. при диалектном сохранении неоднородных сочетаний (ср.: *ве[р'б]а*, *ца[р'с'в]о*) или, наконец, все три рефлекса, как это обнаруживается в судьбе сочетания [л'н]: при литературном *бо[л'н]о* диалектные *бо[лн]о* (с регрессивной ассимиляцией) и *бо[л'н']о* (с прогрессивной ассимиляцией). При этом, как можно предполагать, выбор того или иного пути, поскольку он не зависел уже от фонологических отношений, мог подчиняться действию иных, собственно фонетических, морфологических или каких-либо других нефонологических факторов.

Подобные же отношения могли, очевидно, складываться и в сочетаниях согласных, различавшихся не твердостью — мягкостью, а другими признаками, например, по глухости — звонкости, где развитие в большинстве говоров русского

[10] Ср. попытку П. И. Сегеды вообще свести все ассимилятивные изменения к выравниванию по существующим моделям, объявив самое понятие «ассимиляция» научно несостоятельным (см.: «Фонологический сборник», Донецк, 1968, стр. 38—40).

[11] Ср. также описанную недавно С. С. Высотским как диалектное явление, имеющее довольно широкое распространение, тенденцию к прогрессивной ассимиляции в сочетаниях этого типа (см. : «Очерки по фонетике севернорусских говоров», М., 1967, стр. 53—54).

языка пошло по пути регрессивной ассимиляции, хотя сохранение звонких перед глухими в говорах украинского и белорусского языков, а также единичные факты типа укр. *бджола* (< *бъчела*) или новгородск. (отраженное и в письменности) *сторово* «здорово» (< *съдорово*) показывают, что здесь были и иные возможности.

В сочетаниях мягких согласных с твердыми могли быть отношения еще и четвертого типа — когда парные признаки обоих членов являются фонологически несущественными. Такие сочетания (их можно было бы обозначить формулой $[a^{\alpha\circ}b^{\beta\circ}]$) и имеет в виду Л.Л. Касаткин, когда объясняет сохранение твердости задненебных после согласных с фонологически несущественной мягкостью в говорах, знающих ассимилятивное смягчение задненебных после парных мягких согласных (стр. 97, 99, 105 и др.).

Логически рассуждая, правомерно было бы предполагать, что развитие таких сочетаний может осуществляться так же, как и развитие сочетаний типа $[a^{\alpha+}b^{\beta+}]$: либо с сохранением фонетической неоднородности признаков, либо с установлением фонетического единства путем прогрессивной или регрессивной ассимиляции. Казалось бы, что именно в этих случаях — в условиях не только равенства перед фонологией парных признаков членов этих сочетаний, но и равного безразличия фонологии к этим признакам,— фонетическая или другая нефонологическая причинность могла бы проявиться с наибольшей определенностью.

Однако, как было показано, для Л. Л. Касаткина фонетической причинности вообще не существует. Ни в сочетаниях типа $[a^{\alpha+}b^{\beta+}]$, ни в сочетаниях типа $[a^{\alpha\circ}b^{\beta\circ}]$ ассимиляция, с точки зрения автора, осуществляться не может.

Она запрещена фонетически, поскольку «на фонетическом уровне любой признак звука по отношению к парному признаку не может считаться более сильным» (стр. 87), и, следовательно, не может и подчинять его себе. Но она запрещена и фонологически, так как в этих сочетаниях признаки их членов фонологически равны и ни один из них не может быть признан функционально более важным, а в сочетаниях типа $[a^{\alpha\circ}b^{\beta\circ}]$ еще и потому, что оба признака несущественны в фонологическом отношении. Между тем, как устанавливает Л. Л. Касаткин, «фонологическая существенность признака ассимилирующего звука — необходимое условие всякой ассимиляции, осуществляющейся по признакам, релевантным для системы звуков языка» (стр. 93).

Таким образом, ассимиляция либо фонологически предписывается, либо фонологически же запрещается, и в обоих случаях ни фонетические особенности звуков, ни какие-либо иные факторы никакой роли играть не могут. Но существует ли вообще фонологическая необходимость (предписанность) ассимиляции, как склонен думать автор? Не является ли ассимиляция и с фонологической точки зрения только возможностью, реализуемой в определенных фонологических условиях, но не как обязательный, а лишь как вероятностный процесс? Ведь признание необходимости прогрессивного направления ассимиляции в одних сочетаниях и регрессивного направления в других отнюдь не требует признания необходимости самой ассимиляции в сочетаниях такого типа и уж тем более не требует признания невозможности ассимиляции в сочетаниях, которые характеризуются фонологическим равенством признаков их членов.

Принцип однозначной фонологической причинности, из которого исходит автор, подкупает тем, что сулит надежду на полное и исчерпывающее объяснение языковых фактов. Но суждено ли сбыться такой надежде? Исходя из современного представления о языковой системе как об открытой динамической системе, построенной на нежестких связях, трудно ожидать положительного ответа на этот вопрос. Однозначная фонологическая причинность едва ли достаточна для объяснения истории даже самой фонологической системы [12]. Тем меньше оснований думать, что она может быть достаточной для полного и исчерпывающего объяснения всех изменений воплощающей ее звуковой субстанции. Последняя должна обладать широким запасом неопределенностей, подчиняющихся вероятностным законам.

В этой связи можно было бы наметить следующую типологическую классификацию консонантных сочетаний, рассматриваемых как поле ассимилятивных изменений, возможных в данном состоянии языка:

1. Сочетания типа $[a^{\alpha+}b^{\beta\circ}]$, где фонологически определена возможность прогрессивной ассимиляции.

2. Сочетания типа $[a^{\alpha\circ}b^{\beta+}]$, где фонологически определена возможность регрессивной ассимиляции.

3. Сочетания типа $[a^{\alpha+}b^{\beta+}]$ и $[a^{\alpha\circ}b^{\beta\circ}]$, где фонологически определена возможность, но не направление ассимиляции.

Дело будущих исследований определить, какой из подходов к ассимиляции может продвинуть нас к еще более глубокому пониманию действительных отношений, существующих в языке. Однако было бы принципиальной ошибкой,

[12] Ср.: А. Мартине, Принцип экономии в фонетических изменениях, М., 1960, стр. 248.

основываясь на том, что предложенное автором определение сущности и закономерностей ассимилятивных изменений вызывает те или иные критические замечания или сомнения и не может пока считаться вполне готовым и законченным инструментом лингвистического исследования, подвергать сомнению значение полученных при его помощи результатов. «Отсутствие материала, готового в чистом виде для закона, не должно останавливать исследователя, иначе закон никогда не будет открыт» [13].

Монография Л. Л. Касаткина — это начало, требующее продолжения. Это приглашение к новым исследованиям. И в этом также сильная и привлекательная сторона книги, которая не только дает готовые результаты, но и раскрывает перспективы дальнейшей работы.

[13] Ф. Энгельс, Диалектика природы, М., 1964, стр. 207.

А. Б. Пеньковский

К. В. Горшкова. **Очерки исторической диалектологии Северной Руси.** — М. Изд-во МГУ, 1968. 192 стр.

Исследование К. В. Горшковой ставит своей задачей «описание фонологической системы древнерусского языка в ее функционировании и развитии на протяжении XI—XV вв. на северной территории распространения древнерусского языка (Псковская, Новгородская и Ростово-Суздальская земля). Исследование включает вопрос о становлении фонологической системы русского (великорусского) языка на данной территории» (стр. 3). Таким образом, перед нами не просто одно из возможных описаний фонологической системы и ее изменений, но и попытка установить диалектные расхождения на материале наиболее изученного уровня средневекового русского языка.

Теоретическая часть, а также методика рецензируемого исследования не являются оригинальными; на это неоднократно указывается в самой книге. Практическая потребность заполнить в конкретном исследовании естественные для каждого теоретического построения лакуны вызвало частые обращения к рекомендациям представителей других теоретических направлений. Несмотря на осторожность автора в этом смысле, на некоторых страницах возникают неясности, например, в определении признаков фонемы: дифференциальные = релевантные, избыточные = нерелевантные и под. Ср. с этим введенные в начале исследования и практически не использованные понятия конститутивных и особенно переменных признаков фонемы.

Наоборот, важно представление автора, что в историческом исследовании следует исходить не из одних дифференциальных признаков (ДП), а из фонемы, в которой наряду с дифференциальными важны и конститутивные признаки (КП стр. 37—38). Фонемное изменение заключается не только в изменении ДП (что указывает на связь конкретной фонемы с другими фонемами системы), но и в преобразованиях КП фонемы. Последнее изменение удачно иллюстрируется в исследовательской части книги, в частности, на примере развития фонемы /ě/ в ростово-суздальских и новгородских говорах.

В таких условиях, естественно, повышается значение объективных принципов выделения ДП фонемы на разных синхронных срезах. К. В. Горшкова «определяет ДП как признак, характеризующий фонему в бинарной оппозиции при тождестве других признаков противопоставляемых единиц» (стр. 38). Единственную возможность выявления ДП она видит в противопоставлении квазиомонимов (стр. 44) и довольно скептически отзывается о выявлении ДП на основе результатов нейтрализации (см. стр. 37, 45, 46 и др.— хотя практически часто этим пользуется, ср. стр. 80, 82 и др.), ничего не говоря о других возможностях. В исследовательской части неоднократно говорится о появлении «сильных позиций», в которых осуществляется противопоставление по известному ДП; соответствующие им «слабые позиции», очевидно, так или иначе связаны с нейтрализацией фонемного противопоставления и всегда описываются в книге. Можно указать и на другие несоответствия теоретической и описательной частей рецензируемого исследования.

Так, недостаточно четко показано в конкретном исследовании взаимоотношение дифференциальных и избыточных конститутивных признаков фонемы. В качестве примера остановимся на авторской интерпретации фонемы /ě/. ДП этой фонемы — степень подъема (средневерхняя), хотя до утраты редуцированных противопоставление по подъему у этой фонемы осуществлялось противопоставлением «напряженность — ненапряженность», причем напряженность фонемы /ě/ «поддерживалась» ее долготой (см. стр. 132 и др.). Если вникнуть в

это взаимное вкладывание фонемных признаков типа «матрешки», оказается, что ядром противопоставления (например, к/е/) является именно оппозиция по количеству, что ниже и используется в интерпретации позднейших новгородских изменений этой фонемы. Действительно, средневерхней фонема /ě/ становится в связи с фонологизацией /ô/ (что к описываемому времени еще не произошло), а напряженность обычно сопровождает оппозицию по подъему. Естественно, что смешение дифференциальных и избыточных признаков в исходной системе приводит к выводу: «Фонетическое изменение [ê:] в [i͡ê] в новгородских говорах XV в. не имело фонологического содержания: дифтонг [i͡ê] имел те же ДП, что и [ê] — средневерхний подъем» (стр. 131—132). Таким образом оказывается, что в нарушение общих принципов исторической фонологии (с которыми автор солидаризуется в теоретической части работы) новгородские памятники с написанием *и* или *е* на месте *ѣ* передают фонетическое изменение (аллофонное варьирование, которое в рукописных источниках обычно не отражается), а северновеликорусские говоры, несмотря на важнейшие изменения парадигматической системы (появление /ô/ и под.) и преобразования синтагматической системы после вторичного смягчения полумягких, на протяжении семи веков сохраняли одну и ту же фонему /ě/. Одно из важных фонемных изменений — перефонологизация (изменение КП в связи с изменением ДП при сохранении фонемного статуса составленной ими единицы) на данном конкретном примере остается не раскрытой.

Наиболее удачной является третья глава, посвященная формированию консонантной фонологической системы русского языка после падения редуцированных. Она содержит новый материал, дает оригинальные толкования известным фонемным изменениям и указывает на новые преобразования, связанные со средневековым диалектным членением русского языка. Именно здесь системный подход к фактам дает возможность принципиально нового решения вопроса, приводит к интересным выводам, важным теоретически.

Прежде всего, намечаются общие тенденции в развитии фонологических систем древнерусского языка; устанавливается исходное функциональное взаимодействие консонантной и вокалической систем («силлабема») и этапы постепенного разложения силлабем, изменения языка вокалического строя в язык консонантного строя. Отсюда — наиболее пристальное внимание к изменениям консонантной системы.

С другой стороны, книга К. В. Горшковой — первый опыт русской исторической диалектологии на фонологическом материале. Системный подход позволяет представить специфически диалектные фонемные системы, главным образом, в языке XIV—XV вв. (более раннее диалектное членение дается в традиционном плане). Особенно это касается системы ростово-суздальских говоров. В традиционном изложении (начиная с А. И. Соболевского) средневековые ростово-суздальские говоры отличались небольшой, всегда предположительной суммой чисто негативных особенностей: в этих говорах, очевидно, не было цоканья, «шепелявого» произношения свистящих, изменения /ě/ в /и/, отсутствовала фонема /ô/ и т. п. Только фонологическое исследование дает, наконец, возможность четко представить основные особенности ростово-суздальских говоров в их развитии и в их системном отличии от соседних средневековых говоров. При таком подходе важными оказываются не только отклонения от других диалектных систем, но и то общее, что присуще было всем древнерусским диалектам, хотя в каждой конкретной системе имело свою специфическую ценность, выясняемую из совокупности элементов конкретной системы. Ср., например, справедливое замечание автора об уменьшении различительной способности безударных гласных независимо от того, какой гласный обобщался в первом предударном слоге: *н'осу́*, *р'ока́*, *п'отáк* или *н'есу́*, *р'ека́*, *п'етáк* (стр. 12, 14). К числу существенных открытий, сделанных в исследовании, следует отнести вывод о том, что в древненовгородских говорах не развивалось как последовательное фонологическое противопоставление согласных по мягкости—твердости; это увеличивает ценность конкретных наблюдений и замечаний, касающихся ростово-суздальских говоров, в которых такое противопоставление развилось последовательно, обусловив подробно и удачно рассмотренные в книге изменения вокализма.

По-видимому, разложение силлабемы в северо-западных и северо-восточных русских говорах привело к закреплению за гласным или согласным различных ДП, прежде связанных со слогом в целом. Лабиальность (= лабиовелярность), велярность, палатальность согласного, с одной стороны, и лабиализованность — нелабиализованность и зона образования гласного, с другой стороны, распределились таким образом, что в ростово-суздальских говорах признак лабиализации остался за гласным (отсюда дефонологизация признака ряда у гласных), тогда как в новгородских говорах зона образования гласных оказалась важнее. Это явилось результатом изменения ДП у согласных: на северо-востоке возникла корреляция согласных по мягкости — твердости (= палатальные и палатализованные в противопо-

ставлении и велярным, и лабиовелярным); на северо-западе возникло не отработанное окончательно противопоставление согласных велярных (палатализованные являются их вариантами) лабиовелярным (отсюда, между прочим, последовательное выделение заднеязычных и губных в сильной позиции — их «отвердение» в конце слова и под.). В книге хорошо показаны предпосылки такого расхождения и особенность новгородских консонантных систем: например, губные и заднеязычные здесь не вступали в оппозицию по мягкости — твердости. К. В. Горшкова справедливо говорит о сохранении в новгородских говорах своеобразных «силлабем» и после утраты редуцированных гласных, которое происходило здесь много позже, чем на северо-востоке (стр. 133, 166, 169 и др.).

Изменение вокализма связывается с этой основной чертой диалектного варьирования; очень удачны фонологические объяснения, приведенные по поводу изменений фонемы /ě/ или по поводу северо-восточного совпадения /e ~ o/ в период между утратой редуцированных и дефонологизацией /ě/ (стр. 92 и сл.).

Наконец, системный подход к объяснению фактов помогает в решении спорных вопросов церковнославянского влияния на развитие русского языка. Только отчетливо представляя себе диалектную систему, можно поставить и решить вопрос о причинах и степени воздействия на нее искусственной традиции церковнославянского произношения. К сожалению, данное преимущество системного изучения фактов автор использовал чисто механически (например, при описании изменений /ě/) и вообще недостаточно подробно, видимо, рассчитывая вернуться к этому вопросу впоследствии.

Подход к языку как к системе оказывается важным еще в двух отношениях: он позволяет произвести достаточно надежную реконструкцию системы в тех ее звеньях, которые не отражены в письменных памятниках или в современных диалектных системах, и объяснить ряд изменений системы давлением самой системы. Если первая возможность в рецензируемом исследовании используется, нельзя сказать, чтобы причины описываемых изменений во всех случаях объяснялись здесь преобразованием системы. Чаще всего в книге говорится о субстратном воздействии на диалектное изменение; ср. предположение об утрате ДП «дентальность — альвеолярность» у согласных под влиянием финского субстрата, хотя вместе с тем «смешение» аффрикат признается древнейшей особенностью новгородских говоров (стр. 75) и т. д.

Трудно согласиться с К. В. Горшковой в том, что во всех случаях «введение синхронии не мешает понять развитие языка, а помогает разрешению этой важнейшей проблемы» (стр. 47). Исследование строится по синхронным срезам; а поскольку «выбор времени для синхронного среза определяется целью и характером исследования» (стр. 47), автора интересуют только два среза — система перед утратой редуцированных и система после утраты редуцированных. Имея это в виду, не следует преувеличивать значение некоторых сделанных в книге выводов, и вот почему. С утратой редуцированных автор связывает преобразование конкретных систем русского языка и возникновение диалектного варьирования. У В. В. Иванова с его более «частными» и «частыми» и в конечном счете более точными синхронными срезами преобразование консонантной системы связывается не с утратой редуцированных, а со вторичным смягчением полумягких — следовательно, и диалектное варьирование возводится к этому периоду [1]. Именно поэтому в книге В. В. Иванова так мало говорится о падении редуцированных и связанных с ним изменениях.

В обоих случаях точку зрения автора определяет выбор синхронного среза и все имплицитно в этом выборе содержащиеся выводы.

По-видимому, сказанным не ограничиваются недостатки исследования «по синхронным срезам». Интерес к произвольно выбранной синхронной системе оставляет в стороне вопрос о времени изменения в границах конкретной диалектной системы, не учитывает исторической последовательности тех преобразований, которые в более поздней системе отложились уже в виде конечного результата. Наивные «срезы» В. К. Метьюза (по векам) по крайней мере не задают возможных ответов, заранее ограничивая пределы исследования [2]. Ср., например, стр. 84—85, где излагаются результаты отвердения /ц'ж'ш'/, изменение групп [кы гы хы] и утрата взрыва в сочетаниях /ж'д'ж' ш'т'ш'/ — все эти изменения описываются как завершенные применительно к срезу XV в., хотя их взаимную последовательность довольно легко определить (ср. классические описания Л. Л. Васильева). На материале конкретной рукописи можно установить относительную хронологию хотя бы указанных здесь изменений, на основе синхронного среза — нет; между тем подобная хронология важна, поскольку дополнительно к системным соображениям позволяет уточнить причинно-следственные связи в историческом изменении и разграничить орфографически сходные явления разных синхронных срезов (например, написания типа *мѣжъ*, *поустошъ*

[1] В. В. Иванов, Историческая фонология русского языка, М., 1968.
[2] W. K. Matthews, Russian historical grammar, London, 1960.

в рукописях XI—XII и XV вв., о чем сама К. В. Горшкова убедительно говорит в одной из своих работ [3]). Рассматривая важное для новгородских говоров отвердение конечных губных (стр. 80), автор обходит молчанием спорный вопрос о хронологической и причинной связи этого процесса со вторичным смягчением полумягких, межслоговой ассимиляцией гласных и утратой редуцированных — и действительно, это оказывается совершенно ненужным при описании конечного результата. Таким способом К. В. Горшкова избегает ответов на вопросы «почему» и «когда»— к сожалению для читателя.

Исследование по синхронным срезам предполагает исчерпывающую и возможно точную реконструкцию этих срезов, прежде всего реконструкцию исходной системы, относительно которой судят о всех последующих преобразованиях. Описывая исходную систему, автор прибегает к упрощениям, в основном ориентируясь на особенности последующих срезов и игнорируя ряд своеобразных особенностей самой исходной системы, например, в части просодических единиц: они не принимаются во внимание для системы XI—XII вв., потому что после падения редуцированных вокализм русского литературного языка не был связан с просодическими различиями (стр. 62); в изложении набор ДП в консонантной системе XI—XII вв. (стр. 63) совпадает с современной системой и проч. Приходится еще раз возразить против характеристики гласных в системе XI—XII вв.: редуцированные не были в это время гласными среднего подъема, так же, как и [ě]; [ъ, ь] характеризовались средневерхним образованием (ср. стр. 67 исследования); любопытно упоминание об /ў/ без указания на его связь с [ǫ] (стр. 54, 67, 70), а также устаревшее толкование праславянского изменения [je- > o-] (*кзеро* > *озеро*, см. стр. 55), что, в частности, приводит к колебаниям в фонематической интерпретации йота. Заключения от более поздних фактов при установлении предшествующих систем характерны и для второго синхронного среза и распространяются также на фонематическую характеристику отдельных слов. Так, об ударении отдельных слов при изложении материала XV—XVI вв. автор судит на основании современного нам литературного произношения, ср. предполагаемое ударение слов *бзы*, *большой*, *Шексна́* и под. (стр. 94 и сл.) вместо действительного для этого периода *бзы́*, *бо́льшой*, *Шёксна*...

Все это обедняет исходную систему и в конечном счете не указывает на суть изменений между двумя синхронными срезами, по крайней мере относительно того, что исчезло. Даже такое определяющее в представлении автора изменение, как утрата редуцированных, изложено кратко и очень тривиально. Непонятны ссылки на описания исходных фонематических систем других славянских языков (например, пралехитского на стр. 55—56, прасербского на стр. 62 и др.) — по-видимому, такие сопоставления определяются убеждением автора в исходной общности всех славянских фонематических систем.

Только этим можно объяснить априоризм в некоторых допущениях, положенных в основу описания. В частности, относительно редуцированных в исходной системе сказано следующее: «Из всех различий по длительности принимаем во внимание лишь различие, связанное с редуцированностью или нередуцированностью гласных» (стр. 62). По-видимому, над исследователями долго еще будет тяготеть обаяние термина: редуцированный — значит сверхкраткий, тем более, что позже он «исчезает». Следовало бы более определенно обсудить другие возможности количественного противопоставления в исходной системе, в частности, связанные с наличием долгих гласных. Это тем более необходимо, что для северо-западного среза XIV—XV вв. очень удачно описывается дифтонгизация фонемы /ě/ в результате утраты ее долготы (стр. 132).

Причину подобных недостатков исследования можно видеть прежде всего в неполноте диалектных исторических данных, использованных в исследовании.

Здесь приведено множество примеров, извлеченных из средневековых источников, что можно было бы считать достоинством книги, если бы исследование велось на основании рукописных памятников (к этому призывает и автор на стр. 5). К сожалению, К. В. Горшкова использует только хорошо известные специалистам описания и дополнительно привлекает издания грамот, подготовленные не лингвистами. Это снижает ценность материала, а также основанных на нем очень интересных теоретических соображений относительно графики и орфографии средневековых источников (они высказываются в начале книги, ср., например, замечание о том, какие фонетические явления могут отражаться в орфографической системе, а какие — нет, стр. 25—27; по-видимому, речь идет об отражении фонематических преобразований). Приходится возразить К. В. Горшковой, утверждающей, что интерпретация орфографической системы памятника всегда зависит от представления исследователя «о состоянии системы изучаемого диалекта в разные исторические эпохи и о возможных путях ее развития» (стр. 25). Это противоречит и собствен-

[3] К. В. Горшкова, О понятиях исторической фонологии (на материале русского языка), сб. «Проблемы современной лингвистики», М., 1968.

ным утверждениям автора, что писцы отражают фонемные изменения (стр. 42— без уточнения: синтагматические или парадигматические; отсюда возможные непоследовательности в толковании фактов: на стр. 57 утверждается, что новый, т. е. «неорганический» редуцированный, последовательно отраженный в старших русских памятниках, являлся фонетическим призвуком и был «нефонематичен» и т. д.).

Вряд ли справедливо, что традиционные методы изучения рукописных источников «складывались стихийно, без достаточного теоретического осознания», и их нужно улучшать, в частности, с точки зрения общей идеи системности языка (стр. 18) — пожелание по меньшей мере странное относительно таких исследователей, как Л. Л. Васильев или Н. Н. Дурново. Собственная исследовательская практика К. В. Горшковой находится в традиционном русле, хотя подчас и сбивается на смешение графики и орфографии. Общее недоверие к историческому источнику диктуется ориентацией автора на синхронную систему, которую, как ясно из книги, можно достаточно точно реконструировать лишь на основе современных диалектных данных. По-видимому, желание отстраниться от изучения орфографических систем связано с трудностью их расшифровки, поскольку орфографическая система всегда параллельна системе языка, не совпадая с последней. Между тем сопоставление орфографических систем может привести к интересным выводам, важным, например, для исторической фонетики. До сих пор у нас нет описания так называемых особенностей «второго южнославянского влияния» в их историческом становлении — сопоставление тех орфографических черт, которые вынесены русскими писцами из южнославянских оригиналов, и тех, которые остались для них чуждыми, позволило бы с иной стороны осветить развитие русской фонологической системы XIV—XV вв., особенно учитывая, что некоторые особенности «второго южнославянского влияния», заимствованные на первых порах, в конечном счете не стали характерными для русских рукописей (в первую очередь это касается знаков ударения). Совсем не одно и то же — только употребление буквы *оу* под ударением — *ѹ* без ударения и замена буквы *ѣ* буквою *е* без ударения при различении *ѣ* и *е* в безударной позиции (такова орфографическая система некоторых старопечатных книг московского производства XVII в.)— и последовательное разграничение всех гласных в зависимости от ударения: безударным *ѕ*, *и*, *о*, *е*, *а* соответствуют под ударением *оу*, *і*, *ѡ*, *ѣ*, *аа*(*а*) (в одной северной рукописи XVI в.). К. В. Горшкова, постоянно подчеркивая важность языковой системы, практически оставляет в стороне исследование системы орфографической; для нее априори ясно, что последняя всегда искусственна, ср. рассуждения о написании *ѣ* — *е* в южнорусских источниках на стр. 22—23 и далее. Разумеется, проще отвести орфографические факты как недоказательные, чем хотя бы предварительно их объяснить. «Смешения букв *ъ*, *ь* с *о*, *е* в новгородских грамотах XIV в ...принадлежат только графике и не связаны с живыми явлениями языка XIV—XV вв.» (стр. 77). Это все, что сказано о важнейшей особенности древненовгородских говоров, особенно четко представленной в берестяных грамотах (кстати, обойденных вниманием автора рецензируемой книги) и притом только XII — начала XIV в.: в конце слова *ъ*, *ь* > *о*, *е*, в середине слова *ъ*, *ь* > *о*, *е* после сонорных и *о*, *е* > *ъ*, *ь* после шумных согласных.

Можно привести и другие примеры, когда простота описания оборачивается упрощением. Особенно это касается памятников северо-западного происхождения. В книге правильно говорится об отсутствии противопоставления по мягкости — твердости у губных согласных (стр. 167), но вообще ни слова не сказано об особенностях заднеязычных согласных в древненовгородских говорах, в частности, о последовательно отраженном (в берестяных грамотах) отсутствии свистящих по результатам палатализаций (написания типа *Дъмкѣ* или *вхемо*). Но ведь именно своеобразие заднеязычных в исходной северо-западной консонантной системе вызвало серию последующих фонемных преобразований (или, наоборот, отсутствие их), из которых некоторые в книге рассмотрены (например, развитие оппозиции /х/ — /γ/ и отсутствие оппозиции /х/ — /ф/ при сохранении лабиовелярности согласных; здесь же ассимиляции типа *тл*, *дл* > >*кл*, *гл* или *ждж* > *жг* и под.). И именно памятники письменности отразили все эти интересные изменения; можно привести ряд примеров, когда собиратели стали обращать внимание на те или иные особенности современных говоров только после установления их в рукописных источниках. Не имеет поэтому смысла заключать об отсутствии того или иного явления в прошлом на основе изучения современных говоров.

Следует подчеркнуть, что история ростово-суздальских говоров привлекает большее внимание автора, чем история новгородских или псковских говоров — последние воссоздаются как единые по своим основным особенностям системы, противопоставленные ростово-суздальской системе. Это приводит к нечеткому выявлению тех особенностей, которыми различались сами новгородские или псковские говоры. С другой стороны, довольно часто общерусские изменения

(описанные в разделах, посвященных ростово-суздальским говорам и не упомянутые в других частях книги) воспринимаются как диалектные северо-восточные. Последнее прежде всего относится к отвердению конечных губных (стр. 80). Что же касается первого, именно недостаточной разработанности диалектного варьирования внутри новгородского или псковского диалекта, то здесь, по-видимому, проявляется принципиальная позиция автора, стремившегося (на основе известных материалов) наметить определяющие изоглоссы средневекового русского языка, не вдаваясь в детальную характеристику конкретных говоров. Вряд ли следует упрекать автора за такую постановку вопроса, однако и здесь приходится пожалеть, что даже описанный к настоящему времени материал использован не полностью, а выборочно, видимо, в соответствии с «представлениями» автора о системе. К числу досадных пропусков подобного рода следует отнести отмеченные в исследованных К. В. Горшковой же источниках (сама она их не приводит) написания типа *кь Ивану* [4]: К. В. Горшкова детально описывает написания типа *к Ывану* (стр. 92 и др.), которые иллюстрируют изменение [*и* ~ ~*ы*], но избегает толковать примеры, противоречащие произведенной реконструкции.

К сожалению, довольно часто изложение материала и фонологическая интерпретация соответствующего изменения в книге идут как бы параллельно. Особенно это относится к наиболее удачным в целом частям исследования, посвященным фонеме /ĕ/ или позиционному смягчению согласных. К. В. Горшкова последовательно идет не от фактов, а от представления о системе. Так, примеры, извлеченные ею из памятников, указывают на изменение *ѣ* > *е* перед твердым и перед мягким согласным, а также на конце слова; тем не менее автор считает нужным подчеркнуть, что в ростово-суздальском говоре XV в. возникала нейтрализация фонологического противопоставления /ĕ/ и /e/ только в положении перед мягкими согласными (стр. 117) — потому что «общее представление системы» перед твердым согласным предполагает оппозицию *ѣm*: *от* (из *ет*). Вывод осложняется брошенным вскользь замечанием о первоначальной зависимости изменения *ѣ* > *е* от ударения (стр. 118). Характер приведенных в книге примеров показывает, что в ростово-суздальском говоре к концу XVI в. завершилась дефонологизация /ĕ/ (ср. замечание автора на стр. 118), а все рассуждения относительно нейтрализации указанных гласных перед мягким согласным относятся к предшествующему синхронному срезу (отражена в памятниках XIV в.).

Ассимиляция согласных по мягкости—твердости после утраты редуцированных определяется в основном «из представления о том, что в системе XIV—XV вв. действовал закон обязательного смягчения губных перед мягкими зубными...» (и т. д., указываются все позиции позиционного смягчения согласных соответственно старомосковской норме произношения, см. стр. 148). В качестве иллюстрации приводятся некоторые примеры типа *дьякъ*, *дьвѣ*, *сь ее* (стр. 83—84). По-видимому, вообще написания ь вместо ъ не являются полностью доказательными при определении мягкости предшествующего согласного (не говоря уже о традиционных написаниях типа *дьякъ*, *кустовье* и под.), если одновременно нет обратного написания с ъ вместо ь в положении перед твердым согласным. Более доказательно появление ь или ъ на месте графического нуля — но подобных примеров приводится очень мало (*бьлизь*, *земьли* и нек. др.) Насколько можно понять из написаний в русских памятниках, знаки ь и ъ на месте вокалического нуля в некоторых орфографических русских системах употреблялись не в связи с характером следующего слога (мягкость или твердость последующего согласного), а в зависимости от характера предшествующего согласного; например, пишется постоянно ъ после заднеязычных, *з*, *с*, постоянно ь после остальных согласных шумных, тогда как после сонорных и *в* возможно колебание между ь и ъ (в зависимости от твердости или мягкости последующего согласного). Поскольку подобная орфографическая система характерна для северных русских рукописей (уже в пергаменных книгах XV в.), можно было бы в добавление к выводам К. В. Горшковой говорить о своеобразии синтагматических консонантных изменений в говорах новгородского типа (о последних сказано только, что «ассимилятивная мягкость согласных в этой системе была представлена реже», см. стр. 186).

Можно указать также на ряд чисто внешних противоречий, вкравшихся в изложение материала. В одном месте (стр. 55, также 68, 69, 160) верно говорится о своеобразном положении йота в консонантной системе, а также о сочетаниях /ж'д'ж ш'т'ш'/, однако из изложения на стр. 163 можно понять, что и указанные три фонемы самостоятельно входили в исходную консонантную систему (иначе в таблице на стр. 159). [ô] автор также не включает в систему фонем XI в. (стр. 62), но ниже говорится о том, что «в частной системе гласных среднего или верхнесреднего подъема не могло осуществляться и противопоставление по лабиализации — нелабиализации, так как в это время нелабиализован-

[4] Ср.: Н. Д. Русинов, К истории *и* > *ы* в древнерусском языке, «Dissertationes Slavicae», III, Szeged, 1965.

ность или лабиализованность гласных среднего и верхнесреднего подъема была неразрывно связана с их передним или непередним образованием» (стр. 67); таким образом, имплицитно предполагается наличие фонемы /ô/, потому что она является единственной фонемой, противопоставленной фонеме /ě/ по ряду и лабиализованности — нелабиализованности (= оппозиции /е/ — /о/). На стр. 97 сказано, что мягкость согласных [ц'ж'ш'] «не нуждалась в дополнительном орфографическом обозначении с помощью буквы следующего гласного» (также стр. 115 и др.), как в написаниях типа *люди*, *пять* и др., «поэтому лабиализация [е] орфографически отразилась прежде всего в написании буквы *о* после непарных мягких согласных», но выше (стр. 84) сказано, что к описываемому времени *ц*, *ж*, *ш* отвердели, поэтому их твердость уже равна твердости парных по мягкости — твердости согласных, например, [н] в [нос]. Мягкими указанные согласные были в исходной системе, но применительно к XI в. К. В. Горшкова написания типа *жо* вместо *же* как раз не признает фонетическими. Подобные неувязки в изложении иногда затрудняют понимание авторской позиции.

Некоторые интерпретации, предложенные К. В. Горшковой, представляются менее удачными, чем уже известные; ср., например, толкование северо-западного второго полногласия, возводящее это важное диалектное изменение к общерусским процессам и лишающее его тем самым диалектного своеобразия (стр. 145—147); в объяснениях по поводу сочетаний типа *tьrt* вообще много неясного; непонятно, каким образом сочетание *в'ер'х* могло дать *в'ер'ех* (а не наоборот, см. стр. 166) или почему «этимологична» мягкость /р'/ в *тьр'гъ* (стр. 61) и т. д.

Сказанным ограничиваются замечания по поводу очень интересной по замыслу и исполнению, хотя и спорной в некоторых частях и далеко не полной по характеру материала книги К. В. Горшковой. Установление ряда диалектных расхождений в фонологических системах северо-западных и северо-восточных средневековых русских говоров — несомненная заслуга автора исследования. В дальнейшем желательно конкретизировать наиболее общие выводы (применительно к частным диалектным системам) и собрать дополнительные исторические доказательства произведенной реконструкции. Книга убедительно показывает, что в настоящее время историческая фонология стоит перед необходимостью фронтального и основательного изучения письменных памятников (прежде всего, северного происхождения). Кроме того, следует продумать возможности преодоления тех методологических и технических затруднений, которые влечет за собой исследование «по синхронным срезам».

В. В. Колесов

H. J. Aronson. **Bulgarian inflectional morphophonology.** — The Hague — Paris, Mouton, 1968. 188 стр.

Книга американского слависта Говарда Аронсона «Морфонология болгарского словоизменения» — первое после работ Н. С. Трубецкого [1] монографическое описание морфонологической системы славянского языка. В последние десятилетия вопросы славянской морфонологии разрабатывались главным образом в связи с типологическими задачами. Мы имеем в виду прежде всего работы Э. Станкевича, которые в настоящее время во многом определяют состояние славянской морфонологии [2]. Однако отсутствие систематических описаний морфонологических систем славянских языков, выполненных единообразно и в

[1] N. Trubetzkoy, Das morphonologische System der Russischen Sprache, TCLP, 5_2, 1934; его же, Altkirchenslavische Grammatik. Schrift-, Laut- und Formensystem, Wien, 1954 (гл. «Morphonologie», стр. 97—112); его же, Polabische Studien, Wien — Leipzig, 1929 (гл. «Das morphonologische System der polabischen Sprache», стр. 138—167).

[2] Edw. Stankiewicz, Expressive derivation of substantives in contemporary Russian and Polish, «Word», X (1954); его же, The distribution of morphemic variants in the declension of Polish substantives, «Slavic Word», 11, 1955; его же, The consonantal alternations in the Slavic declensions, «Word», 16, 2, 1960; его же, Grammatical neutralization in Slavic expressive forms, «Word», 17, 2, 1961; его же, The interdependence of paradigmatic and derivational patterns, «Word», 18, 1—2, 1962; его же, The singular / plural opposition in Slavic languages, «International Journal of Slavic linguistics and poetics», V (1962); его же, Unity and variety in the morphophonemic patterns of the Slavic declensions, «Ame-

соответствии с некоторой единой концепцией, отрицательно сказывается на самих типологических выводах, которые неизбежно носят пока предварительный характер. Но если типологические наблюдения, содержащиеся в трудах Э. Станкевича, требуют дополнительной проверки и подтверждения материалом славянских языков и в этом смысле они относительны, то теоретические положения его морфонологической концепции имеют, по нашему мнению, безусловную ценность для исследователя морфонологии любого славянского языка. Концепция, развиваемая Э. Станкевичем, отличается большей «грамматичностью» сравнительно с подходом Н. С. Трубецкого, т. е. преимущественным вниманием не к формальной, а к функциональной, морфологической стороне звуковых чередований. Исследование Г. Аронсона целиком опирается на теоретические и методические принципы Э. Станкевича и выполнено под его руководством.

Цель рецензируемой работы — во-первых, дать систематическое описание морфонологических средств словоизменения современного болгарского литературного языка, во-вторых,— сопоставить болгарскую морфонологическую систему с русской. Во введении к книге (гл. I — «Введение») содержится общая характеристика болгарского литературного языка, указываются его хронологические рамки, определяется состояние современной литературной нормы и ее отношение к иноязычным элементам (турецким, церковнославянским, русским), а также к диалектному языку. Здесь же сформулированы основные цели исследования и предложена система транскрипции (фонетической, фонологической и морфонологической) и транслитерации болгарских и русских форм. Во второй главе (гл. II — «Морфонологические чередования») дается краткий очерк истории морфонологии (наибольшее внимание, естественно, уделено трудам Н. С. Трубецкого) и специально—обзор морфонологических наблюдений над болгарским языком, содержащихся главным образом в болгарских грамматиках.

Поскольку морфонология — промежуточная дисциплина между фонологией и морфологией в том смысле, что она оперирует единицами фонологии и категориями морфологии, устанавливая их функциональную связь, т. е. определяя морфологическое использование фонологических средств,— то автору пришлось ради экономии и строгости собственно морфонологического описания включить в свое исследование краткий очерк фонологии болгарского языка (гл. III— «Фонологическая система современного литературного болгарского языка»), равно как и краткий обзор морфологических категорий и форм словоизменения в системе имени (гл. IV — «Именная система») и в системе глагола (гл. V — «Болгарский глагол»). Это позволило автору весь материал и выводы, относящиеся непосредственно к предмету его исследования, изложить крайне компактно, менее чем на 60 страницах (гл. VI — «Морфонология болгарского словоизменения» и гл. VII — «Выводы»). Сопоставлению болгарской и русской словоизменительной морфонологии посвящено приложение (стр. 162—183), включающее: A. сравнение русской и болгарской морфонологических систем; B. обзор морфонологических чередований в русском языке; C. сравнение болгарских и русских морфонологических чередований и D. выводы. Книга снабжена списком болгарских и русских словарных источников и библиографией работ по общим вопросам морфонологии и специальных исследований по болгарской грамматике и морфонологии (всего 82 названия).

На первый взгляд может показаться, что стремление к экономии, которым определяется структура книги Г. Аронсона (и в конечном счете сам подход к морфонологическому описанию), не оправдывает себя. В самом деле, компактность и лаконизм морфонологической главы, во-первых, достигнуты за счет включения трех самостоятельных глав, каждая из которых посвящена целой особой дисциплине болгаристики — болгарской фонологии, морфологии имени и морфологии глагола; во-вторых, само морфонологическое описание зависимо от предшествующих глав в том смысле, что морфонологические характеристики определяются принятой интерпретацией фонологических и морфологических отношений и при иных интерпретациях должны быть изменены. Кроме того, некоторые разделы фонологического и морфологического описания (в частности, представление болгарского консонантизма на уровне различительных признаков, отдельные факты дистрибуции фонем, некоторые подробности именного и в особенности глагольного словоизменения) к собственно морфонологической части не имеют прямого отношения, что вполне естественно, поскольку чередования — лишь вспомогательное, а иногда и весьма периферийное средство выражения грамматических значений. С другой стороны, в морфонологической главе автор вынужден во многом повторять те сведения о

rican contributions to the V International Congress of Slavists», The Hague, 1963; его же, Troubetzkoy and Slavic morphophonemics, «Wiener slavistische Jahrbuch», 11 (1964); его же, Slavic morphophonemics in its typological and diachronic aspects, «Current trends in linguistics», III, The Hague, 1966; его же, Declension and gradation of Russian substantives, The Hague, 1968.

морфонологических чередованиях, которые содержатся в морфологических разделах. И все же нам кажется, что опыт Г. Аронсона следует признать удачным. Морфологический обзор именных и глагольных категорий, хотя автор и стремится к полноте представления, в целом строго подчинен главной задаче — выявлению тех грамматических з н а ч е н и й, для выражения которых используются морфонологические средства, и определению соотношения этих средств с другими, собственно морфологическими показателями. Морфонологическое же описание дает обзор ч е р е д о в а н и й с точки зрения их морфологических функций и грамматической и лексической «мощности».

Мы не будем специально разбирать фонологическую и грамматическую концепцию Г. Аронсона, а сосредоточимся преимущественно на теоретических положениях и выводах, относящихся собственно к морфонологической системе болгарского языка. Отметим только, что в области фонологии автор придерживается дихотомической теории, причем он не ограничивается парадигматическим уровнем (инвентарь фонем и различительных признаков, аллофонические отношения), а приводит достаточно подробный перечень правил дистрибуции фонем в последовательности [3]. В изложении морфологии имени, в целом достаточно традиционном, обращает на себя внимание несколько отличная от традиционной трактовка категории числа, в соответствии с которой в пределах множественного числа существительных выделяются немаркированные и маркированные формы (последние включают экспрессивные, собирательные и счетные формы), причем это противопоставление немаркированного и маркированного множественного, принятое Г. Аронсоном вслед за Э. Станкевичем [4], существенно именно в морфонологическом отношении. В описании болгарского спряжения Г. Аронсон опирается на работу Р. Якобсона, посвященную русскому спряжению. Автор строит экономную систему правил, позволяющих образовать любую форму глагола от так называемой исходной формы.

Болгарские грамматики и частные морфологические исследования дают возможность установить, вероятно, полный перечень используемых в болгарском языке звуковых чередований или их типов. Однако содержащиеся в них сведения совершенно недостаточны по крайней мере в двух существенных отношениях: во-первых, они не дают исчерпывающей характеристики грамматических функций каждого чередования, следовательно, не позволяют установить и взаимных отношений между отдельными видами чередований; а во-вторых, и тем более, они не дают необходимого представления о границах лексического распространения чередований. Для морфонологии, правила которой отличаются несравненно меньшей регулярностью, чем фонологические и грамматические, особенно важен этот аспект, т. е. ее отношение к словарю. По существу морфонологические правила формулируются для классов л е к с е м определенной фонологической структуры (например, основы, оканчивающиеся на заднеязычный согласный) или определенных грамматических категорий: те же основы на заднеязычный имеют различные морфонологические характеристики у глаголов, существительных и прилагательных, у существительных мужского и существительных женского рода, у существительных мужского рода одушевленных и неодушевленных, личных и неличных и т. д. Но есть в области морфонологии и собственно лексические ограничения, не связанные с какими-либо грамматическими категориями, а объясняемые, например, неупотребительностью отдельных грамматических форм для некоторых лексем или специфическими грамматическими показателями. Это значит, что для полного морфонологического описания необходимо учесть весь корпус лексики анализируемого языка. Исследование Г. Аронсона особенно ценно тем, что оно удовлетворяет требованиям систематичности и полноты как грамматических, так и лексических фактов.

Основным источником для Г. Аронсона служил трехтомный академический «Речник на съвременния български книжовен език» (около 64 тысяч слов), дополнительно привлекались многие двуязычные, толковые и орфографические словари. Стремление к точному определению лексической сферы распространения каждого морфонологического явления с учетом всех стилистических и даже некоторых диалектных вариантов потребовало от автора максимального использования всех имеющихся источников, потому что ни один из них не содержит исчерпывающей информации, касающейся словоизменения и реального употребления отдельных словоформ. Везде, где не удавалось сформулировать общих условий

[3] Таблицы двухэлементных консонантных сочетаний, допустимых в начале и на конце слова, приведенные на стр. 37, не полны. В них отсутствует целый ряд начальных и особенно конечных сочетаний, выявляемых на основании того же трехтомного академического словаря болгарского языка, который служил Г. Аронсону главным источником: начальные *žm'* (*жмя*), *rv* (*рва се*), конечные *nt* (*документ*), *nk* (*танк*), *jl* (*детайл*), *nr* (жанр), *jf* (*шлейф*) и мн. другие.

[4] См., в частности: E d w. S t a n k i e w i c z, The singular/plural opposition in Slavic languages.

чередования, автор приводил полные списки слов, для которых данное чередование характерно, а также полные списки исключений для каждого типа чередований. В результате лексика в исследовании Г. Аронсона оказывается не иллюстративным материалом, как это обычно бывает в морфонологических описаниях, а действительным объектом изучения, и это позволяет надеяться, что от внимания исследователя не ускользнул ни один факт, существенный для морфонологической характеристики болгарского словоизменения. И все же нельзя не сказать в связи с этим, что в некоторых случаях автор придает чрезмерное значение сугубо периферийным фактам, помещая их в один ряд с регулярными и продуктивными фактами морфонологии. Это относится, например, к большинству форм так называемого собирательного множественного числа (*гърчá*, *гражданя́*, *даскаля́* и под.), употребительность которых в современном болгарском литературном языке крайне ограничена, а иногда даже сомнительна.

Морфонологическая концепция Г. Аронсона включает в качестве основного принципа последовательность (иерархию) языковых уровней и их анализа: парадигматическая фонология — синтагматическая фонология — автоматические чередования — морфонология (морфонологические чередования). Морфонологический анализ и анализ автоматических чередований исходит из понятия основной формы (basic form), которая определяется как форма, реальная или условная, позволяющая в наибольшей степени предсказать все остальные формы («which give us the greatest possible predictability»). Исходная форма записывается в морфофонемической транскрипции, основанной на правилах синтагматической фонологии и включающей, помимо фонемных символов, обозначения морфемных границ и гласных, чередующихся с нулем (#). Автоматические и морфонологические чередования строго разграничиваются, причем к морфонологии относятся только последние. Автоматические чередования определяются как фонологически обусловленные и не имеющие исключений, морфонологические — как фонологические не обусловленные (или морфологически обусловленные), которые могут и иметь исключения, и не иметь их. Морфонологические чередования, не знающие исключений, могут расцениваться как автоматические на морфонологическом уровне, т. е. фонологически обусловленные в данной морфологической подсистеме (например, чередование ъ, *е* ~ # в прилагательных или чередование заднеязычных с шипящими перед *е* в глагольной системе). Нужно сказать, что в подобных случаях не легко обнаружить те факты, которые могут быть решающими при квалификации чередования как автоматического или морфонологического, однако в большинстве случаев решения, принятые автором, кажутся нам обоснованными и справедливыми.

Трудно согласиться только с трактовкой одного типа чередования, отнесенного Г. Аронсоном к автоматическим. Речь идет о чередовании ъ ~ # в положении между шумным согласным и завершающим основу *r*, *l*, *v*, или *m*: *топъл—топла*, *рекъл — рекла*, *масло — масълце* и т. д. Здесь неверно определено условие появления ъ между согласными: «конец основы». Ведь в тех формах, где ъ отсутствует, консонантная группа также находится на конце основы (*топла*, *рекла*). На эту ошибку автору уже указал другой рецензент [5], однако если принять предлагаемую им поправку (говорить о вставке ъ не «на конце основы», а на конце слова), то можно достичь корректной формулировки, определяющей действительно автоматическое чередование (на конце слова между конечным *r*, *l*, *v*, или *m* и предшествующим шумным вставляется ъ), но нельзя устранить другой трудности, связанной с тем, что ъ в том же окружении и даже в тех же основах появляется не только на конце слова, но и, например, в членных или счетных формах, ср. *вятър — вятърът — вятъра*, *косъм—косъмът—косъма*, *мисъл—мисълта*, или в суффиксальных образованиях типа *масълце* [6]. Это значит, что одно и то же чередование (ъ ~ #) в одной и той же основе (например, *вятър — вятърът — ветрове*) должно расцениваться то как автоматическое, то как морфонологическое, точнее в одних формах как автоматическое, в других как морфонологическое. Но даже и по отношению к одним и тем же формам мы обнаруживаем противоречивые утверждения: на стр. 123 говорится о морфонологическом чередовании ъ ~ # в словах типа *театър*, тогда как по правилу, данному на стр. 44, здесь должно быть представлено автоматическое чередование на конце слова между шумным и сонорным [7].

---

[5] См.: Ъ. Скатън, Пръв системен труд по морфонология на български език, БЕ, год. XIX, кн. 1, 1969.

[6] Нельзя принять также формулировку Ю. С. Маслова («Очерк болгарской грамматики», М., 1956, стр. 29), указывающую, что ъ появляется перед тавтосиллабическим сонантом и отсутствует перед гетеросиллабическим, поскольку ей противоречат примеры типа *вятърът*, *косъмът* и т. д., где сонант безусловно относится к последующему слогу.

[7] См. также: H. Aronson, Vowel/zero alternations in the Bulgarian inflec-

Понятие основной, или исходной, формы чрезвычайно важно для строгого определения морфонологических правил и порядка их применения. Единый принцип выбора или конструирования такой формы позволяет избежать произвола при установлении типов чередований и их взаимных отношений. Однако здесь возникает одно сомнение. Ориентация на исходную форму, содержащую максимум информации обо всех остальных формах, должна привести к тому, что реальные основы с одинаковой морфонологической «деривацией», т. е. характеризуемые одинаковыми типами морфонологических преобразований, будут отождествлены на морфонологическом уровне. Так, например, будут отождествлены все именные основы с символом # (который на фонологическом уровне превращается либо в нуль, либо в гласный), независимо от того, принадлежит эта основа к классу существительных или к классу прилагательных. Для любой основы такого вида должны быть указаны условия преобразования # в нуль или в гласный. Вместе с тем, конкретный материал, анализируемый Г. Аронсоном, показывает, что у существительных и прилагательных подобные основы имеют разные условия преобразования # и что эти различия могли бы быть предусмотрены уже при определении исходной формы таким образом, что в одном случае исходной формой была бы избрана основа с гласным, а в другом — с нулем. Действительно, для существительных мужского рода, о которых идет речь, основа с гласным, выступающая в большинстве словоформ (нечленная форма ед. числа, членная форма ед. числа, счетная форма, в ряде случаев звательная форма), позволяет достаточно просто сформулировать морфологические условия исчезновения гласного (флексии немаркированного мн. числа и в некоторых случаях окончания вокатива). Наоборот, в прилагательных наибольшее число словоформ характеризуется основой с нулем (женский и средний род. ед. числа, членные формы всех родов, мн. число), которая и могла бы считаться исходной, в то время как основа с гласным — «фонологически обусловленной в данной морфологической подсистеме» (конец слова). Поскольку в любом случае исходная форма должна содержать какие-то указания на то, что гласный основы в ряде реальных словоформ утрачивается или, наоборот, появляется на месте нуля (это необходимо для отграничения от основ с устойчивым гласным, с одной стороны, и с устойчивым отсутствием гласного — с другой), то с точки зрения экономии, если речь идет об описании основ одного морфологического класса и одной морфонологической структуры, безразлично, будет ли избран в качестве исходной формы вариант с гласным, снабженный пометой о его возможном исчезновении, или вариант с нулем, снабженный пометой о появлении в данной позиции гласного, или, наконец, вариант с условным символом, означающим, что в одних формах здесь будет представлен гласный, а в других — нуль. Но если речь идет об описании разнородных в морфологическом отношении основ с разной, несмотря на формальное тождество, морфонологической структурой, то выбор условной основы не обязательно обеспечивает оптимальное решение. С другой стороны, если использование условной основы дает, по мнению автора, какие-то преимущества, то непонятно, почему оно ограничивается основами с «беглыми» гласными — в принципе можно было бы пользоваться условными представлениями и в других случаях; скажем, основы с чередованием типа $K \sim C$ записывать со специальным символом (например, K'), который на фонологическом уровне преобразовывался бы в одних словоформах в K, в других — в C. Это, кстати, было бы удобно для отграничения тех основ на заднеязычный, которые данному чередованию не подвержены. Труднее, правда, было бы оперировать условной записью, объединяющей больше двух вариантов основы, например, в случае существительных мужского рода с основой на заднеязычный, которым присуще чередование $K \sim C \sim \hat{C}$.

Морфонологические чередования, наблюдаемые в болгарском словоизменении, Г. Аронсон классифицирует на основе фонологических признаков, присущих альтернантам. Выделяются пять типов: 1) консонантные чередования, 2) вокалические чередования, 3) чередования гласных с нулем, 4) акцентные чередования, 5) метатезы, — каждый из которых анализируется особо в именной и глагольной системе. Для индивидуальных видов чередований приводятся указания, относящиеся к их продуктивности и лексической распространенности. Отдельные чередования обозначаются либо фонемными символами (например, |o| ~ |e|), либо условными, объединяющими целый класс фонем (например, $C \sim C'$, где C обозначает любой твердый согласный, а C' — соответствующий мягкий)[8].

Как уже отмечалось, описание собственно морфонологических фактов в книге Г. Аронсона выполнено с большой тщательностью. Внимание автора сосре-

tion, «The Slavic and East European journal», VI, 1, 1962.

[8] Нельзя не отметить известного неудобства, связанного с тем, что символ C употребляется как для обозначения твердого согласного, так и для обозначения специального дентального результата так называемой второй палатализации

д

точено главным образом на морфологических функциях и лексических ограничениях каждого типа чередований и в меньшей мере направлено на сопоставление индивидуальных морфонологических типов. Если можно говорить о каких-то общих свойствах морфонологической системы, то исследование Г. Аронсона дает достаточно полное представление о следующих из них: 1) круг морфологических значений, выражаемых с помощью морфонологических чередований или исключительно ими; 2) морфологические и лексические ограничения, различные для разных чередований; 3) продуктивность чередований и 4) основные тенденции развития в области чередований. И все же автор, очевидно, не ставил перед собой задачи охарактеризовать морфонологическую систему болгарского языка в целом и даже только словоизменения. В работе не рассматриваются, в частности, такие важные моменты, как «сочетаемость» чередований друг с другом, т. е. возможность их комбинирования для выражения одной морфологической оппозиции одного слова (например, чередований /е/ ~ #, *К* ~ *С* и факультативно *j* ~ # в оппозиции ед. число — мн. число *заек — зайци*), а также возможность их комбинации в пределах парадигмы одного слова (например, усечение основы, чередование типа *С—С'* и акцентное чередование в парадигме *гра́ждани́н—гра́ждани—гражданя́*). В последнем случае речь идет по существу о полной морфонологической характеристике каждой основы и установлении в конечном счете инвентаря морфонологических типов основ в зависимости от числа и видов характерных для них чередований. С другой стороны, целесообразно было бы изучить ряды функционально тождественных чередований, обслуживающие определенные грамматические оппозиции (со всеми входящими в них основами), например, все виды чередований, связанных с оппозицией ед. число — мн. число в имени или с видовым противопоставлением в глаголе.

Выше уже говорилось о зависимости, которая существует между морфологической и морфонологической интерпретацией. Здесь хотелось бы специально рассмотреть один достаточно показательный пример этой зависимости, свидетельствующий, вероятно, о том, что выбор из двух альтернативных морфологических решений в некоторых случаях может быть облегчен морфонологическими соображениями. Так, если на морфологическом уровне рассматривать формы собирательного множественного как противопоставленные формам ед. числа, то в случае *гра́ждани́н—гражданя́* следует отметить два чередования (не считая акцентного): чередование полной и усеченной основы (*in* ~ #)[9] и непалатального и палатального согласных в исходе усеченной основы (/n/ ~ /n'/, тип *С* ~ *С'*), а в случае *влах — влася́* — специфическое уникальное чередование /x/ ~ /s'/ (именно так оно трактуется у Г. Аронсона, см. стр. 110). Однако если принять другую трактовку, в соответствии с которой формы собирательного множественного признавались бы противопоставленными формам немаркированного множественного: *гра́ждани—гражданя́*, *вла́си—влася́*, то эти две оппозиции ничем не отличались бы от остальных оппозиций такого рода, характеризующихся одним чередованием типа *С* ~ *С'* (*къ́ща — къщя́*). Следовательно, второе решение давало бы более экономную морфонологическую схему:

I решение

Оппозиция	*гражданин*	*влах*	*къща*
sg. — немарк. pl.	*in* ~ #	*К* ~ *С*	—
sg. — coll. pl.	*in* ~ #, *С* ~ *С'*	*x* ~ *s'*	*С* ~ *С'*

II решение

Оппозиция	*гражданин*	*влах*	*къща*
sg. — немарк. pl.	*in* ~ #	*К* ~ *С*	—
немарк. pl. — coll. pl.	*С* ~ *С'*		

(в записи *К*~*С*). Кроме того, вопреки определению (стр. 11), *С* обозначает не всякий твердый согласный, а парный твердый согласный за вычетом *k*, *g*. Точно так же *С'* есть не только не всякий мягкий согласный (он не может передавать *k'*, *g'*), но обозначает всегда палатальный коррелят какого-то определенного непалатального согласного *С*.

[9] Это *in* в группе существительных, обозначающих лиц мужского пола по их национальной или социальной принадлежности, можно считать либо элементом основы, усекаемым в ряде словоформ, либо, что менее удобно, флексией ед. числа, подобно тому как *-ov-* в формах типа *градове́* признается нетерминальным окончанием мн. числа.

В соответствии со вторым решением изменилась бы и морфонологическая характеристика парадигмы *грък—гърци — гърча́*: вместо чередований $K \sim C$ и $K \sim \acute{C}$ были бы установлены чередования $K \sim C$ и $T \sim \acute{C}$ (подобно *ста́рец — ста́рче*). Однако в данном случае оба решения равноценны.

Здесь невозможно рассмотреть в подробностях все морфонологические правила, составляющие содержание основной, VI главы книги Г. Аронсона. Отметим только еще одну формулировку, которая не кажется удачной. Речь идет о том, как определены условия метатезы $R\text{ъ} \sim \text{ъ}R$ (*ъR* перед гетеросиллабическими согласными, *Rъ* — перед тавтосиллабическими согласными, стр. 147). Хорошо известно, сколь сложна проблема слогоделения в славянских языках и как много в них примеров, допускающих альтернативные членения на слоги. Если такие примеры, как *върхъ́т, върховé*, вполне удовлетворяют правилу Г. Аронсона, то примеры типа *врътá, скръбтá*, помимо членения *връв-та, скръб-та*, согласующегося с этим правилом, допускают также членение *връ-вта, скръ-бта*, противоречащее ему. Сравнительный аспект исследования Г. Аронсона представлен приложением, в котором сопоставляются фонологические и морфонологические черты болгарского и русского языков. Материал для морфонологической характеристики русского языка почерпнут в основном из книги Н. С. Трубецкого. Этот раздел представляет интерес как первый опыт систематического сравнения двух славянских языков на морфонологическом уровне. Выводы, содержащиеся в нем, заслуживают внимания с типологической точки зрения, поскольку в отношении фонологических показателей сопоставляемые языки достаточно близки в том, что касается парадигматики, но довольно сильно расходятся по дистрибутивным характеристикам, а в морфологии их отношения определяются уникальностью болгарской именной подсистемы на фоне остальных славянских языков и крайней архаичностью морфологии глагола в болгарском. Тем интереснее, что в области морфонологии имени скорее русский с его традиционной системой противопоставлен другим славянским языкам, чем болгарский с его исключительной для славянского типа морфологией имени. Все эти вопросы, однако, еще ожидают своего изучения.

Остается сказать, что книга Г. Аронсона—серьезный, тщательно исполненный труд, значение которого, несомненно, выходит за рамки болгаристики.

С. М. Толстая

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1970

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

*

22—28 августа 1969 г. по решению Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) в Москве проводилась первая международная конференция, посвященная актуальным проблемам изучения и преподавания русского языка как иностранного. Конференция ярко отразила возросший за последние десятилетия в различных странах мира интерес к изучению русского языка. В ее работе приняли участие русисты 35 стран; было прослушано 180 докладов, в дискуссии выступило 87 человек, 50 человек участвовало во встречах «За круглым столом».

Конференция открылась пленарным докладом В. Г. Костомарова, П. Н. Денисова, П. В. Веселова (СССР) «Русский язык в современном мире», в котором были обстоятельно проанализированы социолингвистические и психологические факторы превращения русского языка в язык широкого межнационального употребления, в один из основных «мировых языков». Опираясь на данные типологии и семиотики, авторы доклада подвергли критике все еще распространенное мнение о русском языке как о «трудном» и убедительно показали, что для адекватного усвоения отдельных языков необходимо приложить приблизительно равный объем усилий. Действительные трудности усвоения иностранного языка заключаются в овладении планом содержания функционально-семантических категорий, свойственных любому языку, независимо от разветвленности языковых номенклатур, соотносимых с этими категориями.

На конференции работало несколько секций. Вопросы теоретического и прикладного языкознания рассматривались на заседаниях секции «Лингвистические основы описания русского языка как иностранного» [1] — здесь было прочитано 54 доклада.

Большое внимание было уделено обоснованию общих принципов описания русского языка, предназначенного для его практического изучения. В докладе акад. В. В. Виноградова (СССР) «Лингвистические взгляды акад. Л. В. Щербы в связи с задачами преподавания русского языка иностранцам» была подчеркнута необходимость разграничения и учета в описании и преподавании трех аспектов понятия «язык»: 1) речевая деятельность (говорение и понимание), 2) язык (грамматика и словари), 3) языковой материал (тексты). Отмечая актуальность многих идей Л. В. Щербы для современного языкознания и методики преподавания иностранных языков, В. В. Виноградов поставил перед русистами задачу разработки двух различных типов грамматик: пассивной и активной, отметив особую роль последней при овладении языком как средством общения.

Важный вопрос о критериях выбора образцового варианта русского литературного языка поднял О. С. Ахманова (СССР). По ее мнению, необходимо более точно определить условия бытования языка-образца. Серьезного внимания заслуживает проблема модификаций, которым литературный язык подвергается в пределах сосуществующих поколений. Учет тенденций в развитии норм русского литературного языка выдвигался на первый план в докладе И. Барндштетера (ГДР) и живо дискутировался в ряде других выступлений.

В качестве важнейшей лингво-методической проблемы было названо выделение и описание основного русского языка (типа le français fondamental). Один из возможных вариантов ее решения был намечен Л. А. Новиковым (СССР), который предложил интерпретировать основной русский язык с точки зрения объяснительного минимума (Basic Russian), с точки зрения активного и пассив-

[1] С проблематикой секций «Методика и психология обучения иностранному языку», «Типы учебников и учебных пособий», «Аудио-визуальные средства и программирование», «Литературоведение и страноведение в обучении русскому языку» можно познакомиться в журнале «Русский язык за рубежом» (1969, 4; 1970, 1).

ного аспектов, а также с функциональной и контрастивной точек зрения.

Функциональная сторона описания языка наиболее подробно была освещена Г. И. Рожковой (СССР) в докладе «О лингвистических основах описания русского языка как иностранного». При описании языка в практических целях,— подчеркнула она,— мы не можем ограничиться характеристикой системных явлений разных уровней, а должны дать анализ функционирующей системы речи.

С. Кароляк (ПНР) аргументировал плодотворность семантического подхода к описанию и сегментации речи, при котором языковые единицы группируются в семантически однородные типы, безотносительно к их внутренней структурной организации. Эффективность ономасиологического принципа возрастает при переходе от активного описания родного языка к активному описанию иностранного языка — эта мысль прозвучала в выступлении Ю. Рыбака (ЧССР).

В. Г. Колшанский (СССР) посвятил свой доклад лингвистическим проблемам механизма речепроизводства, среди которых важное место занимает проблема построения предложения. Докладчик считает, что структура предложения развивается в процессе говорения и не может рассматриваться как актуализация заранее данного соотношения членов предложения.

Специальное место в пролематике секции занимали вопросы сопоставительного описания языков. В докладе С. К. Шаумяна (СССР) «Аппликативная грамматика и обучение языкам» было предложено использовать в качестве эталона при сопоставлении языков генотипический язык. Построение шкалы отклонений естественных языков от идеального лингвистического типа способствует более глубокому проникновению в коммуникативные механизмы как родного, так и иностранного языков.

О. Каде (ГДР), занимающийся вопросами описания русского языка в связи с обучением переводу, говорил об эффективности применения понятия глубинной структуры порождающей трансформационной грамматики. Нгуен Нем и Чан Ван Ко (ДРВ), исходя из конфронтации русского и вьетнамского языков, представили определенную систему ядерных конструкций русского предложения.

Важное значение при описании русского языка как иностранного имеет выработка однозначного метаязыка описания, так как лингвистические термины различных языков совпадают лишь частично как в плане выражения, так и в плане содержания,— подчеркнул в своем докладе В. Васченко (СРР).

В обсуждении общих принципов описания русского языка как иностранного приняли также участие П. Шима (ЧССР), С. Димитрова, Г. Тагамлицка (НРБ), Н. Ф. Иртеньева, И. В. Меркулов, А. М. Ломов (СССР), К. Буттке (ГДР), А. Ложкин (Новая Зеландия).

Большинство выступлений объединяло признание необходимости многомерного подхода к языку, потребности создания его комплексного описания.

Определенный круг проблем был связан с изучением и описанием отдельных уровней языка. Лингвистической основой обучения произношению было признано двуязычное сопоставление. Этот тезис обосновывался в теоретическом и практическом планах в сообщениях П. С. Вовк (СССР) и В. Побп (Австралия). Н. И. Самуйлова (СССР) выдвинула в качестве важнейшего фактора отбора фонетического материала для целей обучения учет ограничений возможностей фонологической системы при ее реализации в составе конкретных словоформ, связав этот вопрос с задачей создания фонетического словаря-минимума. Выступления, касавшиеся интонационной системы русского языка, показали необходимость дальнейших исследований в данной области и возможность применения различных методик (И. Балог — ВНР, М. М. Галеева и Б. В. Братусь — СССР).

При обсуждении вопросов морфологии в центре внимания стояли проблемы грамматической семантики. В. Е. Ярнатовская (СССР) обратила внимание на то, что при описании русского языка как иностранного плодотворным оказывается показ общих и специфических признаков грамматических категорий как в пределах русского языка, так и в рамках сопоставления двух языков. Важность разграничения общих и контекстуальных вариантов разноязычных эквивалентов была отмечена М. Георгиу (СРР).

Значительное внимание было уделено вопросам глагольного вида в русском языке; этот раздел грамматической системы русского языка в настоящее время интенсивно изучается. На конференции было представлено три доклада, затрагивавшие разные стороны видовой системы и ее реализации (А. В. Бондарко, О. П. Рассудова — СССР, Г. Мулиш — ГДР). Сложные вопросы описания русской глагольной системы ставились в выступлениях Л. Бенедиковой (ЧССР) и Л. В. Сахарного (СССР).

Доклад Г. Якобссона (Швеция) содержал характеристику структуры русского склонения на морфофонематическом уровне. Докладчик находит возможным представить структуру склонения существительных в русском языке значительно более компактно, чем в традиционном описании, например, отказаться от разграничения твердого и мягкого типов.

Широкое обсуждение развернулось вокруг вопросов синтаксической теории. Рассматривались проблемы структуры предложения (Г. А. Золотова, Е. Г. Баш, В. А. Ицкович — СССР, С. Галсан — МНР), проблема установления типового значения предложения (Г. А. Золотова, В. Г. Остроумов—СССР), функции именных групп в структуре простого предложения (М. В. Всеволодова—СССР), критерии выделения сложного синтаксического целого (Н. Д. Зарубина—СССР) и ряд других вопросов (выступления И. Бано, представителя ВНР, о порядке слов в русском и венгерском языках, представителя Швеции Т. Петерссона «Именное сказуемое в русском языке»).

По мнению Г. А. Золотовой, предложение следует рассматривать в трех аспектах: как единство модели и типового значения, как сочетание необходимого минимума синтаксических форм, образующее модель, способную распространяться и усложняться путем присоединения других синтаксических форм по определенным правилам, и как систему регулярных грамматических и семантических модификаций. Возможность сочетания структурной и семантической точки зрения была показана в докладе Е. Г. Баш в связи с проблемой выделения структурной основы простого предложения. Установление синонимии простых предложений в сообщении В. Мюльнера и Д. Радтке (ГДР) опиралось на понятие конфигурации предложения — минимальную конструкцию, обладающую значением предложения, связанную с валентностью предиката. В ряде выступлений обобщались результаты применения статистических методов (О. Трёбес — ГДР, М. Молл — ЧССР, В. В. Малов — СССР и др.).

Обсуждение вопросов лексикологии и лексикографии проходило в связи с проблемами лексической и синтаксической сочетаемости слов (Н. З. Котелова, Т. М. Дорофеева, И. Г. Ольшанский — СССР), сопоставительного анализа состава лексики в русском и родном языке обучающихся (Н. Дылевский — НРБ, К. Ковачикова—ЧССР), типологии словарей (И. К. Сазонова, В. В. Морковкин, Ю. Г. Овспенко — СССР, А. Баг—ФРГ, С. Влахов — НРБ), отбора лексики при различных конкретных целях описания (П. Н. Денисов, Я. Б. Коршунова — СССР). Одному из наиболее актуальных вопросов описания русского языка как иностранного — законам выбора глаголов и их эквивалентов при конструировании предложения — был посвящен доклад Т. П. Ломтева (СССР). Названная проблема была рассмотрена в двух отношениях — выбор глаголов при построении исходных предложений и при простроении конверсных предложений. В докладе Н. З. Котеловой (СССР) развивалось понимание сочетаемости как одного из свойств слова. Предлагалось устанавливать парадигматику изменения связей слова, набор его распространителей. Доклад Н. Дылевского (НРБ) отражал большую работу болгарских лексикологов по сопоставительному описанию русской и болгарской лексики.

Доклады, затрагивавшие проблемы лексикографии, опирались на признание системности лексики и на вытекающую отсюда необходимость создания системы учебных словарей. В учебной лексикографии,— подчеркнул Н. Н. Денисов (СССР),— важно уточнить единицу счета: слово или словосочетание, слово или лексико-семантический вариант. В выступлении И. К. Сазоновой была дана разносторонняя характеристика словарной статьи толкового словаря для иностранцев.

Отдельное заседание было посвящено вопросам описания функциональных стилей. В известной мере это новый круг вопросов, остававшийся до недавнего времени за рамками описания русского языка как иностранного. Активную поддержку встретила мысль, высказанная в докладе М. Н. Кожиной (СССР), о необходимости выявления речевой системности, характеризующей каждый стиль. Отличительную черту речевой системности составляет взаимосвязанность языковых единиц всех уровней по одному определяющему признаку, обусловленному экстралингвистической спецификой стиля. Универсальность явлений в разговорной речи разных языков, составляющая фон, на котором могут быть выделены специфические особенности разговорной речи данного языка, была проиллюстрирована в докладе О. Б. Сиротининой (СССР). В сообщении Н. Г. Михайловской оценивались функции архаической лексики в различных стилях. Ряд выступлений был посвящен принципам анализа художественных произведений (доклады Ю. А. Бельчикова, И. Р. Гальперина, А. Н. Васильевой — СССР).

При изучении функциональных стилей, так же как при изучении отдельных языковых аспектов, широкое применение находят статистические методы анализа. Об этом говорилось в докладе Т. А. Вишняковой и Л. Г. Косачевой (СССР) «Место статистического метода в исследовании функциональных стилей» и в ряде других выступлений.

Итоги конференции убеждают в том, что для решения актуальных вопросов описания и преподавания русского языка как иностранного необходима совместная работа лингвистов, методистов, психологов, литературоведов, социологов, необходимо укрепление связей и контак-

тов различных научных и учебных заведений — как советских, так и зарубежных.

Конференция наглядно продемонстрировала, что между научными методами исследования языка и методикой его преподавания существует самая тесная связь. Появление новых эффективных методов в лингвистике неизбежно приводит к совершенствованию процесса обучения. В то же время конференция показала, насколько прав был Л. В. Щерба, утверждая, что «практический интерес к методике у лингвиста-теоретика бывает вполне вознагражден, так как зачастую наталкивает его на такие мысли, которые иначе могли бы и не зародиться: как всегда и везде, практика стимулирует теорию» [2].

Л. А. Новиков, О. П. Рассудова (Москва)

*

С 4-го по 8-е мая 1969 г. в Новосибирском научном центре проходила Вторая межвузовская конференция по актуальным проблемам лексикологии, организованная кафедрой общего языкознания Новосибирского госуниверситета и Советом по координации исследовательских работ по гуманитарным наукам Западной Сибири. В конференции приняли участие лингвисты 43 городов РСФСР, Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии. Было прочитано около 200 докладов, из них около 30 на пленарных заседаниях, остальные — на заседаниях семи секций.

В центре внимания участников конференции были методы исследования словарного состава.

В ряде интересных докладов освещались проблемы применения статистических методов в лексикологии. Перспективам развития лингвостатистики, превращения ее в теоретическую дисциплину был посвящен доклад А. Я. Шайкевича (Москва). В докладе Л. Н. Засориной и Э. В. Воробьевой (Ленинград) были рассмотрены некоторые проблемы составления базового словаря русского языка, в частности, необходимость отражения в нем стратификации лексических единиц не только по абсолютной частоте, но и по локальным частотам, рассеиванию по выборкам и стабильности распределения. В коллективной работе, выполненной А. Е. Супруном, Ж. С. Аладко и В. А. Плотниковым (Минск), обсуждались вопросы применения статистической методики в дистрибутивном исследовании лексической семантики. В. Я. Плоткин (Новосибирск) показал и проанализировал статистическую зависимость между фонетической и семантической структурой слова: с усложнением первой вторая сокращается в объеме.

Другая группа докладов была посвящена анализу и уточнению основных понятий и категорий лексикологии. В докладе Ю. Д. Апресяна (Москва) были изложены принципы построения формальной теории лексических синонимов в рамках теории равнозначных преобразований. И. В. Арнольд (Ленинград) дала анализ содержания, вкладываемого современными лингвистами в понятие «семантическая структура слова», и предложила трактовку этого понятия как структурного множества семантических вариантов. В докладе Н. А. Шехтмана (Оренбург) разграничивались понятия системы и системности в лексикологии. М. А. Черкасский (Алма-Ата) подверг анализу понятие мотивации слова в аспекте динамики языка, показал разнообразие мотивов именования и разграничил основные типы мотивации. А. Е. Карлинский (Алма-Ата) остановился на проблеме интерференции и на методике ее описания.

В докладах М. И. Черемисиной (Новосибирск), Л. П. Крысина (Москва) и Ф. Л. Скитовой (Пермь) рассматривались проблемы социолексикологии. М. И. Черемисина рассказала об опыте анализа словаря индивидов и социальной интерпретации своеобразия этих словарей. Л. П. Крысин рассматривал социальное распределение словообразовательных вариантов. Ф. Л. Скитова рассмотрела процесс вхождения областных слов в литературный язык с точки зрения социальной обусловленности этого процесса.

Большое место в работе конференции занимали проблемы семантической структуры слова в разных языках (более 20 докладов).

Проблеме полисемии были посвящены доклады Г. И. Климовской (Томск), которая рассматривала ее не как объективное свойство языка-объекта, но как следствие определенным образом организованного описания, и Н. Д. Гариповой (Уфа), которая видит специфику смысловой структуры абстрактных существительных в относительной одноплановости лексико-семантических вариантов, в их слабой взаимной противопоставленности лишь периферийными компонентами смысла. Семантическая структура полисемичных слов в разных языках рассматривалась в докладах Ф. А. Литвина и Л. Е. Швец (Орел), А. Г. Ларина (Москва), В. А. Губановой (Орел) и Е. Д. Коноваловой (Ленинград).

Н. А. Лукьянова (Новосибирск) и Н. А. Гудименко (Омск) говори-

[2] Л. В. Щерба, Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики, М.— Л., 1947, стр. 13—14.

ли о связях между производными и производящими словами. Связь между семантикой слова и его внешним окружением (лексическим и синтаксическим) рассматривалась в докладах О. М. Соколова (Томск) и С. Г. Ахметовой (Алма-Ата). О десемантизации глаголов в составе глагольно-именных сочетаний говорилось в докладе Н. С. Дмитриевой (Уфа). Анализ семантики сюза «если... то» в сложном предложении представила в своем докладе Т. А. Колосова (Алма-Ата).

Природе синонимии посвятил свой доклад Л. В. Сахарный (Пермь), предлагающий выделить каркас основных, наиболее распространенных слов языка, способных быть доминантами синонимических рядов. С докладами о диалектной синонимии выступили Н. С. Кошелева (Новосибирск), Л. М. Майданова (Свердловск), Р. Я. Тюрина (Томск), Ф. Т. Андреева (Абакан).

Много докладов было посвящено анализу лексико-семантических групп. Э. В. Кузнецова (Свердловск) рассказала об основных этапах описания ЛСГ, через которые проходит исследователь, поднимаясь от конкретных наблюдений над словом к раскрытию семантической структуры группы. Л. В. Васильев (Уфа) посвятил свой доклад типам семантических оппозиций в глагольной лексике. В докладе Ю. В. Фоменко (Новосибирск) был охарактеризован класс глаголов созидания в русском языке, выделенных с помощью дистрибутивно-трансформационной процедуры; этот класс, включающий более 150 элементов, отличается исключительным семантическим единством. Л. И. Ширина (Ташкент) рассказала об опыте компонентного анализа семантического поля русских прилагательных со значением вкуса. В докладах Э. М. Вольфсон (Новокузнецк), Л. Я. Герасимовой (Уссурийск), П. А. Адаменко (Пушкин), М. И. Кролль (Москва), Л. А. Соколовой (Саратов) были охарактеризованы отдельные лексико-семантические группы в английском, французском и немецком языках.

В докладе Н. В. Черемисиной (Уфа) была намечена типология лексико-семантических и семантико-синтаксических связей между словами и словосочетаниями в русском художественном тексте.

Стилистическая дифференциация лексики была темой доклада Е. А. Гутман (Новосибирск) и В. М. Лейчика (Москва); авторы отмечали проникновение элементов разговорной лексики в литературный стиль как тенденцию современного французского языка. Экспрессивная лексика диалекта как средство стилевой дифференциации диалектной речи рассматривалась в докладе Т. С. Коготковой (Москва). Постоянный поиск и стремление к обновлению экспрессивных средств языка, создающие обширные синонимические ряды, докладчик рассматривает как свойство диалектного языка. Методике выявления экспрессивной лексики в диалекте был посвящен доклад Н. В. Жураковской (Томск). Сопоставление диалектных и литературных слов в плане выражения и в плане содержания проводилось в докладах Р. Т. Гриб (Енисейск) и З. П. Антоновой (Новосибирск).

С пленарными докладами по вопросам словообразования выступали К. А. Тимофеев (Новосибирск) и Г. Я. Панкрац (Алма-Ата). К. А. Тимофеев предложил уточнение некоторых исходных понятий словообразования. Термин «исходная база» докладчик понимает как материал, используемый для создания слова; им может быть основа, целое слово, словосочетание, а также исходное значение. В докладе указывалось на необходимость разграничения синхронного (морфемная структура, структурно-семантические связи) и диахронного (возникновение новых слов, процесс словопроизводства) аспектов изучения словообразования. В докладе Г. Я. Панкраца словообразовательный состав языка рассматривался как множество, разбитое на подмножества, объединенные общностью корневой морфемы. Эти подмножества охватывают около 75% знаменательных слов исследованного нижненемецкого диалекта в СССР.

На заседаниях секции «Проблемы словообразования» было сделано и обсуждено 17 докладов, построенных на материале русского, западноевропейских, классических языков и языков народов Сибири. В прениях обсуждались поставленные докладчиками проблемы соотношения синхронии и диахронии в словопроизводстве, структурная и семантическая интерпретация словообразовательных потенций, речевое распределение словообразовательных вариантов, методы исследования этого аспекта языка и др.

О работе над словообразовательным словарем русского языка с помощью аппарата аппликативной порождающей модели С. К. Шаумяна рассказали сотрудники сектора структурной лингвистики ИРЯ АН СССР Е. Л. Гинзбург, И. В. Альтман, С. С. Белокрыницкая (Москва). Этой же проблеме были посвящены доклады Л. С. Лев (Киев) и Л. М. Корж (Киев).

М. М. Копыленко (Алма-Ата) затронул проблему семантического и фразеологического калькирования на материале калек греческого происхождения в современном русском языке. Проблеме соотношения между словообразовательной моделью и ее реализациями был посвящен доклад Р. С. Мирзоева (Баку), предлагающего определять это соотношение с учетом реализации, т. е. определения типов ограничений, накладываемых

на реализацию потенции, и количественного анализа конструктивной мощности классов. Словообразовательным отношениям в разных языках были посвящены доклады Э. М. Менчера (Новосибирск), Б. М. Масиса (Смоленск), М. М. Гинатуллина (Кустанай), Т. И. Поротовой (Томск), В. Н. Роговой (Красноярск), Ф. Г. Коровина (Фрунзе), В. Б. Сосновской (Алма-Ата), К. В. Пиоттух (Москва) и некот. др.

Проблемам фразеологии и лексической сочетаемости были посвящены пленарные доклады М. М. Копыленко и А. И. Федорова (Новосибирск). М. М. Копыленко рассмотрел основные проблемы сочетаемости лексем (фразеосочетаемости) и синтаксической сочетаемости и предложил схему построения лингвистических дисциплин, в которой фразеология занимает такое же место по отношению к синтаксису, как лексикология по отношению к морфологии. А. И. Федоров на богатом фактическом материале проследил историю русской фразеологии в конце XVIII и начале XIX в.

На секции «Проблемы лексической сочетаемости и фразеологии» было прослушано и обсуждено 19 докладов. Проблемам общей и теоретической фразеологии были посвящены доклады З. Д. Поповой (Воронеж), В. Д. Ушакова (Москва), В. Т. Ковальчука (Ош). З. Д. Попова сделала попытку разъединить критерии устойчивости и идиоматичности, которые в определении фразеологичности выступают обычно в связанном виде, но в действительности далеко не всегда характеризуют одни и те же объекты. Основным критерием фразеологичности она предлагает считать идиоматичность, по отношению к которой устойчивость может выступать как сопроводительный признак. Проблема идиоматичности была темой доклада и В. Д. Ушакова, который ввел обобщенное понятие идиоматичности, применимое к различным уровням языка. В докладе В. Т. Ковальчука рассматривалась лексическая совместимость слов и проблема их сочетаемости.

Частным проблемам фразеологии посвятили свои сообщения Н. А. Щеглова (Новосибирск), М. Г. Дахшлейгер (Алма-Ата), Т. В. Орел (Томск), Н. К. Пахотина (Омск), Е. Б. Шерешевский (Новосибирск), А. Г. Щепин (Чита).

Проблемы фразеологической стилистики были представлены в докладе Р. В. Сосиной (Горький). В докладе С. Г. Тер-Минасовой (Москва) был поставлен вопрос о необходимости разработки объективных критериев выявления «нормы» в области лексической сочетаемости. О проблемах фразеологической типологии, эквивалентности фразеологических единиц разных языков и перевода таких единиц говорили Е. П. Муршель (Алма-Ата) и Б. Л. Костелянц (Москва).

Проблемы исторической лексикографии были поставлены в докладе Е. М. Исерлин (Ленинград), посвященном работе над словарем ко всем спискам «Моления Даниила Заточника». Г. С. Галкина (Тула) рассказала о работе над частотным словарем романа «Война и мир» на кафедре русского языка Тульского пединститута. Словарь будет фиксировать все лексические единицы, кроме собственных имен и топонимики. О необходимости создания учебного тематического словаря русского языка говорилось в коллективном докладе Н. С. Дмитриевой, Л. Г. Саяховой и Д. И. Хасановой (Уфа). Вопросы лексикографии активно обсуждались составителями сибирских диалектных словарей: В. В. Палагиной (Томск), К. П. Римашевской (Красноярск), Л. А. Таскаевой (Свердловск). Об опыте составления индивидуального словаря носителя диалекта сообщалось в докладе, представленном Л. Н. Грузберг (Пермь). В докладе Е. Ф. Мишиной (Горький) был поставлен вопрос о необходимости создания словаря антонимов современного русского языка. Антонимический способ словарных дефиниций был предметом сообщения А. Е. Карповича (Ленинград).

Впервые на лексикологической конференции работала особая секция, посвященная вопросам формирования и функционирования терминов и терминологических систем, а также вопросам формирования отдельных терминологических полей в разных языках. Здесь было прочитано и обсуждено 14 докладов.

В ряде докладов ставился важный лексикологический вопрос терминологии — о границах понятия слова-термина. В. П. Даниленко (Москва) на материале терминологических систем разных наук показала возможность функционирования в роли терминов слов разных частей речи: существительных и, кроме того, наречий, прилагательных, глаголов. О разграничении терминов и нетерминов в связи с проблемой информационного поиска говорилось в докладе Р. Ю. Кобрина (Горький).

В. А. Московичч (Москва), рассматривая принципы построения тезаурусов для систем автоматической обработки информации, показал, что движение вперед в этой области требует объединения принципов иерархической упорядоченности понятий и параметризаций основных отношений между словами в тексте.

Сложность процесса «терминологизации» слов естественного языка, функционирующих в качестве терминов, на материале лексикологической терминологии была показана в докладе Н. П. Рома-

новой (Новосибирск). Сильная полисемия и синонимия терминов лексикологии объяснялась автором как следствие слабой дифференциации их с соответствующими словами естественного языка. Подобные процессы на материале социологической терминологии рассматривались в докладе Л. В. Хазовой (Новосибирск).

В докладе И. В. Рывкиной (Новосибирск) излагались возможные способы использования результатов понятийно-терминологического анализа социологического текста.

Доклад М. И. Черемисиной (Новосибирск) и З. М. Зорина (Серпухов) был посвящен анализу двух «языков» современной физики: естественного языка «слов» и формализованного языка символов. Авторы пытались выявить принципиальные различия между этими семиотическими системами, делающие их равно необходимыми, дополнительными средствами развития и фиксации физических идей и теорий. В докладе Я. М. Биксона (Орел) рассматривалось множество физических терминов, являющихся результатом переносного употребления и несущих в себе яркую образность, не препятствующую точности. Формирование русской физической терминологии на материале физико-химических трудов М. В. Ломоносова было показано в докладе М. П. Алексеевой (Новосибирск).

Наличие разных научных стилей (научного, научно-популярного и научно-технического) на материале французского языка было показано в докладе А. Р. Медведева (Москва). Частным терминологическим системам в разных языках посвятили свои сообщения Л. Г. Теслинова (Ленинград), А. М. Крейтор (Полтава), Е. А. Молдатаева (Алма-Ата).

На заключительном заседании конференции ее участники приняли решение считать встречи лексикологов в Новосибирске традиционными и проводить их регулярно через два года.

М. И. Черемисина, Ю. В. Фоменко, Н. П. Романова (Новосибирск)

*

13—16 мая 1969 г. в Челябинском пединституте состоялась III конференция преподавателей кафедр иностранных языков педагогических институтов Урала, Сибири и Дальнего Востока по вопросам романо-германской филологии. Открывая первое пленарное заседание, председатель Оргкомитета Х. М. Гойдо (Челябинск) указал, что, согласно решению II конференции 1966 г., тематика настоящей конференции уже предыдущей и охватывает, в основном, вопросы стилистики, словообразования, времени и вида, построения предложения и фразеологии. С приветствием к участникам конференции и к гостям обратился также ректор Челябинского пединститута Н. А. Томин.

На первом пленарном заседании были прослушаны пять докладов. Доклад И. Г. Кошевой (Киев) «К вопросу о грамматическом времени» был посвящен рассмотрению отношения между объективно существующим временем и его выражением в разных языках. В докладе «Монемность как основной признак фразеологемы» Э. Х. Ротт (Челябинск) объяснил, как им используется метод контекстематического членения речи для выявления фразеологем. Г. И. Богин (Кокчетав) в докладе «Мера соотношения экспликации и импликации как критерии разграничения вариантов свободного („разговорного") стиля» предложил оригинальную классификацию стилистических вариантов. На пленарном заседании были также прослушаны доклады Б. М. Балина (Калинин) «Соотношение основных понятий аспектологии» и К. К. Кошевого (Киев) «Модели словообразования».

Наибольшее число докладов было сделано на секции стилистики (21 доклад), что доказывает наличие большого интереса к этому вопросу. Основные проблемы, которым были посвящены доклады на секции стилистики, следующие: 1) эмоциональность и экспрессивность лексики; 2) стилистические функции отдельных частей речи и семантических групп слов; 3) стилистические функции отдельных синтаксических структур; 4) сопоставление синтаксического своеобразия технического и художественного стилей; 5) стилевые особенности отдельных произведений; 6) стилистическая фонетика.

Проблеме эмоциональности и экспрессивности лексики были посвящены доклады В. П. Шубиной (Курган) «К вопросу о способе реализации эмоциональности в речи», М. В. Буковской (Челябинск) «Передача внутренней речи в романах с повествованием от первого лица», С. Б. Берлизон (Рязань) «Ласкательная лексика и фразеология в современном английском языке», В. А. Ежова (Нижний Тагил) «Некоторые случаи выделения ремы как средства актуального членения высказывания в литературном силе» и Я. И. Гельблу (Уфа) «К вопросу о диалектизмах в немецком литературном языке XVII века (на материале произведений Гриммельсгаузена)». Большая дискуссия развернулась по вопросам, поднятым в докладе В. П. Шубиной.

О стилистических функциях частей речи говорили в своих докладах В. Н. Елагин (Кемерово) «Изобразительно-выразительные качества некоторых немецких глаголов», Б. А. Князев (Челябинск) «Стилистические функции некоторых мес-

тоимений в английском языке», В. М. Аврасин (Курган) «О некоторых стилистических функциях числительных», С. М. Бердышева и Я. Г. Биренбаум (Магнитогорск) «Стилистические функции числительных в английском и немецком языках» и Н. Г. Смирнова (Челябинск) «Стилистическое употребление качественных наречий в английском языке».

Вопросу стилистических функций отдельных синтаксических структур были посвящены доклады Н. А. Купчика (Балашов) «Стилистические функции односоставных предложений в абзацах с несобственно-прямой речью», Н. И. Писанко (Томск) «Синтаксические структуры эллиптических вопросительных предложений общего типа и их стилистическое использование в современном английском языке», Н. Е. Дорофеевой (Саратов) «Некоторые особенности синтаксического стиля Эрвина Штриттматтера» и И. В. Щенько (Магнитогорск) «Некоторые разновидности и структура сравнений в романе Грэма Грина „Власть и слава“».

О синтаксическом своеобразии в техническом и художественном стилях говорилось в докладах М. И. Кауфмана (Коломна) «Синтаксический анализ предложения в техническом и художественном стиле» и С. Д. Береснева (Свердловск) «Норма словоизменения в научном стиле с точки зрения получателя речи».

Стилевые особенности отдельных произведений были рассмотрены в докладах Е. Т. Скибицкой (Челябинск) «Анализ стилистических средств в романе Г. Грина „Комедианты“», А. Г. Кербса (Тюмень) «Каламбур как речевое средство комического в поэме Г. Гейне „Германия. Зимняя сказка“» и О. Ф. Мироновой (Алма-Ата) «Стихотворение К. Сэндберга „Чикаго“. Опыт стилистического исследования».

Вопросам стилистической фонетики были посвящены доклады А. Г. Берестовенко (Улан-Удэ) «К вопросу о разграничении стилей произношения в современном английском языке» и В. А. Кравченко (Нижний Тагил) «Интонационное оформление некоторых видов стилистической инверсии». Этот последний доклад был признан одним из лучших на секции стилистики. Отметив важность разработки вопросов фонетической стилистики, Г. И. Богин указал на интересную методику исследования, примененную В. А. Кравченко, и на ценность полученных результатов. О значимости проделанной докладчиком работы говорила также С. Б. Берлизон. Секция рекомендовала издать исследование В. А. Кравченко отдельной брошюрой в Нижнем Тагиле.

На секции словообразования были сделаны 19 докладов. В докладах З. Н. Моревой (Челябинск) «Место словообразования среди других подсистем языка» и Р. Л. Итенберг (Челябинск) «К вопросу о словообразовательной структуре» рассматривались общие вопросы словообразования, место словообразования среди других систем языка, различие морфологического и словообразовательного анализа, понимание системы в словообразовании и т. п. Общий характер носили также доклады Г. П. Троицкой (Ленинград) «Место конверсии в системе словообразования современного английского языка» и К. В. Пиоттух (Москва) «О некоторых особенностях префиксации в современном английском языке».

Многие теоретические вопросы, и в частности, вопросы определения словообразовательной модели, ее значения, значения аффикса, членения производного и сложного слова, разграничения словопроизводства и словосложения и т. п., были затронуты также в докладах, в которых анализу подверглось образование отдельных классов слов. Это доклады М. И. Берлин (Минск) «Словообразовательные процессы в категории наречий в современном французском языке», И. А. Цыбовой (Москва) «Некоторые вопросы отглагольного суффиксального словообразования в современном французском языке», Х. М. Гойдо «Словообразовательная модель отглагольных существительных на *-tore* в современном итальянском языке», Г. А. Янгалышевой (Петропавловск) «Продуктивные модели образования сложно-производных прилагательных в современном английском языке», Н. И. Наугловой (Челябинск) «Префиксальное образование существительных с пространственным значением в современном французском языке», М. А. Ильиной (Петропавловск) «К вопросу о вариантах слова в современном английском языке (на материале парных однокоренных прилагательных на *ic*, *-ical*)», Г. П. Черногоровой (Челябинск) «К вопросу о классификации начальных элементов греческого и латинского происхождения во французской технической терминологии», Л. С. Лупандиной (Челябинск) «К вопросу об образовании глаголов от именных основ в радио-технической терминологии современного французского языка» и Я. Г. Биренбаума и Г. А. Рубинштейна (Магнитогорск) «Семантический анализ компонентов как вспомогательное средство выделения атрибутивно-именных прилагательных». Во время обсуждения этих докладов много споров вызвал вопрос о значении аффиксов.

Интересными были доклады, в которых переплетались вопросы словообразования и стилистики. К ним можно отнести доклады Л. А. Дудник (Москва) «К вопросу о существительных с

уменьшительными суффиксами во французском языке», С. А. Волиной (Москва) «Стилистическая окраска некоторых производных суффиксальных существительных современного немецкого языка» и А. П. Шаповаловой (Челябинск) «Сокращения во французской технической литературе и их употребление в разговорной речи».

Один доклад М. А. Бельской (Челябинск) «Пути проникновения деривационных покорневых морфем» был посвящен вопросу диахронного словообразования в английском языке. Содержательным было выступление Ю. М. Макушевой (Алма-Ата) «Сложное слово в лексикографии (на материале немецкого языка)». О взаимодействии заимствования слов с процессом словообразования говорила в своем докладе «К вопросу о заимствованных словах» М. К. Брагина (Челябинск).

12 докладов было сделано на секции «Время и вид». Наибольшее количество докладов было посвящено анализу различных способов выражения видовых оттенков в английском и немецком языках. Это доклады И. Г. Кошевой и Э. С. Снегиревой (Киев) «Соотношение видовых значений», Г. А. Лысовой (Челябинск) «К вопросу о влиянии пространственных ограничителей на аспектологическую характеристику глаголов в английском языке», И. В. Викторова (Челябинск) «Аспектологическая характеристика сочетаний НП глаголов с объектом на материале форм и конструкций будущего времени», Н. И. Кикец (Киев) «Синтаксические выразители видовых оттенков в английском языке», А. А. Коневского (Владивосток) «Вид и время в современном английском языке», Л. Б. Гарифулина (Челябинск) «Структура категории аспектуальности» и Э. С. Башкирцевой (Челябинск) «Акциональное значение начинательности, реализуемое у непредельного глагола движения в ряду последовательных действий». Особенности временной системы английского и немецкого языков подверглись анализу в докладах М. Г. Полякова (Шадринск) «Категория временной соотнесенности глагола в английском языке», В. А. Жеребкова (Калинин) «Некоторые маргинальные явления временной системы немецкого глагола», М. С. Веденьковой (Челябинск) «Общие и частные значения временных форм современного немецкого языка» и И. Б. Минаковой (Челябинск) «О некоторых закономерностях оформления косвенной речи в немецком литературном языке». Был также заслушан доклад А. Б. Черняка (Ленинград) «Проблема вариантности формы старофранцузского аналитического прошедшего с *avoir* и первые французские грамматики».

На секции «Модели предложения» были представлены 10 докладов. Вопросам синтаксиса разговорной речи были посвящены доклады В. А. Савченко (Абакан) «К типологии предложения „неполной слитности“ (на материале немецкого языка)» и Д. А. Лабекиной (Абакан) «Об одной употребительной модели разговорной речи». В своих выступлениях Л. М. Михайлов и Т. А. Некрасова дали положительную оценку исследованиям докладчиков, но высказали ряд замечаний по сообщению Д. А. Лабекиной.

В докладах С. Б. Эстулиной (Ленинград) «Дублетные формы глагольного управления в современном итальянском языке» и Н. А. Кабановой (Москва) «Соотносительность грамматических значений как один из признаков синонимичности грамматических конструкций» были рассмотрены явления синтаксической синонимии в связи с актуальным членением предложения.

Семантический анализ отдельных синтаксических структур был дан в докладах Л. М. Михайлова (Коломна) «К проблеме структуры сложноподчиненного предложения», Л. Б. Ивановой (Пермь) «Условия, препятствующие взаимной трансформации придаточных предложений времени с союзами *when*, *while*, *as*, *after* и соответствующих причастных и абсолютных причастных оборотов в современном английском языке», Г. П. Березовиковой (Барнаул) «Влияние способа выражения сказуемого на зарамочное смещение в придаточном предложении», Л. М. Минкина (Харьков) «О стереотипных синтаксических формах во французском языке», Г. Г. Матвеевой (Челябинск) «Анализ семантического окружения глаголов в адъективных и субстантивных предложениях» и Т. В. Шульдешовой (Москва) «Семантическая структура групп с конъюнктором *as* в современном английском языке». Плодотворная полемика возникла по поводу смешения синтаксических и логических факторов при анализе языковых явлений. Высказываясь о докладе Г. П. Березовиковой, Т. А. Некрасова и Л. М. Михайлов настойчиво подчеркивали, что смещение рамки вызывается не столько морфологическим составом сказуемого, сколько другими факторами: актуальным членением предложения, эмфазой и т. п.

Восемь докладов было прослушано на секции фразеологии: Л. Б. Гарифулина (Челябинск) «Категориальные свойства фразеологических единиц», А. И. Алехиной (Челябинск) «Фразеологические антонимические ряды», М. П. Мещеряковой (Свердловск) «Некоторые вопросы этимологии фразеологических единиц английского языка», Н. В. Афанасьевой (Магнитогорск) «Слитные предложные группы в художественно-беллетристическом и публи-

цистическом стилях», В. Я. Михайлова (Челябинск) «Обогащение словарного состава на основе компаративной фразеологии», И. Ф. Печерицы (Магнитогорск) «Явление эллипсиса и плеоназма во фразеологии немецкого языка», Т. Ю. Сербула (Сумы) «Функционально-стилистические и эмоционально-экспрессивные особенности фразеологических единиц английского языка» и Я. А. Барана (Киев) «К вопросу общей характеристики фразеологического состава драматических произведений Бертольда Брехта».

На заключительном пленарном заседании С. Б. Эстулина (Ленинград) выступила с докладом «Новое в стилистическом колорите языка современной итальянской художественной прозы (к проблеме „neoitaliano")». Докладчик убедительно показал взаимопроникновение литературного языка и диалекта как равнодействующих сил.

На процесс проникновения элементов разговорной речи в авторское повествование у ряда английских писателей указал в своем выступлении Б. А. Князев. Он высказал мнение, что пока еще трудно утверждать, идет ли речь о «засорении» языка, или о его «обновлении».

С отчетами о работе секций выступили их руководители: руководитель секции стилистики С. Б. Берлизон (Рязань), руководитель секции словообразования И. А. Цыбова (Москва), руководитель секции «Время и вид» А. А. Коневский (Владивосток), руководитель секции «Модели предложения» Т. А. Некрасова (Челябинск) и руководитель секции фразеологии А. И. Алехина (Челябинск). Все руководители отметили плодотворную работу секций, ценность заслушанных докладов и активное их обсуждение. Была также отмечена четкая организация конференции. Материалы конференции будут опубликованы.

Х. М. Гойдо (Челябинск)

В конце июня 1969 г. в Институте языкознания АН СССР проходило обсуждение теоретических проблем синтаксиса, организованное Сектором общего языкознания (зав. сектором — член-корр. АН СССР Б. А. Серебренников) совместно с Научным советом по теории советского языкознания при Отделении литературы и языка АН (председатель — акад. В. М. Жирмунский). Открывая конференцию, член-корр. АН СССР В. Н. Ярцева (Москва) остановилась в своем вступительном слове на основных идеях и направлениях в современном синтаксисе. На конференции было прочитано 17 докладов, посвященных синтагматической сочетаемости элементов речевой цепи, структуре, функциям и дифференциальным чертам предложения, а также разным аспектам синтаксической семантики. Тексты почти всех докладов опубликованы в книге «Инвариантные синтаксические значения и структура предложения» (М., 1969).

Внимание синтаксистов, как показала конференция, продолжает привлекать синтагматический аспект речи, нормы и закономерности сочетаемости слов. Развитие этого направления исследований связано с пересмотром и уточнением некоторых положений теории словосочетания. В докладе Д. Н. Шмелева (Москва), в котором обосновывались три аспекта изучения предложения (план парадигматических отношений, синтагматических связей и «внутренней формы» предложения), было высказано сомнение в правомерности подхода к словосочетанию как к «строительному материалу» предложения. Сходное мнение выразил В. М. Павлов (Ленинград), считающий целесообразным различать динамические и статические отношения в синтаксисе. О некоторых сторонах теории словосочетания говорил В. Ф. Нечепоренко (Москва). Касаясь проблемы валентностных свойств слова, Н. Д. Андреев (Ленинград) предложил различать синтагматические (совместимые) и парадигматические (взаимоисключающие друг друга) валентности. Семантической избирательности слов был посвящен доклад Б. А. Абрамова (Москва). О необходимости строго различать синтаксические и лексические нормы соединения слов говорила А. А. Уфимцева (Москва). Доклад В. Н. Ярцевой имел своим предметом количественный аспект сочетаемости слов в предложении. Речь шла о зависимости предела развертывания синтагматических цепочек от типологических свойств языка. С. К. Шаумян (Москва) показал формы представления синтагматических отношений в аппликативной грамматике. Попытку создать полную синтагматическую модель предложения сделал Ю. В. Ванников (Москва). И. А. Мельчук (Москва) очертил объем синтаксического компонента в рамках действующей модели «смысл ↔ текст». Сфера синтаксиса охватывает, по его суждению, те механизмы этой модели, которые обеспечивают переход от «глубинных» (или лексико-синтаксических) структур через структуры «поверхностные» к цепочкам морфем.

Обсуждение синтагматических отношений между словами постепенно перешло в сферу теории предложения. Н. А. Баскаков (Москва) подошел к различию между словосочетанием и предложением с точки зрения оппозиции двух мыслительных актов: акта дифференциации, реализующегося в словосочетаниях, и акта интеграции, реализуемого предложением. В ряде докладов и выступлений дискутировался вопрос «замкнутости» структуры предложения, необходимого и достаточно-

го состава его абстрактной формулы. Особенно острый спор вызвала роль в структурной схеме предложения прямого дополнения. По мнению Н. Ю. Шведовой (Москва), дополнение не должно включаться в модель предложения, поскольку его появление определяется категориальными свойствами глагола. Иной точки зрения придерживается Н. Д. Андреев, полагающий, что основу предложения составляет его наиболее ожидаемая структура, «вероятностная доминанта». Такой доминантой предложения является трехчленная конструкция, включающая дополнение при переходном глаголе и любой второстепенный член при глаголе непереходном. М. М. Гухман (Москва) обратила внимание не невозможность ограничиться двучленной формулой предложения при описании языков, в которых сказуемое содержит морфологические показатели не только подлежащего, но и дополнений. Т. Б. Алисова (Москва) считает, что наличие таких конструкций не противоречит теории двучленности предложения, поскольку предикативные отношения имеют в них особый показатель. По мнению Т. П. Ломтева (Москва), решение вопроса замкнутости зависит от принимаемой общей теории предложения. Если рассматривать предложения как реализацию субъектно-предикативного построения, то его элементами следует считать только подлежащее и сказуемое. Если же смотреть на предложение как на систему отношений, задаваемых предикатом, то в модель предложения должны быть введены все предикатные предметы, требуемые данным отношением.

О. А. Лаптева (Москва) перешла в своем выступлении от вопроса о составе предложения к проблеме его варьирования при речевой реализации. Она предложила, наряду с понятиями абстрактной схемы предложения и ее речевых воплощений, пользоваться промежуточной категорией модификаций модели. Вопросы реализации моделей предложения были затронуты в докладе И. Ф. Вардуля (Москва), предметом которого был эллипсис. Эллипсис интерпретировался докладчиком как проявление способности языка передавать информацию косвенным путем, без воспроизведения в тексте соответствующих языковых знаков. Выступая в прениях по этому докладу, Е. Н. Ширяев (Москва) подчеркнул важность разграничения эллипсиса, обусловленного самой языковой моделью, и эллипсиса, возникающего при актуализации модели и объяснимого только в связи с контекстом и ситуацией. Т. М. Друдзе (Москва) говорила о применимости некоторых положений доклада И. Ф. Вардуля в проводимой ею работе по изучению информирования, его зависимости от языкового сознания интерпретатора текста и от свойств самого текста.

Интересно прозвучала на конференции тема парадигм предложения, ставшая особенно популярной среди советских лингвистов после публикации известных работ Н. Ю. Шведовой. Легко наблюдать, как быстро термин, имевший еще недавно вполне определенное значение, утратил однозначность. Т. П. Ломтев посвятил свой доклад парадигмам предложения, создаваемым признаком конвертируемости отношений между предикатными предметами. Б. М. Гаспаров (Тарту) считает, что в парадигму должны объединяться только позиционные варианты предложения, структура которых обусловлена их положением в сверхфразовом единстве. Такой подход будет способствовать, по мнению Б. М. Гаспарова, созданию грамматики предложений, изоморфной грамматике слов. М. М. Гухман и Б. А. Абрамов говорили о нецелесообразности отнесения к парадигматике предложений разноуровневых явлений — морфологических форм сказуемого и синтаксических отношений между членами предложения.

Н. Ю. Шведова посвятила свой доклад функциям простого предложения. Разработка теории простого предложения привела докладчика к пересмотру учения о сложном предложении. Из числа сложных, по ее мнению, должны быть исключены те предложения, в которых реализована функция замещения, свойственная простому предложению. Идея замещения слова формулой предложения вызвала оживленный обмен мнениями. Это положение доклада было дополнено и развито в выступлениях Д. Н. Шмелева и В. А. Ицковича (Москва). В докладе Н. Д. Арутюновой (Москва) разбирались дифференциальные признаки предложения, отличающие его, с одной стороны, от синтаксически значимых частей предложения, а с другой — от многих типов высказываний. Г. П. Мельников (Москва) говорил в своем выступлении о полезности изучения предложения с учетом его места в речевой цепи. Такой подход позволяет выделить логическое ударение в качестве признака, вносящего различия в структуру как темы, так и ремы. Н. Д. Андреев остановился на понятии маркированности в системе синтаксических противопоставлений. Маркированным он предлагает считать наименее вероятностный член синтаксической оппозиции, что в общем согласуется с известным понятием интенсивного (в противоположность экстенсивному) члена противопоставления. Е. В. Гулыга (Москва) указала на трудности, связанные с выявлением общего синтаксического значения предложений, представляющих собой немаркированный, «фоновый» член ряда. Н. А. Сыромятников (Москва) отметил ошибочность отнесения термина «грамматическая категория» к целой парадиг-

ме форм. Неверно, по его мнению, говорить о категории падежа, времени и т. п. Г. П. Мельников рассказал в своем докладе о разных типологических возможностях выражения предикации. Докладчик обратил особое внимание на специфику языков, в которых сообщение как бы рассчитано на максимально осведомленного слушателя. Типологическому изучению синтаксиса тюркских языков был посвящен доклад Н. З. Гаджиевой (Москва), высказавшей ряд важных соображений о роли сравнительно-исторического метода в диахроническом изучении синтаксиса.

В докладе К. Г. Крушельницкой (Москва) речь шла об актуальном членении предложения и его отношении к синтаксическому анализу. Обсуждая вопросы актуального синтаксиса, О. А. Лаптева указала на существование обширных сфер языкового материала (научный стиль речи, клишированная разговорная речь), в которых обычно недопустимо маневрирование порядком слов, составляющее основную технику актуального синтаксиса. Сомнительна, по ее мнению, также возможность противопоставления формального и актуального синтаксиса применительно к вопросительным и побудительным предложениям. Призвав присутствующих к логическому анализу научных понятий, И. Ф. Вардуль заметил, что возможность двоякого (формально- и актуально-синтаксического) членения предложения свидетельствует о том, что предложение скрывает за собой две разные синтаксические единицы, одной из которых свойственно значение номинативности, а другой — коммуникативности.

С живым интересом выслушали участники конференции доклады, трактующие вопросы синтаксической семантики. В. Г. Гак (Москва) показал возможные отношения между грамматической структурой предложения и структурой денотата, имеющего своим субстратом обозначаемую предложением ситуацию. Докладчик говорил о необходимости отбора инвариантных ситуаций. Результаты изучения коммуникативного содержания безличных предложений были доложены Т. Б. Алисовой, принявшей за семантическое основание противопоставления личных и безличных предложений различие между активным и неактивным семантическим субъектом. И. А. Попова (Москва) настаивала на строго грамматической трактовке категории безличности как абсолютной бесподлежащности предложения.

В связи с развитием идей так называемого «глубинного синтаксиса» можно сделать следующее наблюдение. Если раньше для процедур лингвистического анализа был характерен перенос методов грамматики в сферу фонетики и лексикологии, то в настоящее время имеет место скорее обратное явление: методы лексического и отчасти морфологического анализа (т. е. анализа единиц номинации) проникают в область синтаксиса. Этот процесс заметен и в том внимании, с которым лингвисты относятся к синтаксической семантике, и в постоянном обращении к денотатам синтаксических конструкций. Становление «лексического» (номинативного) подхода к синтаксису связано, как известно, и с некоторым изменением трактовки языковых знаков, к которым многие языковеды стали относить не только единицы номинации (морфемы, слова), но и предложения, обладающие номинативной функцией по отношению к ситуации.

Помимо собственно синтаксической проблематики, хотя и в связи с ней, внимание участников конференции неоднократно притягивали к себе разные аспекты общей методологии науки. Дискутировалась роль исчислений в языковом моделировании, отношение лингвистической теории к формальной и математической логике и т. п. (выступления С. К. Шаумяна, Т. П. Ломтева, Д. Н. Шмелева, И. Ф. Вардуля, Г. П. Мельникова и др.).

В большинстве представленных на конференции докладов, равно как и в прениях, ощущалось сближение и взаимное проникновение методов структурного и так называемого традиционного анализа, объединившихся, как отметил в своем выступлении Г. П. Мельников, под знаком системного подхода к языку, при котором учитывается как схема отношений между языковыми единицами, так и формирующая эти единицы субстанция. Этим сближением можно объяснить и общий тон дискуссии, участники которой, по наблюдению Д. Н. Шмелева, не были склонны объявлять стоящими вне науки идеи и методы своих противников. Хотя многие выступления были полемически заострены, убежденность никогда не граничила в них с нетерпимостью.

Н. Д. Арутюнова (Москва)

CONTENTS

Academician Victor Vladimirovič; Vinogradov; **Articles:** A. S. Melničuk (Kiev). The notions of system and structure in the light of dialectical materialism; **Discussions:** V. A. Avrorin (Leningrad). An experiment in the study of functional interaction in the languages of the peoples of Siberia; B. A. Serebrennikov (Moscow). Why it is difficult to solve the problem of upper strata of North-Russian toponymics; G. F. Blagova (Moscow). Tendencies for complication of Turkic case-declension; G. A. Menovščikov (Leningrad). Expression of singularity and plurality in languages of different types; V. G. Admoni (Leningrad). Once more on the quantitative aspect of grammatical phenomena; V. Y. Myrkin (Arkhangelsk). The notion of speech in the correlation «langue — parole»; **Materials and notes:** G. A. Klimov (Moscow). On the reading of two monuments of Agvan (Caucasian-Albanian) epigraphy; A. A. Darbeyeva (Moscow). The problem of personal pronouns of the third person in the Mongolian languages; N. I. Khrenova (Moscow). Compatibility of nominal masculine inflections in the Russian language of XVII—XVIII centuries; **Critics and bibliography; Scientific life.**

SOMMAIRE

Académicien Victor Vladimirovič Vinogradov; **Articles:** A. S. Melničuk (Kiev). Les notions de système et de structure sous le jour de matérialisme dialectique; **Discussions:** V. A. Avrorin (Léningrad). Essai d'une étude d'interaction fonctionnelle dans les langues des peuples de la Siberie; B. A. Serebrennikov (Moscou). Pourquoi il est difficile de resoudre le problème des couches superieures dans la toponymie de Russie de Nord; G. F. Blagova (Moscou). Tendences pour la complication dans la declinaison nominale turcique; G. A. Menovščikov (Léningrad). Expression de singularité et de pluralité dans les langues de types différents; V. G. Admoni. Une fois de plus sur l'aspect quantitatif des phénomènes grammaticaux; V. Y. Myrkine (Arkhangelsk). La notion de langue dans la corrélation «langue-parole»; **Matériaux et notices:** G. A. Klimov (Moscou). Lecture de deux monuments d'égigraphie agvane (caucasienne-albanienne); A. A. Darbeyeva (Moscou). Problème des pronoms personnels de la troisième personne dans les langues mongoliennes; N. I. Khrenova (Moscou). Compatibilité des désiénces des noms masculins dans la langue russe de XVII—XVIII siècles; **Critique et bibliographie; Vie scientifique.**

Технический редактор *Н. И. Васильева*

Сдано в набор 29/X—1969 г. Т-17830 Подписано к печати 26/XII-69 г. Тираж 7075 экз.
Зак. 2972 Формат бумаги 70×108 1/16 Усл.-печ. л. 14,7 Бум. л. 5 1/4 Уч.-изд. л. 17,1

2-я типография издательства «Наука», Шубинский пер., 10